К. Д. Бальмонт

Очерки и статьи

DirectMEDIA
Москва
Берлин
2015

УДК 82
ББК 84(2Рос=Рус)
Б21

Бальмонт, К. Д.
Б21 Очерки и статьи / К. Д. Бальмонт. –
М.-Берлин: Директ-Медиа 2015. – 417 с.

ISBN 978-5-4475-4455-3

Константин Дмитриевич Бальмонт (1867–1942 гг.) – поэт-символист, виднейший представитель русской поэзии Серебряного века, переводчик и литературный критик.

Вниманию читателей предлагается сборник разноплановой прозы, написанной К.Д. Бальмонтом в разные годы жизни. В издание вошли лирические воспоминания Константина Дмитриевича о детских и юношеских годах; путевые заметки; критические статьи; очерки, в которых автор размышляет о судьбе России, о своем месте в жизни. В произведениях отражена жизненная позиция Константина Дмитриевича. В работах, написанных в годы эмиграции, прослеживается его непреодолимая тоска по Родине.

Ряд статей посвящен личности и творчеству предшественников и современников Бальмонта (А. А. Фета, С. Т. Аксакова, А. Н. Скрябина, А. П. Чехова, И. Ф. Анненского, П. Б. Струве, А. Блока и др.).

УДК 82
ББК 84(2Рос=Рус)

ISBN 978-5-4475-4455-3 © Издательство «Директ-Медиа», оформление, 2015

Без русла

Три года тому назад я уехал из Москвы и через Эстонию приехал в Германию, а оттуда во Францию. Выехать из Москвы, увозя с собой семью, – три женские существа, приговоренные докторами и голодом к смерти, – было очень трудно, почти невозможно. Мне, однако, это удалось, как удалось и Кусевицкому с женой. Мы ехали в одном поезде. Тогда еще не выпускали за границу никого, кроме своих. А ни Кусевицкий, ни я, мы своими не были. Наш отъезд был некоторым чудом, и как чудо мы его воспринимали. В Нарве мы еще чувствовали себя уехавшими, или, вернее, впервые поняли, с чувством безмерной тяжести, спавшей с плеч что мы в преддверии Европы.

Ревель – хоть и эстонский, все же и такой русский, по крайней мере три года тому назад, показался мне обетованным городом, именно в том смысле, в каком я когда-то радовался первому европейскому городу, в который я попадал покинув Москву или Петербург времен ныне исчезнувшего царизма. Какая ирония судьбы. Я дважды был изгнанником при старом порядке. В 1902-м году за стихи о Маленьком султане я, без своего желания, провел год в Европе; и после революции 1905-го года, после написания и опубликования книги революционных стихов «Песни мстителя», я провел вне России, без своего на то желания, семь лет. Я, считавшийся и бывший революционером, снова, в третий раз, после того, как в России осуществилась революция, живу три года в Европе, без малейшего к тому желания. Изгнанник ли я? Вероятно, а впрочем, я и не знаю.

Я не бежал, я уехал. Я уехал на полгода и не вернулся. Зачем бы я вернулся?

Чтобы снова молчать как писатель, ибо печатать то, что я пишу, в теперешней Москве нельзя, и чтоб снова

видеть, как несмотря на все мои усилия, несмотря на все мои заботы, мои близкие умирают от голода и холода? Нет, я этого не хочу. Но нет дня, когда бы я не тосковал о России, нет часа, когда бы я не порывался вернуться. И когда мне говорят мои близкие и мои друзья, что той России, которую я люблю, которую я целую жизнь любил, все равно сейчас нет, мне эти слова не кажутся убедительными. Россия всегда есть Россия, независимо от того, какое в ней правительство, независимо от того, что в ней делается, и какое историческое бедствие или заблуждение получило на время верх и неограниченное господство. Я поэт. Я не связан. Я полон беспредельной любви к миру и к моей матери, которая называется Россия.

Там, в родных местах, так же, как в моем детстве и в юности, цветут купавы на болотных затонах, и шуршат камыши, сделавшие меня своим шелестом, своим вещим шепотом тем поэтом, которым я стал, которым я был, которым я буду, которым я умру. Там, в родных моих лесах, слышно ауканье, и я люблю его больше, чем блестящую музыку мировых гениев, поют соловьи, над полями возносятся, рассыпая ожерелья солнечных песен, жаворонки. Там везде говорят по-русски; это язык моего отца и моей матери, это язык моей няни, моего детства, моей первой любви, почти всех моих любвей, почти всех мгновений моей жизни, которые вошли в мое прошлое, как неотъемлемое свойство, как основа моей личности. Там говорят «до свиданья», «милый», «прощай», «люблю», и на лесной опушке кличет эхо, которое откликалось мне, когда еще мир казался добрым и вся жизнь казалась тайной.

Ах, мне тяжело. Мне душно от того воздуха, которым дышат изгнанники, косо смотрящие друг на друга и вечно друг друга подозревающие, совсем так же, как подозревают друг друга люди и там, в родных моих

местах, в обезумленных, в обездоленных, в измененных. Мне душно и от воздуха летнего Парижа, где я никому не нужен и ничто для меня не нужно.

Не думайте, что я зову кого-нибудь из уехавших или бежавших, из уехавших и оставшихся, из спасшихся от тяжелых мучений, может быть, смерти, – очертя голову, вернуться в теперешнюю Россию, где право растоптано, где слово несвободно, где нет первооснов человеческой справедливости. Нет, я говорю только о себе, и да будет же мне, хоть здесь в пустыне, даровано безраздельное право быть собой, быть поэтом, чувствовать иначе, чем другие, и иначе мыслить, и иначе поступать. Я говорю только о себе и не делаю никаких общих выводов.

Здесь, в свободной, будто бы свободной, Европе я чувствую себя душевно таким же связанным, каким я чувствовал себя в последний год в Москве, где я жил бок о бок с навязавшимися мне жильцами, нагло распоряжавшимися в моей квартире, где я голодал, где я говорил иногда моей девочке, бессильной заснуть: «не плачь: завтра, быть может, мы победим». Моя девочка стала за эти три года красивой девушкой, живой и остроумной. Я уже не говорю ей, – за ненадобностью, – таких утешений, а когда подходит нужда, – она все же не такая острая, – и если нет денег на настоящий обед, можно сварить суп из старого недоеденного хлеба. Но здесь мне тоже нужно произносить и перед ней, и перед другими близкими, и перед близкими-далекими, и перед самим собой много разных утешений, в которые не веришь и которые не оправдываются.

Основное остается, как правило жизни каждого дня и каждого нового тяжелого месяца. Это основное: я на чужбине, я вне действительной связи с душой здешней жизни, и я вне действительной связи с моей Матерью, с моей Родиной, хоть от меня туда, и оттуда до меня

доходят веяния души, доходит голос сердца, которое бьется, еще живо, не умерло, но бьется тяжело, с мучением, которому исхода не вижу. И вот, чем дальше иду я по дорогам чужбины, тем слабее моя связь с моей родиной, и тем чаще я спрашиваю себя с горечью: по лучше ли быть мне в тюрьме – там, чем на свободе здесь? И действительно ли я здесь – на свободе?

Русла нет. А река без русла разве свободна? Она плещется и разливает свои воды, где и не нужно. Даже реке необходимо русло. А изгнаническая жизнь даже и не река в разливе: много беднее, гораздо менее в ней красоты и содержания.

К чему же мне прильнуть? Я поэт и человек. Нет мне места, как человеку и поэту. Сколько бы литературных достоинств ни было в моем творчестве, оно не нужно, если я не в близости с той или иной политической группой, а возможности печататься находятся в руках тех или иных политических групп.

Когда в 1920-м году, в Москве, меня по причине некоего ложного доноса, будто я в стихах, где-то напечатанных, восхвалял Деникина, пригласили вежливенько в Чека и между прочим дама-следователь вопросила меня: «К какой политической партии вы принадлежите?» – я ответил кратко: «Поэт».

Это не был ответ экстравагантный. Это был простой возглас сердца. Да убирайтесь вы от меня к черту, все политические души, смотрящие на мир с политической точки зрения, не видящие, что мир больше и шире, чем говорит ваша политическая машина, которая своим однообразным в разнообразии скрипущим треском и шумом свидетельствует, что гармония мира вам чужда и вы бессильны овладеть творящими силами жизни. Мне с политическими партиями делать нечего, каковы бы они ни были, коммунистические, монархические, гомеопатически-социалистические, то бишь,

кадетские, и прочая, и прочая. Я человек и поэт, и потому на ваших праздниках и в сплетениях ваших немногих, но существующих возможностей и удобств – мне нет места. Иногда что-то из моих слов и настроений случайно подойдет для того или иного печатного органа. Тогда меня печатают. Потом, как бы ни было дорого моей душе то или иное художественное мое достижение, я после долгой литературной дороги, я, слышавший много раз приветственные слова от самых высоких душ разных стран земного шара, вижу от политического редактора; литературного журнала такое отношение к себе, которое трогательно напоминает мне дни моей юности, когда солидные московские либералы находили, что я не лишен дарования и подаю надежды.

Не должно думать, что эти слова мои свидетельствуют о моем унижении.

Нет, мне кажется, что тут унижен кто-то другой, тут в поношении нечто совсем иное, и в таком поношении, что если об этом думать не поверхностно, можно придти в ужас. Без преувеличения и без преуменьшения, я слишком хорошо знаю, кто я. Мое, за всю жизнь отъединенное, внутреннее устремление дает мне возможность спокойно говорить о себе, как о третьем лице, и на примере этого третьего лица указать на вопиющую чудовищность некоторой неправды, которой быть не должно. И вот я свидетельствую, что, если в Москве, в течение трех лет, 1918–1920, я задыхался от невозможности быть собой и говорить полным голосом, я задыхаюсь от того же и здесь, в русском и французском Париже, по соседству с русским и немецким Берлином и людоедски-своекорыстным английским Лондоном.

Говорить все, что думаешь и чувствуешь до конца, – или не говорить вовсе. Говорить только часть – или не говорить вовсе, это для меня означает, равно,

пытку и душевное унижение. И я еще не смогу утверждать, что не-говорить вовсе, по существу, хуже, чем говорить часть. Ибо, когда молчишь, в этом может быть, от умения по-настоящему молчать, странный душевный крик, который слышен даже разбойнику, слышен и действует. А когда говоришь лишь часть, невольно искажаешь правду, невольно рисуешь искаженное изображение, невольно и преступно лжешь. Это не всегда, конечно, но так бывает. И в жизни без русла бывает слишком-слишком часто.

Зачем я все это говорю? Не зачем, а почему? Потому что, когда человеку очень трудно, он может вздохнуть и даже, хоть бы он был выносливый и сильный, застонать.

Я за всю жизнь убил одну только птицу. В гимназические дни однажды у себя в саду застрелил из ружья певчего дрозда на рябиновой ветке. Мне до сих пор тяжело вспомнить об этом преступлении. Я живу сейчас в мире, который, грубо захмелев от преступно излитой им несчитанной крови, только и делает, что брызжет на душу грязью и кровью и слепо убивает певчих птиц.

Вечная юность

Вечная молодость, вечная юность – там, где природа. Выйди в сад, выйди в лес, побудь на берегу океана, замечтайся около безгласного озера, поплыви на ладье по течению серебряных рек – или против течения, – узнай, что такое пороги, в чем их мертвая хватка – победишь эту мертвую хватку и вышьешь живой воды.

Кто выпил живой воды, тот – под Новым Серпом Луны, и он на черте преломления ночи и дня, от ночи он весь окружен голубым, а от дня, загаснувшего в зеркало зорь, он так обрамлен нежным золотом, что все, к чему бы он ни прикоснулся, засвечается прозрачным, тонким светом.

Вы думаете – я только говорю слова? Вы не думаете ли, что я шучу? Нет, каждый может быть вечно молодым, вечно юным.

Дорога к этому? Их четыре. Их, конечно, больше, чем четыре, но все-таки четные. И вот.

Много ходить.

Мало есть.

Много работать.

Вечно любить.

Эти четыре, в их распорядке, могут меняться различно, но все это необходимо понять не внешне, а точно – любовно и внутренне. От дома к дому ходить, от городского человека к человеку – это дорога старости, а не юности, это передвижение от кладбища к кладбищу, от ранней усталости до преждевременной ветхости. Выйди-ка лучше в степь, или пойди по берегу моря, или спрашивай по очереди дуб, сосну и березу, сосну, березу и дуб, в чем твой смысл и твоя судьба. Тут тебя овеют ветры всезнающие. Скажут: «Жар-Птица все еще поет».

Я засыпаю под шелест сосен и под мерный гул Океана. Я просыпаюсь оттого, что петух мне пропел:

«Пора». Я выхожу на песок, изукрашенный благовонным, рыжим руном сосны. Воздух чист. Все кругом омыто, очищено, освящено целою ночью лунной тишины или звездного безмолвия. День зачинается стихом. Ночь за голубым вечером – в вечере сто голубых дорог, и есть синие, – раскрывает в душе глубокий колодец мысли, с выси тучевых гор ночь роняет родник запевающей песни.

Здесь грохота нет. Океан, когда и гудит, он не грохочет, а поет. Здесь стука я не слышу, нет его. Не стучит колесо, и никто не стучит в мою дверь. Дятел стучит в лесу, и тишина от этого стука еще полнее. Сердце нежно стучит в груди, оттого что думаешь о том, кто дорог, о том, что любишь. А почему никто не стучит в мою дверь? Да потому, что она не заперта, а открыта – и Солнцу, и запаху сосен, и деревенским звукам, и тому, кто захочет прийти ко мне. Прослышали русские, живущие в Бордо и около Бордо, что я здесь живу. Одни из них работают на заводах, другие учатся. Собрались дружной семьей. Приехали, пришли. Милости просим. Вот вино, вот чай, вот беседа, вот песня, хоровая песня. Дети, как птицы, уселись на сучьях сосен. Взрослые, за малым количеством мебели, уселись на песке. Мы поем, долго, поем – песни, которые дольше и слаще мы пели когда-то в Москве, на Кубани, в степях, где ковыль, на берегах Волги, – и вот она, юность. В первый раз девушка видит меня – и положила мне голову на плечо. В первый раз вижу ее – и вот уже знаю, что не в последний. Ибо от сердца к сердцу всегда проходит голубая дорога, – голубая, как весенние цветочки у проточной воды, – и синяя – синяя, как летняя ночь. Есть дорога от сердца к сердцу, если в сердце есть великая любовь к своему краю.

Сейчас я один. После яркого дня сгустилась ночь, и в бескрайнем небе играют зарницы. Как в России. Как

в юности. Север перекликается с Югом и Запад с Востоком. Все небо в огневых перекличках. Скоро будет музыка грома. А за ней освежительный ток серебра.

Я пойду сейчас далеко вдоль приливной волны. Спите, птицы, щебетавшие днем. Спите, ласточки, говорившие так убедительно ласточкиной своей речью, что жить хорошо.

Спите, все приветившие меня, и пусть вам снится, как и мне, что зарницы сплетают золотую дорогу, по которой каждый из нас войдет в Отчий Дом.

Lacanau-Ocean, Gironde, Villa Midzou.

1926, 31 августа

Вечно бодрствующие

Встречи с евреями

1

Когда ребенком я читал Евангелие, помню, меня особенно поразила притча о мудрых и неразумных девах. Маленькая неосмотрительность, а из-за нее невозможность войти к Жениху на брачный пир. Слова «Бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа...» показались мне жутко-пронзительными, и они запали в детскую душу глубоко. С детской серьезностью я принял решение – всегда думать неотступно о том, чего хочешь, чтоб желанное, придя, ни в какой час не могло застать меня врасплох.

Юношей читал я Коран, и меня восхитил и поразил этот замечательный стих:

> О пророк, завернувшийся в плащ свой,
> Стой на молитве всю ночь...

Всю ли ночь, или половину ее, или более половины, только помнить всегда, что Высшее Око, которое не дремлет никогда, тебя видит. Бодрствуй и помни.

Мало-помалу умножался жизненный опыт, углублялось наблюдение, утончалось знание мира и людей. Мне стало ясно, что всех людей, к какому бы разряду ни принадлежали они, можно и должно разделить на две огромные толпы, на две точные разновидности. Есть люди бодрствующие и люди дремотные, люди неспящие и люди сонные.

Бодрствующий человек может и заснуть, и спать крепко, да вдруг проснется, когда это нужно. Человек сонный, человек дремотный не может проснуться воистину – никогда. Он спит, когда спит, и спит, когда не спит. Дрема владеет им, и медлительны его движения,

ненаходчивы его предприятия, нерешительна его душа. Человек бодрствующий смотрит зорко, теряется нескоро или не теряется никогда, знает, что в его жилах течет горячая кровь, которая умеет хотеть и достигать, знает, что глаз человеческий может смотреть далеко, чувствует, что есть Нечто, зовущее душу гореть и быть крылатой, не примиряться с действительностью, когда хочешь действительности иной. Ведь действительность ведет к действию, а повторность действий видоизменяет действительность. Только слушай и помни свой внутренний голос. Только знай, что твоя душа слита с чем-то высшим, чем ты теперешний. Только помни, что есть горящий куст, который не гаснет, и иссеченные на молнегромной горе священные таблицы, на которые дунуло нечеловеческое дыхание, и вот оно изваялось, дыхание жизни, в словах повелевающих, на тысячи и тысячи лет.

Мне в жизни случалось видеть бодрствующих людей довольно, и я их люблю.

2

Первые три встречи мои с евреями произошли в моей юности, в обстановке все три раза неравноценной и разной, все три встречи закрепили мое душевное влечение к евреям, а встречи позднейшие лишь подтверждали первое впечатление.

Вспоминаю мой родной городок. Шуя, Владимирской губернии. Город фабричный и достаточно грубый. Мне шестнадцать лет. Мой товарищ по гимназии, моложе меня класса на два, еврей Б., пригласил меня раз к себе чай пить. Это было летом в воскресный день. Отец моего товарища был плохонький часовщик. Я в первый раз был в еврейском доме, и меня поразило, как дружна была вся эта семья, состоявшая из нескольких

старых и совсем юных людей, лицами своими столь не походившими на все окружающее и уводившими мою мысль куда-то далеко, в страны, где Солнце горячей и где у людей поэтому больше порывистости и живости в движениях.

Мне нравилась чисто восточная, я сказал бы теперь, пряная преувеличенность любезности и хлебосольного радушия хозяев, которые в комнатах совсем скромных и даже скудных угощали меня так, как если бы они были во дворце и принимали знатного гостя. Старушка-мать старалась, чтобы я съел все печенья, которые были на столе, и подкладывала мне столько сахару в каждый стакан, что, пожалуй, я пил не чай, а сироп. В то время как мы наслаждались угощением и мирной беседой, мимо низких окон домика прошла ватага нетрезвых людей, каких в русских городах бывает довольно и в праздничные дни, и в будни. Два-три озорника, заглядывая в окна, кликнули глупое оскорбление, а один простер свою наглость до того, что швырнул в закрытое окно камень. Небольшой был камень, и несильно он был брошен, но жалко звякнуло стекло и наш покой грубо и несправедливо был нарушен. И я, и мой младший товарищ, оба вспыхнув гневом, вскочили и устремились к выходу. Но старик-хозяин, болезненно моргая своими печальными глазами, остановил нас, говоря: «Не надо. Не надо». Мы смущенные вернулись к столу. Хозяйка с удвоенной любезностью стала угощать меня. А юная девушка, сестра моего товарища, преувеличенно-спокойным голосом, но медленно, как будто она не говорила, а поднимала слишком большую тяжесть, сказала, обращаясь ко мне: «Это они потому так, что мы евреи». О, как много слов хотелось мне сказать тогда этой девушке. Я не сумел их сказать и не знаю, сумел ли бы теперь. Я могу только сказать, что вот, через

столько десятилетий, все, что есть светлого в моей душе, устремляет к ее образу ласку и цветы.

Тот скудный часовщик маленького городка, живший в самой скромной обстановке, всю жизнь наклонял свои глаза над часовым механизмом, до тех пор пока эти полуослепшие глаза не закрылись совсем. Что они читали в сочетаниях этих маленьких колесиков и зубцов? Должно быть, что-то хорошее и великодушное, потому что, сам проведя свою жизнь в скудости, он дал возможность одному своему сыну стать врачом, а другому писателем.

3

Вторая моя встреча с запомнившимся мне лицом из еврейского мира произошла в том же моем родном городке, где кстати, сколько я припомню, никогда среди жителей не было предубежденно-отрицательного отношения к евреям, что делает, быть может, только что мною рассказанное еще более тягостным. У меня заболели глаза от непомерного чтения. Ехать в Москву денег у меня не было, а глазного врача в моем городке не имелось. Кто-то сказал мне: «Пойдите к еврейскому врачу, он хороший и понимает в глазных болезнях». Я пошел к еврею-врачу – более не помню, к сожалению, его фамилию. Он жил в двух маленьких комнатах, а больных у него каждый день бывало столько, что, ожидая очереди, они толпились у входа в домишко, где он жил. Он скоро вылечил мои глаза, но, когда я спросил его, сколько я ему должен, он сказал: «Ничего». Располагая небольшими средствами, позволявшими ему быть сытым и одетым и жить в квартире, за которую он платил пятнадцать рублей в месяц, он всех больных, которые к нему приходили, лечил даром. Мне рассказали это о нем. Я стал настаивать, что я хочу, чтобы он с

меня взял что-нибудь за свой труд, потому что я из семьи хоть и не очень богатой, но зажиточной. Лицо врача сделалось трогательно-строгим и выразило ощущение той ответственности человека перед самим собой, которое всегда делает человеческие глаза красиво глядящими внутрь себя. «Нет, – сказал он тихим и твердым голосом.– Благодарю вас, но, когда ко мне приходит больной, я должен ему помочь безвозмездно. Это путник в беде, который приходит в мой дом».

Я виделся еще несколько раз с этим пленившим и удивившим меня человеком, чтобы истинно по-человечески говорить о человеческом. Некоторое время спустя он уехал из нашего города, и я не знаю о нем больше ничего.

Но не посылает ли нам Судьба иногда болезнь глаз или боль сердца для того, чтобы мы узнали, что, когда мы духовно спим сном оцепенелым, есть в мире бодрствующие?

4

Навсегда незабвенной и прекраснейшей была третья моя встреча с лицом из еврейского мира, ибо лицо это было бессмертное лицо Иова.

Я только что кончил гимназию и, преисполненный самых гордых замыслов и сложных размышлений о Мире и Судьбе, мечтал о том, что, если доселе никто не разгадал, как сделать всех людей счастливыми, почему бы эту загадку не мог разгадать я?

Среди множества книг, которые я ненасытно поглощал, с большим увлечением я читал казавшуюся мне вдохновенной книгу Карлейля «Герои и героическое в истории». Уважительным казался мне Карлейль и заманчивыми его рассуждения. Тем странней и неожиданней прозвучала для меня одна его строка, где он

говорит, что книга Иова – лучшая из книг, написанных на Земле. До этого я едва знал Библию и не чувствовал к ней влечения. Совсем другие книги владели моим вниманием. Давно уже узнав многие почти все вершинные достижения родной художественной словесности, я был под особым гипнозом отдельных образцов литературы мировой, как «Фауст» Гёте, «Манфред» Байрона, «Макбет» и «Буря» Шекспира, «Сакунтала» Калидасы.

Мне казалось, что лучшая книга из всех написанных на земле «Фауст» Гёте. Но нужно было проверить, для душевного спокойствия, слова Карлейля.

Есть книги, читая которые наслаждаешься или мучаешься, и они оставляют в тебе глубокий след. Есть книги более сильные, прочтешь их – и это настоящее открытие, новый мир. Есть книги, которые больше всего этого, они пересоздают душу совершенно. Прочтя такую книгу, ты уже навсегда другой.

Было утро, когда я прочел простые слова, сразу восхитившие меня своею простотой: «Был человек в земле Уц, имя его Иов; и был человек этот непорочен, справедлив и богобоязен, и удалялся от зла». Солнце склонялось к закату, когда, с лицом многократно омоченным слезами, я кончил книгу разговора Человека и Бога лицом к лицу, книгу единственную по высокому своему смыслу и, несомненно, лучшую из четырех или пяти равноценно лучших книг, когда-либо написанных на Земле. В тот день я не пошел обедать. Еще не прочел я и пяти страниц, как встал и запер дверь, сказав себе, что я не отопру никому и не выйду из комнаты, пока не прочту до конца это изумительное видение.

Многим-многим сильней и пронзительной показался мне Иов, нежели владевший мною Фауст. Ни одна из книг, до того прочитанных, не вызывала еще во мне

той умственной бури, той взметенности, пронзительности, растроганности, того ощущения тождества чувствующей и мыслящей души человека вообще – с Иовом, тождества меня самого с Иовом, которое пересоздает и заставляет без конца повторять, как слова горькой молитвы, этот возглас: «Ты поднял меня и заставил носиться по ветру».

Книга Иова побудила меня прочесть неоднократно всю Библию, которую в течение многих лет я брал с собой в числе любимых книг, куда бы ни лежали мои пути. И если в юности я подумал, что книга Иова – правдивейшая запись беседы Человека с Богом, глаза в глаза, – я думаю это и теперь. Я с тем же волнением и восторгом перечитывал в пятнадцатый или двадцатый раз эту книгу несколько дней тому назад.

5

Когда с истинной горячностью и с полной искренностью человек чувствует то, что он чувствует, и всю душу вносит в свое размышление, у него вырываются слова такой глубинности, что они идут прямо в сердце, в сердца разные, разных людей, разных народов, различных времен, проникают прямым и близким прикосновением в самые причудливые и чужеродные сочетания, создаваемые Человеком и Природой, Человеком и Судьбой.

В чем уж никак нельзя отказать еврею, это в такой искренности и такой горячности, которые, вольно или невольно, ваяют для многих, ваяя для себя, живописуют многих, живописуя лишь себя. Когда Псалмопевец, восхищаясь зверями и снегом, словом и ветром, огнем и горами, великими рыбами и безднами, самозабвенно взывает ко всему миру: «Хвалите! Хвалите!» – не очищенный ли человеческий дух вне временных и пле-

менных различий поет славу мирозданию, пленившись его красотой?

Не прозвучала ли Песня Песней из конца в конец Земли, повторенная в нежном шелесте роз неотцветающих, что зовутся влюбленными устами?

Не подбирала ли скромная Руфь, моавитянка, забытые колосья в полях всех времен и народов, и не везде ли благодатная тропинка, чужая межа и своя, привела ее к счастью с Воозом?

Не вникаем ли мы ныне, мы, русские, в великом нашем рассеянии, в огненные слова еврейских пророков? Не читаем ли мы в них нашу собственную правду и судьбу? К кому, как не к нам, эта железная речь обличения, золотое это слово оживляющего обетования?

Сказано, что так сложен и труден Закон этого разбросанного в тысячелетиях народа, что и самый мудрый праведник не в силах выполнить его весь. Казалось бы, что еврей весь в паутине, весь скован и опутан неисчислимыми его собственными, его личными, историческими, племенными ограничениями и утверждениями. А кто как не еврей так скоро устремляется к воле и торопится разрушить преграды?

Когда мне хочется быть сонным и дремотным, слово, сказанное евреем, вдруг пробуждает меня, и мои мышцы делаются напряженными, и мое слово становится полетным, и моя песня звенит, как стрела, покидая тетиву. Данте и Микеланджело, Кальдерон и Мильтон, целые множества поэтов и художников с огненными глазами – не говорят ли сейчас, что говорю я правду?

И в малой-малой русской деревне, когда застенчивый юноша, но и смелый – это я говорю о себе, – впервые почувствовал себя воистину поэтом Божией милостью, – кто был с ним тогда неразлучно? Его любимая. И родная природа. И родная звучащая речь,

подобная серебряным и золотым разливам, но также еще страница Библии. И также еще обрызганная слезами глаз ослепших, ибо много видели и бодрствовали, книга песен Генриха Гейне.

6

Какое море лиц и встреч вмещается в несколько десятилетий человеческой жизни! Если я мысленно начинаю смотреть в зеркало своих воспоминаний, я вижу встречи, я вижу все мои странствия по Земному Шару, и мне кажется, что людей на земле слишком много и что, в общем, не радость, а мучение встречаться с людьми. И мало ума, и мало зрения и зрячести. Жизнь сурова и трудна, даже беря ее вне тех исключительных трудностей, которые безмерным комком давят сейчас человечество, как давит иногда отдельно человека дурной тяжелый сон.

Меня давит одна особенность моей судьбы. Я люблю Россию и счастлив и горд, что я русский. Я люблю много разных стран и много разных языков, но мне кажется, что русский язык самый красивый, и я не знаю среди любимых стран такой, чтоб я любил ее, как я люблю Россию. Утверждают также иные, что я достаточно любим как Русский поэт, как Русский писатель, – может быть, любим как человек. Почему же такая странность, что много раз в моей жизни, в самых разных местах, в самых разных обстоятельствах, когда мне было особенно трудно, так что вот кажется – нет исхода, добрым словом или добрым действием мне помог не русский, а еврей? Иногда еврей – случайный знакомый. Иногда еврей – вовсе не знающий меня лично.

Быть может, это совсем не личное свойство моей судьбы, а душевное свойство еврея, который в силу своей горячности и чуткости, в силу своей зоркости и

отзывчивости видит часто чужую душу, когда другие ее не видят, бодрствует, когда другие дремотны, вдруг увидит и прямо подойдет?

Я думаю, что это именно так. В Москве и Одессе, в Париже и Ялте, в Харбине и Ревеле, во стольких еще городах, в минуту, когда мне казалось, что я один в целом мире, что люди каменны и злы, я встречал неожиданно еврея, который, сам угадав, что мне нужно, без моего слова, без какого-либо искания и старания и усилия говорил мне те слова, которые делали меня в мире не одиноким, осуществлял такой поступок, который давал мне возможность дышать в ту минуту, когда я задыхался.

Между тем я ничего не сделал доброго для евреев, никогда. Я только никогда не делал им ничего злого, и всегда душа моя была открыта к ним, как она естественно, с детства моего, открыта всему миру тем, что в ней есть светлое, и старается быть закрытой тем, что есть в ней или бывает злого.

7

Одна встреча, в которой я был только зрителем, вспоминается мне сейчас, как нечто особо выразительное. Это было в Вильне или в Минске, куда я приезжал прочесть какую-то лекцию. Не помню города, но помню улицу. Было ясное солнечное утро. Я шел по тротуару и с любопытством смотрел на лица и места, которые видел в первый раз. Вдруг мое внимание приковалось к двум странно-живописным старикам-евреям. Они шли по противоположному тротуару. Один был слепой, другой, судя по тусклости его глаз и неуверенности движений, полуслепой. Явно было, что это старинные друзья, и полуслепой ласково вел слепого, говоря ему что-то утешающее. При переходе через

перекрестную улицу на них налетел парный экипаж. Еще секунда, две секунды, они должны были быть смяты и изуродованы, может быть, убиты. В это мгновение с того тротуара, по которому шел я, с громким воплем бросилась к лошадям какая-то девушка. Лошади метнулись в сторону, прежде чем кучер успел их осадить или направить куда-нибудь. Опасность как по крику заклинания исчезла. Старый слепец и старик полуслепой были спасены. Девушка перевела их на тротуар и пошла своей дорогой. А я стал и почувствовал, что у меня нет больше ни сил, ни желания идти туда, куда я шел. Я лишь смотрел, точно зачарованный, вслед этим двум удаляющимся жизням, спасенным случайно – или предназначенно – мимо проходившей юной зоркой жизнью.

Полуслепой старик крепко держал своей правой рукой старого слепого своего друга, а другою рукой, свободной, ласково трепал его по этой старческой руке слепца и, наклоняясь к нему, – было явно – повторял ему успокоения, потому что, конечно, слепой испугался вдвойне, ведь вдвое кажется страшной нам опасность, когда мы ее не видим.

Эта сила братской любви, в полной оброшенности, в теснинах старости, в водовороте безучастной жизни, казалась мне красивой, как самый красивый цветок, прекрасной, как слово о бессмертии нашего человеческого духа.

1924

Волга

Души из влаги воскуряются.
Гераклит

По Гераклиту, в духовном мире являющаяся триада, – Жизнь, Сон, Смерть, – дополняются в мире телесном соответственно троичностью, – Огонь, Вода, Земля. Огонь – вечно живой, Земля – смертное успокоение, Сон – Вода, Влага – Дремота. Но из влаги восходит воскурение, дымится пар, воспаряются тучки, собирается гроза, в грозе откровение огня, круговращение живой жизни, из влажных волн дремоты воскуряются вещие сны, на зыби сна – сновидения, обручающие нас с Вечностью. В Океане ли, в море ли, в серебряном ли озере, в водопаде ли, чья влага поет бурный стих красоте движения, в дожде ли, поющем о том же и о большем, в размерном ли ходе широкой реки, зовущей к строительству жизни, в журчанье ли малого ручья, будящего в сердце нежность, в капельке ли росы, безгласно рассказывающей о таинствах ночи и рождении зорь, в красивом ли алмазе слезы, засветившейся, но не упавшей, лишь загоревшейся в нежном взоре, оттого, что в сердце загорелась любовь, – где бы ни возникла влага, с нею возникает духовное красноречие. Оттого так любят влагу – народная песня, народное слово поговорки, мудрое слово солнцеокого мыслителя. Вода – зеркало красоты, вечно созидающейся в нашей неистощимой, неисчерпаемой Вселенной. И слава той стране, которая нашла для своего лика могучую реку. Нет Египта без Нила, нет Индии без Ганга, есть в ряду величайших прекраснейших стран Россия, потому что у нее есть Волга.

Я не сразу узнал в своей жизни Волгу. Но, будучи путешественником по своей природе, уже во второе свое путешествие я видел такую Волгу, которая, в

разливе там, у Каспия, неотличима по многоводности от моря.

Первое мое путешествие, – если простая поездка по родной губернии может быть этим словом названа, – было тотчас по окончании гимназии, в 1886-ом году. Мой приятель, земский технолог В.Ф.Свирский, которому поручено было произвести ревизию заводов Владимирской губернии, предложил мне объехать с ним в земской таратайке несколько уездов, и я с восторгом принял предложение. Мы объехали уезды Шуйский, Суздальский, Меленковский, Муромский. Это было первое мое настоящее прикосновение к разным ликам чарующей природы России, и когда в Муроме я проходил по улице, мне казалось, что я прохожу по Былине, и когда я купался в Оке, мне хотелось уплыть до Волги и до Каспия. Так оно и случилось немного позже, но не по Оке я туда уплыл, а по реке еще более примечательной и глубокой, называющейся любовью.

Мне еще не было 22-х лет, когда я, бросив университет, в 1889-м году женился на красивой девушке, и мы уехали ранней весной, вернее в конце зимы, на Кавказ, в Кабардинскую область, а оттуда по Военно-Грузинской дороге в благословенный Тифлис и в Закавказье. Когда же мы решили вернуться домой, мы переплыли Каспий и поехали до Костромы по Волге, а Волга была в разливе, и такой реки, ни до, ни после, я никогда не видал. Быть может, только Амур, когда он в Хабаровске ломает лед и воздвигает из него высокие пирамиды, дает равноценное ощущение речной мощи. Но, когда проезжаешь в парусной ладье Нильские пороги, около храма Филэ, хоть и чувствуешь, что утонуть совсем не невозможно, все же для того, кто видел Волгу в разливе, Нильские пороги кажутся забавной шуткой.

Но сила Волги, пожалуй, не в этом. Она в том, что скажешь «Волга», – и вот уже русское сердце плывет в неоглядности. Что такое Волга, мы не знаем, – Волога ли она то есть Влага, или Воля, или что еще. Но в пяти звуках этого слова для русского чувства столько значений, внушений воспоминаний и надежд, что сосчитать их нельзя. Мы любим нашу Москву и Московию, но от московской тесноты мы всегда уходили на Волгу. Мы любим наше строительство но мы любим также и дикое поле, где хорошо разметаться нашему степному беспреградному нраву на все четыре стороны мира. Откуда бы взяла свою единственную силу наша разливная народная песня, если бы не было у нас Волги, в дополнение к нашим утробным земным просторам? Откуда бы взяла свое разливное серебро наша русская речь, самый полнозвучный из языков, если бы Волга не пролилась в эту речь своим вольным многоводьем, по руслу боевых наших, вечно ищущих, вечно жаждущих столетий?

Пели мы Шат-Реку.
Уж и что я вам, братья, сегодня реку, –
Не ходите вы, братья, на Шат-Реку.
Глубока та река, шатоватая,
Плутовата она, вороватая.
И сшибает она с ума-разума,
Подойдешь к ней, – судьба твоя сказана.
Подойдешь, изопьешь, зашатаешься,
По прибрежной глуши нагуляешься.
Опьянит она зыбью глубокою,
Завлечет шелестящей осокою.
Не ходите вы к ней, не пленяйтесь вы ей,
А уж если пошел, так себя не жалей.
Загляни, потони, значит, так суждено,
Не видать с берегов, что скрывает там дно.
Пели мы и Сладим-Реку.
Течет она, течет она,

Река Сладим течет.
Как сладость сна, идет весна,
Утрачен веснам счет.
Разъялся лед, нежна тоска,
Ключ Бездны заиграл.
Помчала всех Сладим-Река,
Белеет влажный вал.
Он хлещет всех, нас всех он взял,
Мы все в огне скользим.
Он мечет, крутит, пьяный вал,
Течет Река Сладим.

Не волны ли это все одного и того же могучего потока, который совпал своим руслом, усеянным жемчугами и шуршащим бисером, с глубоким руслом нашей таинственной русской души, которая сама себя никогда не понимает в своих безграничных порывах, но по которой, когда они сама себя растерзала и разметала, стали учиться мудрости все страны мира и ждут, чем себя еще явит эта безрассудная душа, слепая душа и всезрячая, с потемневшими зрачками, в себе укачавшими и Солнце, и Луну?

В древности Волгу звали Ра. В позднейшие века ее звали Атэль. По-египетски Ра значит Солнце. По-мексикански Атль значит вода. Не любопытные ли это совпадения и нет ли в них какого-нибудь тайного смысла, нам не видного, но Волгу нашу обогащающего?

Поэты и дети любят светлые раковины. Я тут во славу Волги бросил несколько светящихся ракушек.

Поэты и дети любят самый скромный цветочек, посеребренный каплей утренней росы. В наши черные дни капля серебряной росы не только прикраса, но и великое знамение. И вот мой скромный цветок, сорванный памятью там, где синеют, говоря о воле, Жигули.

Семьюдесятью горлами
В то море, во Хвалынское,
Втекает Волга водная,
Что с капли зачалась.
Семьюдесятью ветками
Древа в лесу могучие
До неба умудряются,
Да небо не про нас.
По небу только молнии
Прорвутся и сокроются,
По небу только с тучами
Проносятся орлы.
А мы с землею связаны
Семьюдесятью связями,
И липнь слезой любовною
Как дым взойдем из мглы.

21 июля 1927 г.

Воля России

Воля России была – рассеяться, разметаться на воле. От моря до моря, от одного океана до другого, от горной цепи до горной цепи, от естественно мыслимого Севера, с его полуночным солнцем, ледовитыми водными пространствами и промерзлыми тундрами, до естественно мыслимого Юга, с его нежно-голубою красотою Крыма и тропическим богатством Кавказа и Закавказья, от Закатного солнца, заходящего на ночь в Янтарное море, до Восходящего солнца моря Жемчужного.

Воля России, не мыслящая себя вне простора неограниченного, имела в своем своеволии одну прихоть, весьма ее определившую: Воля России любит географию и не любит историю. Эти два понятия в ней – не в соучастии согласном, как в любой стране Европы или даже в просторной Америке, а в явном, друг другу мешающем противоборстве. Их противоречие сказывается в самом их лике. География России – одна из богатейших на всей Земле, история России – одна из самых бедных. Строго говоря, если рассматривать историю России в точном смысле этого понятия, надо сказать, что мы богаты только злополучиями. Славянская рознь, варяжская загадка, минутный расцвет XII века, сменяющийся веками монгольского ига, Иван Грозный, бесовское действо Смутного времени, кровавая вольница Волжская и Запорожская, кровавая охота за сибирскими соболями, кровавый Петр, этот светоликий и молнийный демон, вызвавший из болот могучий город и ударом кулака разбудивший дремотную Москву, эта сказочная Москва, загоревшаяся в двенадцатом году от копеечной свечки и ставшая купиной неопалимой, гореньем недогорающим, 1917 год, распахнувший всю бездну нашего неуменья делать историю, созидать ее творчески, и дикую нашу

способность разметаться, рассеяться, дробить и сокрушать, быть нищим богачом, расточать не оглядываясь.

В этом последнем – воля или доля? Один звук, одна буква различны, а какое различие понятий. Конечно, пословица гласит: «своя воля, своя и доля». Но смысл этой пословицы темен. Если она хочет сказать, что наша воля всецело определяет нашу долю, это неправда, ибо наша воля иногда волит помимо своей воли, а именно в силу нашей доли, велящей нам, чтоб наша воля водила, хотела, поступала в точности так, а не иначе. Нет ли в этой пословице простого вздоха русского человек, который, натворив невообразимого, чего хотелось и больше не хочется, натворив того, чего вовсе и не хотелось, а что сделал в минутной слепоте закрутившегося чувства, грустно утешает себя: сам, мол, все сделал, волю свою показал, ну и терпи.

Мы богаты злополучиями, но богаты мы и отдельными исключительными людьми беспредельноволевыми. Конечно, завладение Сибирью Ермаком и горстью смельчаков не меньшая, а большая сказка, чем завладение Мексикой Кортесом. И такого действенного, волевого преобразителя целой страны, каким был наш Петр, вряд ли мы найдем среди своевольных властителей Европы, и наш протопоп Аввакум, наша боярыня Морозова, как мы ее видим и в жизни и в смерти, и на поразительной картине Сурикова, наши самосожигатели, наши исполины, Достоевский и Толстой, это такие образы, которым может завидовать любая страна, как бы ни была богата ее история. И в прямом и в иносказательном смысле Россия не только равнина, по которой Русское естество без конца рассеивается и переливается, и вправо, и влево, и вверх, и вниз. Это также страна высочайших горных вершин, богатейших недр, полноводнейших рек, и по окраинам своим, по родовым граням, она слышит и знает, как плещет Море

и как гудит Океан. Но моря наши – такие, что или они озера, или они сразу – наши и не наши, океаны такие, что один – ледовитый, а другой – чужой, горы такие, что мы их видим и любим, но между горными вершинами, плоскогорьями и долинами почти нет путей.

Воля России? Как ее определить? Как увидеть, в чем ее тайный ключ, золотой, серебряный или железный? Если б точно знать, все бы замки отомкнулись, все бы засовы содвинулись, распахивая широкие ворота и освобождая всех узников, – гусли бы снова заиграли многозвончатые, как они играли столько раз в веках, улыбка стала бы перелетать от одного счастливого лица к другому, как перелетает весной от цветка к цветку легкий мотылек и звонкая пчела, отягощенная лишь цветочной медоносной пылью.

Носители воли каждой страны, большею частью, в видимости не принимающие никакого действенного участия в волевой действенности этой страны, суть ее поэты и писатели. По ним чувствуется звук голоса этой страны, ее душа, отдельный ото всех других ее особый нрав, ее колодцы, ее подземные ключи, песчаные пустыри или пажити, ее тьма, где ютится нежить, ее свет, тускло светящий через слюдяное оконце или проводящий золотой меч своего луча от кругозора до емкой дуги другого кругозора, – через весь простор степи, где ковыль звенит.

Сердце молится памяти всех наших великих поэтов и писателей, ум и душа учатся и становятся мудрыми, вникая в их создания и с глубокою признательностью видя, что они создали звучнейшую песню и самое внятное слово – в стране бессловесной. Но сердцу и уму хочется еще чего-то другого. Живого примера, лика стройности. Хочется завершенности такой воли и гармонии, такого слияния красоты творческой мысли с ясной красотой жизненной доли, что глянешь и поже-

лаешь: вот так бы творить и так бы жить, так бы жить и умереть, – быть таким или сродным. Гений чужой страны, бывший не только ее величайшим поэтом, но одним из величайших работников и провидцев науки, Гёте, жил и прожил долгую жизнь и умер так, что все в нем – стройность и пример, все в нем желанный завет и такая математическая певучесть, какая восхищает нас в мудрых числовых играх звездоведения и в многоугольности кристалла. Самые падения человека – ничто, если в конце концов они сведены в единую завершенную творческую основу, в единый светлый жизнедеятельный устав. А тут ни о каких падениях даже и говорить не приходится.

Всех русских писателей, прозой ли они писали или стихом, я люблю и чувствую, что каждый из них есть частица русской души, воли России, а русская душа и воля России мне дороже всего на свете, и не хочу я искать примера и утешения на стороне – мне это нужно в моем собственном доме, ибо я не только блуждаю по всем странам, ибо я не только растекаюсь и разматываюсь, – но и самосцепления; я русский и хочу России, я хочу русского.

Почему же душа моя проникается болью и тоской неистовой, когда я не о прекраснейших созданиях русского художественного слова начинаю думать, а о жизненной доле этих прекраснейших творцов?

Пушкин застрелен. Лермонтов застрелен. Испепеленный внутренними пытками, Гоголь умер безумным. Кольцов умер, не дожив свою жизнь. Никитин, перед смертью оскорбляемый ближайшими, умер, не дожив свою жизнь. Глеб Успенский умер безумным. Батюшков еще в юности сошел с ума и прожил жизнь сумасшедшим. Вся жизнь Некрасова – мучительное противоречие. Тургенев умер в чужом доме, в чужой стране, любя напрасно и окруженный безлюбием.

Умудренный, но и пронзенный пытками каторги, умудряемый и жалимый своею падучей, целую жизнь под хлыстом нужды, Достоевский умер, не успев довершить и главнейшего. Толстой, в безысходном раздвоении прячущийся от своих близких и с своею любимою живя под одной кровлей как с женой, которую любил, и как с врагиней, от которой укрывался, перед смертью бежит наконец из своего дома, чтобы хоть умереть на свободе и в полной правде перед самим собой.

Жутко и страшно. Неужели это воля России и русская душа? Или все это опять наша доля, наше предназначенное богатство души и одаренности, соединенное с тем роковым даром волшебниц, благодаря которому мы так всегда богаты злополучиями?

С любовью и с тоскливым вопросом смотря на лики создателей нашего полногласного, единственного в своей звучности и духовной красоте Русского слова, я думаю: неужели только один Аксаков из наших великих прожил жизнь долгую и ясную и, всю жизнь храня красивым и стройным свой лик, умер тихой смертью, полновесной мерой отдав людям зерна золотые своего Божьего дара и окруженный в смертный свой час любовью несомнительной и близких и далеких? Я не вижу сейчас никого другого.

В своих книгах, написанных наилучшим Русским языком, Аксаков любил художественно повторять слово «в меру». Он знает, как охотник, что нужно к добыче подойти в меру, если не хочешь, чтобы меткий твой выстрел превратился в промах. Почти всю свою жизнь прожив среди природы, видевший в обильных своих десятилетиях больше птиц, рыб и зверей, нежели людей, не потому ли он внедрил в свою жизненную картину, в свой творческий и чисто личный образ ту высокую художественную меру, которая составляет основное правило миросоздающей Природы?

Не об умеренности я говорю, о нет. Русский ли станет говорить с русским и по-русски об умеренности? Я знаю, что русская душа всегда останется безмерной. Хватит этого у нас до скончания веков. Но, если бы в жажде безмерности, воля России постигала также красоту и меткострельность той меры, которая, пробивая русло, делает реку глубокой, давая огромнейший рост и великую тяжесть слону, помогает ему в то же время ходить изящной, легкой походкой, вытягивая в длину ихтиозавра и кита, дает им возможность делать незатруднительно самые верные движения, – тогда, о, тогда и затянувшее Россию марево развеялось бы со скоростью, радующей душу, и мы все, очутившиеся во чреве китовом, скоро бы увидели синее небо безоблачным и родную нашу землю желанным домом.

Если бы я был волшебником, я бы поколдовал, чтобы воля-воление России, – и той, что осталась на родимых местах, и той, что вольно или невольно выметнулась вовне, – в меру проникшись жаждой самосцепления, волила не своеволие рабства, а только волю-свободу.

1924

Воробьеныш

Говорят, что все познается по сравнению. Неверно это говорят. Потому что, когда мы любим в первый раз, мы любим без сравнения, и нет у нас тогда для сравнения никакой еще основы. А первая любовь бывает всегда лучшая, и мы познаем ее как лучшее, что может быть даровано и суждено человеку.

А когда пройдет целая жизнь и много у нас в руках всяких сравнений – больше, чем хотелось бы иметь и знать, – мы, пробегая духовным нашим оглядом всю многоликость нашего опыта, все безмерное разнообразие виденного, видим и знаем, что да, мы были правы тогда, в нашем детстве или в нашей юности, решив, что наша первая любовь – лучшее, что может случиться.

Первая любовь не непременно желанное лицо любимой, совсем не непременно девушка. Моя первая любовь – деревня, усадьба, где я родился и вырос. Моя первая любовь – насыщенное Солнцем, весеннее утро, и я сам, лет четырех, сидящий на родном балконе и любующийся душистыми большими кустами лиловой и белой сирени, вкруг которых вьются безмолвные бабочки, желтые, белые и красноватые, и реют и мелькают с непрерывным звоном пчелы, такие мохнатые и добрые, злые красивые осы с тонкими талиями, огромные полосатые шмели, которые совершенно торжественны, и пестрые мухи, непохожие на тех, что звенят о стекла окон в доме.

Первый час моего сознания, долгий час, в одно слиявший мое утро, мое детство с Солнцем, с весной, с цветами, с деревьями, с золотисто-голубым воздухом, с мелькавшими веселыми живыми существами, которым хорошо и которых никто не трогает, – вот моя первая любовь.

Она менялась, любовь, многократно и многоразно, в нее входило все больше ликов и все больше сложности, но она не изменялась, любовь, ибо любовь измениться не может по существу своему. Она меняет только свою степень и свои одежды. Любовь первая есть и последняя. Любовь одна.

Сидя у своего парижского окна, я смотрю на серые стены домов, только что омывшихся дождем, вспоминаю великолепный стих где-то потерявшегося в пространстве моего друга Максимилиана Волошина: «В дождь Париж расцветает, точно серая роза», и, видя, что небо много выше крыш, и что оно, как в детстве моем, такое же голубое и неувядаемо-красивое, я тихонько думаю, что, пожалуй, душа моя всю жизнь питалась и сейчас насыщается тем первым утром, той первой любовью, выросшей из этого бессмертного утра способностью любить мир и живые существа и знать, как это в свой час узнал Магомет, что любоваться красотой – творить дело Божие.

Я люблю деревню и не люблю город. Нет, это не так. Город я тоже люблю, но любовью мучительной, и она исчерпывается всегда в очень короткий срок. Если бы у меня была свобода выбора, я поселился бы опять в родной глуши или на берегу Океана. В родную глушь дорога отрезана надолго, быть может, навсегда. На берегу Океана снова очутиться легче, но, волей исторических обстоятельств, я нищ, и неукоснительная необходимость заставляет меня жить в городе, где есть хоть небольшие возможности заработка. Кто любит природу и живые существа, нечеловеческой жизнью живущие живые существа, тот всегда в городе томится, видя в нем мертвое сцепление камня и металла пыльное торжище, безмерный погост живых привидений. Непостижимо упорна преданность детских привычек. Если здесь, в Париже иногда, как будто чудом, я утром

услышу, полупробужденный, звонкое пение петуха, я слышу этот звук, как благословение, как весть из мира, в котором только счастье и нет шатаний и колебаний, совершенно неизвестны сомнения. Но услышать петуха в Париже почти так же трудно, как услышать пение Жар-птицы. Легче услыхать страстные вопли кошки ночью, и даже этому звуку радуешься, как природному звуку, непохожему на свист локомотива, на грохот трамвая, на уродливые шумы других проезжающих экипажей. Живые существа исключены из городского обихода, или, если они возникают, то возникают в лике искаженном. Собака – в намордник. Птица – в клетке.

Мне было любопытно заметить собственное ощущение. Однажды как-то в нестерпимо жаркий июльский день я шел один по какой-то пустынной улице. Прохожих не было. Все спрятались от зноя, кто куда. Я шел, возвращаясь домой, после нудных бесполезных хлопот о чем-то, и эта пустынная улица мне скорее нравилась полным отсутствием людей на ней. Это уже походило на природу, весьма пустынную, конечно, но и пустыня хороша. Внезапно из одного отверстия, одного из тех, что зияют над скрытыми под улицей и тротуаром сточными трубами, выползла преогромная крыса, не торопясь прошлась около тротуара, по которому я шел, сажени две и скрылась в следующее отверстие. Видно, что мало у меня радостей от живых существ, живущих не по-человечески, – а также и от существ человеческих, – если даже этой безобразной крысе я обрадовался по-настоящему. Хоть бы поговорил с ней, если бы только умел. И вряд ли она бы мне сказала вещи, более глупые и более злые, чем кто-нибудь из человеков. Ведь язык глупости и злости среди людей всегда имел успех, а ныне предпочтен перед всеми человеческими наречиями.

Кстати, о крысе и о злости. Здесь в Париже, однажды, – уже давно, – я видел такую сцену. Я жил тогда около храма Маддэн, на улице Боаси-д'Англя, в небольшом отеле, расположенном на широком дворе за оградой, и каждое утро ходил в Национальную библиотеку, представляющую из себя столь изумительное книгохранилище, где душа может знать без конца счастье искупаться во всех морях и во всех эпохах. Выйдя раз из дверей для ежедневного своего похода, я задержался на дворе, увидев странную группу. Несколько людей, господа и ремесленники, стояли с видом ликующим и заинтересованным вокруг отельного гарсона, который одной рукой держал клетку с крысой, а другой держал за ошейник порывавшуюся из неволи небольшую собаку. Прежде чем я успел понять, в чем тут дело, гарсон приоткрыл дверцу клетки, вернее, западни. Крыса не хотела выходить. Он ее вытряхнул – она побежала. Тогда он спустил собачонку, и та в одно мгновение нагнала крысу, метким движением схватила ее как раз посредине спины и перехватила ей пополам спинной хребет, при громком хохоте и гоготанье этих собравшихся мерзавцев. Побледнев от негодования, я быстро подошел к ближайшему человеку и хотел ему сказать резкое слово. Но я увидел такую ликующую насмешку на таком наглом лице, что, сцепив зубы, молча пошел прочь. В тот день ни одно из умственных сокровищ Парижской библиотеки не могло сделать меня счастливим и ясным.

Мне, конечно, не неизвестно, что крыса очень вредное животное, и, если ее уничтожают, это вполне естественно. Но делать из этого потребления такую мерзостную забаву, поистине же это занятие – мерзавческое.

Я склонен думать, что женское сердце лучше мужского. Во всяком случае, другая маленькая сцена,

которую недавно я видел здесь, недалеко от моей улицы, очень выразительна и годится для сравнения, хоть настаиваю, что не сравнение – путь познания.

В начале лета я шел однажды утром по соседнему бульвару Пастэр. То было время, когда у многих птиц птенцы уже подросли и начали летать, перелетая с дерева на дерево. Труднее птенцам, еще неопытным, перелетать не с дерева на дерево, а с дерева наземь и обратно. Такой неопытный воробьеныш легко делается добычей злого мальчишки, или кошки, или мимо бегущей собаки. И когда я шел, именно такой неискушенный птенец-воробей пытался, попав на землю, очутиться опять на дереве, где встревоженно покрикивали старые воробей и воробьиха, и никак не мог достичь желаемого. Взлетев на половину должной высоты, он, трепеща слабыми крылышками, опускался или, точнее, падал наземь. Это увидела из противоположного небольшого кафе служанка. Может быть, впрочем, это была дочь хозяйки, и потому она решилась, не боясь потерять клиентов, заняться воробышком. Она выбежала из кафе, без труда поймала воробьеныша и посадила на нижнюю ветку ближайшего дерева. Мало толку. Опять он свалился – земля его притягивала. Девушка снова помогла пичуге: посадила на ветку немного повыше. К птенцу слетелись старые воробей и воробьиха и начали его по-воробьиному бранить и усовещевать. Девушка успокоилась, вернулась к своему кафе, но не вошла в него, а стоя около входа, продолжала с неотступной заботливостью смотреть на дерево, выжидая, что будет дальше. Дальше произошло странное и прекрасное, настолько прекрасное, что позабыть это мудрено. Воробышек снова слетел, а слетев, перелетел на самую середину улицы и победно уселся на мостовой. В это время бешено несущийся автомобиль стал быстро приближаться к тому месту, где сидел во-

робьеныш. Было видно, что он как раз левым колесом, более далеким от кафе, раздавит птицу. Вдруг – скорее, чем можно сказать «раз, два, три», – девушка, видевшая все это так же, как я, неподвижно стоявший на бульваре, отделилась от порога кафе с такой стремительностью, как будто она оттолкнулась от своего дома, и, пробежав перед самым автомобилем, уже вот-вот набегавшим, схватила воробышка и спасла его.

Он был спасен, этот избранный воробышек, и пущен в какой-то сад. Но то, что эта девушка не очутилась под автомобилем, я считаю безусловным чудом. И когда через минуту я прошел вплоть около этого кафе, я увидел, что теперь уже не старые воробей и воробьиха бранят и усовещевают воробьеныша, а взрослая дама и несколько посетителей кафе взволнованно говорят что-то девушке, которая стояла смущенная и счастливая.

Пока я пишу, мне приходит в голову, что я ни разу после этого маленького события не зашел в кафе и не попытался увидеть эту девушку и что-нибудь сказать ей. Но скажите мне на милость, что бы я ей мог сказать? Я сказал бы: «Если б я был не нищим поэтом, а богатым сеньором, я бы подарил вам прекрасный замок с большим садом и подарил бы вам одновременно сто клеток с разными птицами. В самый солнечный день, когда цветут розы, от которых бы падала розовая тень на ваше лицо, мы с вами вместе целый день выпускали бы из клеток птиц на волю. А когда настала бы ночь, в наш сад стали бы с неба падать звезды». И девушка, конечно, ответила бы: «Мосье хочет белого вина или красного?» И, быть может лукаво улыбнувшись, она сказала бы еще с расстановкой: «Или, может быть, мосье уже выпил довольно?»

Нет, я не буду искать случая испортить красиво совершившееся. В прекрасных событиях хороша некоторая незаконченность.

И пока я пишу, уже настала ночь. Звезды не падают в мой сад – у меня больше нет сада. Но в расщелинах старого соседнего дома острым голосом поет сверчок, а в соседнем чужом саду голосом более мерным и умягченным поют цикады. Мне хорошо от этих звуков: они мне говорят, что жизнь еще не кончилась, что есть еще в мире существа, у которых нет сомнений и которым весело дышать и бросать свой голос в пространство.

Я смотрю на небо. Звезды разбросались. Звездный олень поднял свои рога и ведет мою мысль к Северу. Да пошлет Судьба той стране, которая дала мне жизнь, многотравные луга, плодородные нивы, счастливых людей, правдивые дни, несчетные стада коров с тяжелым выменем, звонкие табуны коней, что всегда так красивы были в России... «Это будет», – отвечает мне одна звезда, которой захотелось упасть с неба на землю.

Голубое окно

Крым

Россия – великая равнина. Россия, переливающаяся в Сибирь, есть такой простор, что другого, равного, нет более нигде на Земном Шаре. Россия такая ширь, что русский дух разлился бы в этом просторе и расточился бы, побыл бы лишь недолгое время полою водой, если бы у него не было скреп. Кавказ, Крым, Урал – это высокими стенами скрепляющие нас твердыни. И Терем наш, ныне захваченный злым наваждением, но долженствующий вскоре восстановиться в своей веками установленной, законной, в своей естественной красе, смотрится в прозрачные, голубые и зеленые окна. Они зовутся, эти окна, освобождающие нашу душу и всю Летопись наших дней: Черное, Варяжское море, Каспийское, Белое море, Ледовитый океан и Тихий. Туда мы смотреться будем всегда, и, как только пробьет час великого нашего освобождения, к нам и от нас через эти окна потекут плавучие караваны несосчитанных духовных богатств и созданий вещественных.

Крым – голубое окно. Море – освободительная сила. Не Морем ли взлелеяны блуждания викингов, дальномечущие плавания финикийцев, испанцев, португальцев, гений Шекспира и Шелли, певучая дерзость Байрона, бессмертные стихи Пушкина и Словацкого? Не море ли, дарящее жемчуга и бывшее учителем Гомера, выковало своею творческою силой копье Афины Паллады и щит Олега?

Голубое окно, смотрящее в сад, где сладостно-душно от козьей жимолости и не счесть роз. Голубое окно моих счастливых часов освобождения и молодости, где одинокую тоску я расчаровал, перепев по-русски гениального «Ворона» Эдгара По и написав свою книгу «В безбрежности», – где в блаженные дни

нечаянной радости Мирра Лохвицкая пережила со мною стих «Я б хотела быть рифмой твоей – быть как рифма, твоей иль ничьей», – голубое окно, которого не загасят никакие злые чары, – оно не может не открыться снова для нас, ждущих, ибо Русская Россия – с нами, ныне жертвенно хранящими правый свет и звук верного колокола на далекой чужбине. В час Русского праздника Родная Россия широко раскроет свое голубое окно.

Capbreton, Landes, Little Cottage.

1927, 8 ноября

Голубой талисман с золотым обрамленьем

(Италия)

Новизна звука и света...

Данте

Данте – самое красивое и полнозначащее имя из всех имен европейской поэзии. Им должно начинать и им оканчивать самое краткое и самое долгое рассуждение о Италии, ибо, если захочешь в одном слове почувствовать всю эту богатую блеском и творчеством страну, этот край, озаренный новизною звуков и новизною красок, этот голубой талисман с золотым обрамленьем, скажи только – Данте.

Но вот, произнеся священное это имя – через всю мою жизнь мне дорогое, – ласкавшее мою юность и, как глоток золотого вина, заставляющее мое сердце биться сильнее, когда Солнце глядит к закату и от юности отделяют меня десятилетия, – я вдруг слышу, что в сердце моем, как бы нежно оспаривая ограничительность моего утверждения, – не самое утверждение, а лишь то, что есть в нем ограничительного, – запела всеми звучными голосами перекличка имен: «Как? А Чимабуэ, а Джотто, а Фра Анджелико? А Франциск Ассизский? А Фра Якопоне да Тоди? А Леонардо?» И я слышу львиный рев и клекот орла. Но ни голос льва, ни голос орла не заглушают певучую перекличку имен. «А Микеланджело? А Рафаэль? А Тициан? А Бенвенуто Челлини?» И вот я не кончу никогда. Потому что это не только про себя, но и про меня сказал создатель

Персея: «...a me sempre dilettato il vedere e gustare ogni sorte di virtù»[1].

В той прежней России, к которой относится мое детство и моя юность, я родился в 1867 году – мы, будущие поэты и художники, с детства привыкали произносить слово «Италия» как название волшебной страны, где небо особенно синее, где море голубое, где Солнце особенно золотое, где все – живопись, музыка, сладкозвучный язык серенад, гондолы, – куда непременно нужно поехать, когда полюбишь. Такую мечту детства и юности я осуществил в 1897 году, приехав с моей любимой в Равенну, в Рим, в Милан, в Болонью, в Венецию, во Флоренцию, в Неаполь. Но задолго до этого прикосновения к неисчерпаемым красотам Италии, ее искусства, ее певучего языка, ее природы, полной чар тончайшей красоты и упоительной гармонии, я полюбил Италию ребенком. У моей матери была заветная шкатулка, где было множество дорогих ей предметов, камней, медальонов, разных драгоценностей и небольших карточек – снимков с наилучших произведений живописи. О, эта шкатулка! Когда она раскрывалась, передо мною раскрывался мир необыкновенный, наполнявший душу сладким восторгом и мучивший ребенка какою-то странной, сладостной тоской. От птиц, цветов, и деревьев, и бабочек, среди которых протекало мое счастливое детство, мне хотелось туда, в особый мир, который рисовался ребенку, когда раскрывалась заветная шкатулка. «Это – Мадонна Рафаэля, – говорила мне мать особым голосом, в котором слышалась любовь, но также и чувствовалось особенное почтение.– Это – портрет Данте, который был в Аду и в Раю. Это – пинии. Это – Везувий. Венеция, где не ездят на лошадях, а только на лодках». Среди этих ликов бы-

[1] Меня всегда услаждало видеть всякого рода качество и упиваться им *(ит.)*. Здесь и далее в этом очерке перевод автора.

ла одна старинная, очень синяя эмаль, и была она окружена тонким золотым ободком. Не знаю почему, но мое детское воображение решило, что это-то вот и есть настоящая Италия. Очень старинное, очень синее и в золотом окруженье.

Я думаю так и теперь.

Что поражает меня в итальянском языке, в итальянском искусстве, в итальянском поэтическом творчестве, и в мышлении религиозном, и в мышлении научном – это непрерывность творящего Я, это старинность всех достижений всякой итальянской virt[2]. Не сумма отдельных разных людей создавала эту пышную многовековую культуру, а один итальянский дух. При всех различиях разных отъединенных достижений Италии, при всех вражеских столкновениях отдельных частей Италии – друг против друга, при всем торжестве личного начала, индивидуализма, везде и во всем, образно сказывающегося в ненависти Микеланджело к Леонардо да Винчи – до какой степени очевидно и неотрицаемо на всем итальянском лежит печать итальянского духа. Этого уж ни с чем другим не смешаешь. Тут все идет одно к другому, составляя один голубой талисман с золотым обрамленьем. Мне вспоминается поговорка итальянского земледельца: «Vigna piantata da me, moro da mio padre, olivo dal mio nonno»[3]. Здесь уместно припомнить и другую поговорку того же разряда: «Se il coltivatore non pi forte della sua terra, questa finisce col divorarlo»[4]. Человек в Италии сильнее своей земли – и потому он так разнообразен и столько у него высоких достижений. Но и земля тут сильна, так сильна, так

---

[2] Свойство, особенность *(ит.)*.

[3] Виноградник посажен мной, шелковичное дерево – моим отцом, олива – моим дедом *(ит.)*.

[4] Если земледелец не сильнее своей земли, она кончает тем, что пожирает его *(ит.)*.

могуча, что надо было развивать исключительные качества личности, чтоб оказаться сильнее этой земли, и потому здесь, в Италии, каждый победитель земли получил от сильной своей соперницы ее печать, и потому все достойные итальянцы, при великом друг от друга отличии, носят на себе Ее печать, старинную именную печать Италии.

Я рано изучил итальянский язык. Меня научила ему заслуженная русская писательница А.Андреева, ученица лучшего в России исследователя эпохи Возрождения, академика Александра Веселовского, которого итальянцы звали «наш Веселовский», il nostra Vesselovski. Руководством профессора Стороженко, знатока англичан и итальянцев, я перевел на русский язык классическое двухтомное исследование Гаспари «История итальянской литературы», которое было принято как руководство во все русские университеты. Это сочинение очень помогло мне войти в изучение Италии. Но более, конечно, этому помогли прочитанные в подлиннике Данте, Боккаччо, Петрарка, Микеланджело, Вазари и подробное изучение, на месте, несравненной итальянской живописи. Итальянская цивилизация учит прежде всего чувству личности и чувству красоты. Я всегда думал, что чувство личности есть лучший маяк для художника, у которого есть что сказать. Потому Италия всегда была мне близка и дорога.

В Италии я был несколько раз и в разных ее местах. Но мне было бы совсем трудно решить, в каком месте в ней мне было всего лучше. Первый глоток морского воздуха, когда приезжаешь в Венецию. Набережная Генуи и ощущение, что в этом городе было много силы и много смелости. И опять Венеция, золотая ее живопись и голуби на пьяцце Сан-Марко, и нежный топот изящных женских башмаков, а тут же близко – бесшумно скользящая черная гондола. Обрамленная синей гор-

ной стеной Флоренция, а в коридорах Уффици сноп лучей весеннего Солнца – и божески-застенчивого красотой ворожит и притягивает Мадонна Мелоццо да Форли, и, быть может, всего пленительнее то, что заветная книга, слово Бога, лежит у ног этой Божественной. Сумасшедший звон, музыка, крики, веселье неаполитанской толпы. По-тигровому тихий, чуть дремлющий, чуть дымящийся Везувий – и тут же бессмертная Помпея. «Я посадил виноградник, отец мой – шелковичное дерево, дед мой – оливу». И свежий воздух Рима, где итальянский говор так мягок. Разве есть что-нибудь в Италии, что можно любить больше и любить меньше?

Конечно, можно. У меня всегда моя особая любовь, мое нежное пристрастие связано с чем-нибудь личным. Я вышел однажды на улицу и не знал, где во Флоренции какая-то церковь, – какая, уже забыл теперь. Я спросил в мелочной лавке. Хозяин послал своего сынишку, мальчика лет двенадцати, проводить меня. Едва мы пошли, он посмотрел на мои длинные волосы и спросил: «Художник?» – «Поэт», – ответил я, невольно улыбнувшись. «А, синьор – поэт! Вы читали Данте? Вы читали Петрарку? Вы читали?..» И он забросал меня вопросами и именами. А узнав, что многих я читал, он доверчиво начал мне рассказывать известные и неизвестные мне случаи из жизни и Данте, и Петрарки, и Микеланджело.

Налюбовавшись на великолепные мозаики, я ехал в каретке по пустынной равнине Равенны. Со мною была моя милая. Молодой кучер был красивый итальянский юноша, совершенно молчаливый. Справа и слева около дороги, под откосом, были небольшие пруды. Я разговаривал с своей любимой. Вдруг кучер остановил лошадь, молча слез с козел и спустился к прудку. Мы переглянулись. «Что бы это значило?» Он сорвал

несколько водяных лилий, вернулся, молча подал цветы моей даме, сел на козлы и поехал дальше. Как это было хорошо!

Я проходил в Генуе по какой-то улице. Меня кто-то окликнул по имени, Я оглянулся. Ко мне подошел незнакомый мне человек, итальянец, швейцар отеля «Милан» Роберто Таварнелли. Он сказал мне, что знает меня в лицо, что он был в Москве, и один мой приятель научил его русскому языку, читая с ним мою книгу «Будем как Солнце». Уехав на другой день во Флоренцию, я послал ему в подарок мою книгу «Только Любовь». Он написал мне прелестное письмо, в котором, как истинно понимающий, говорил о моих стихах и о России, которую он полюбил, как вторую свою родину. Вот, я нашел среди старых писем его письмо. Я сохранил его. Его нельзя было не сохранить.

Эти три маленькие случая – не прекрасные ли три цветка? И не говорят ли они, что в Италии умеют взрощать – и виноградную лозу, из которой делают веселящее вино, и шелковичное дерево, которое дарит прекраснейшие тонкие ткани, и таинственную оливу, чьи шелестящие листья умеют рассказывать древние красивые сказки?

Современную Италию я знаю мало. Но я вообще не люблю современность, ни русскую, ни европейскую. Я увлекался раньше романами и драмами Д'Аннунцио. Но у меня, кажется, больше ненависти теперь к нему, нежели любви. Ибо он – воплощенное себялюбие. А если я не перестал думать, что чувство личности есть лучший маяк художника, я никогда не думал, что художник должен считать себя, и только себя, полным алфавитом. Мне нравится не только моя азбука, но в особенности я готов приникать к азбуке языка, которого я не создал, который для меня – путь в неизвестное.

Мне нравятся некоторые романы Фогаццаро, например, «Святой» («Il Santo»). Мне очень нравится книга стихов Анджьоло Орвието «Verso l'Oriente» («К Востоку»). Я перевел на русский язык его поэму «Земля смерти» и поместил в моей книге «Где мой дом?».

Но я повторяю: современность мне чужда. Моя душа – в древнем Египте, в Вавилоне, в Мексике, в Индии, в Японии, в Океании. Если же в России, то в России времени кочеваний на скифских конях, или в Руси XII века, когда слагались наши народные былины. Если же я в Европе, то я в средних веках и в эпохе Возрождения, когда именно Италия, а не другая страна, впервые научилась жаждать голубого талисмана в золотом обрамленье. И мне кажется, что все новые достижения искусства, и в частности поэтического творчества, очень скоро стареют. А «Vita Nuova» Данте всегда остается «Vita Nuova».

И мне, пропевшему много гимнов Солнцу, Луне, Огню, Воздуху, Воде и Земле, – мне, живущему на берегу Океана и любящему слушать ветер и голос своей собственной созерцающей души, кто же из современников может быть так современен и близок, как Божий музыкант Италии, подружившийся даже с волком Губбио и пропевший на все времена:

Восхвален будь, Владыка мой, со всеми тварями твоими,
За господина брата солнце особливо...
Восхвален будь, Владыка мой, за брата ветра...
Laudato si, Misignore, cum tucte le tue creature
Specialmente messor le frate sole...
Laudato si, Misignore, per frato vento...

1925, май. St.-Gilles-sur-Vie, Vende

Дагмар

Сон

Нине Васильевне Евреиновой

В предутренний час мне приснилась Дагмар, моя стыдливая любовь, мечта, душа моей души.

Мне снилась полночь. Спит темный замок, спит сад, деревья слились в одно черное пятно, озеро окутано туманом, где-то совы кричат, на небе ни звезды – и вдруг, вся в белом, с балкона тихонько спускается Дагмар. Так странно шла она, тем более странно, что она ведь боится темноты и ночью никогда не выходит из комнаты, уходит к себе, как только вечерние тени приблизятся к замку. И вот теперь, ровно в полночь, шла Дагмар в саду. Она ступала как призрак, и от шагов ее оставались легкие светлые следы, точно пятна лунного блеска, прошедшего сквозь чашу сосен. Она о чем-то плакала, слезы падали в траву, и в траве загорались светляки. Она шла по берегу озера, и в черной глубине следом за ней вырастали на дне блестящие цветы; они тянулись все выше и выше, точно стремясь ее догнать, и некоторые из стеблей поднялись над водой, и с блестящих лепестков, освободившихся от воды, падали капли еще более блестящие, чем лепестки, и все озеро оживилось и как будто стало двигаться. Дагмар наклонилась и зачерпнула полные пригоршни воды и брызнула ею кругом, направо и налево, и тотчас же капли разбрызганной воды сделались блестящими и помчались так стремительно, как будто их бросила не хрупкая женская рука, а сотни, тысячи рук первобытных гигантов. И вот, устремляясь все дальше и дальше, капли превратились в метеоры. Огнистые, яркие, торжествующие метеоры, точно духи, стали кружиться в бешеной пляске и поднимались все выше, все выше, –

и вдруг, как бы достигнув желанной высоты, они мгновенно успокоились и повисли на лазурном небе застывшим хороводом звезд. И откуда-то зазвенела музыка упоительные звуки. И я посмотрел на Дагмар. Она стояла неподвижно, и глаза ее были устремлены к небу, и такая спокойная радость светилась на ее лице, как будто в это мгновение силою нежной и творческой мысли она давала жизнь тысяче существ, безмолвно благословлявших ее.

Так снилась мне Дагмар в тот час, когда дрожит предутренний туман.

Два слова об Америке

Из писем с дороги

18 июня. El Paso

Последний привет с границы Мексики. Вчера вечером приехал в этот первый американский город, бывший когда-то испанским. Первое впечатление от Америки – самое живительное. Мне кажется, что я погрузился в веселящие воды нарзана. Бодрые, веселые лица кругом, ощущение свободы, звуки музыки, свист паровозов, кипение жизни – все что угодно, вплоть до маскарада Армии Спасения. Некоторые улицы Эль-Пасо напоминают набережную Ялты, другие шумные улицы большого европейского города, третьи – совершенно деревенские. Мелькают лица негров, метисов, китайцев. За сутки здесь я слышал больше музыки, чем за полгода в Мексике...

27 июня. San Francisco

Я, наконец, в царстве колибри – в парке Золотых Ворот, находящемся в окрестностях Сан-Франциско, я видел их целое множество. Здесь торжество птиц и растений перед громадою Тихого океана. Приехав сюда из Мексики, я сделал одно из самых красивых путешествий. Я проехал часть Техаса, Новой Мексики, Аризоны. Горы Аризоны – одна из самых загадочных и прекрасных сказок...

21 июля. Атлантический океан

Вот уже около недели, как я опять плыву по голубой Атлантике, но теперь с каждым новым часом я приближаюсь к родным местам, к близким людям...

Через три дня я буду в Charing Crocc'ioaca, и в National Gallery, и на Regent Street, и в Hyde Park'e. Невероятно – и так хорошо. Как я люблю Англию и анг-

личан! Это – моя душа. Я потому и возмущаюсь на американцев, что они представляют из себя карикатуру англичан. Американцы – это противная смесь британца, немца, бельгийца, швейцарца и еще черт знает чего...

Мне хотелось бы написать подробно о моих впечатлениях от Америки и американцев, но, кажется, я не в состоянии. Слишком не полны и беглы были впечатления, и я не могу на них с точностью полагаться. Могу сказать только, что наши книжные, с детства составленные представления об этой стране и людях вполне верные, с одним только исключением: в Америке до мучительности мало личной свободы, и в Америке вовсе нет тех кошмарных подавляющих городов, которые мы себе рисуем. Кто видел Лондон и Барселону, того не удивишь Нью-Йорком. Кто видел хотя бы Берлин и Антверпен, в том Чикаго может лишь вызвать презрение. Американцы – хорошие работники, они добродушны, они честны и в денежных счетах не мелочны. Но они грубы, безвкусны, безграмотны, они воплощение материальности, они каждую минуту делают дела, они торопливые марионетки, занятые однообразным изготовлением долларов. Образец их отношения к литературе и искусству может быть иллюстрирован двумя-тремя маленькими примерами. В Чикаго музей изящных искусств состоит почти сплошь из больших слепков с тех скульптурных оригиналов, которые мы знаем в Британском музее, в Лувре и других европейских или неевропейских музеях. Эти копии перемешаны с оригиналами. О, гнусная смесь педагогии и низости! Это как если бы на всех базарах продавали восковые куклы Кальдерона и Шелли и глиняные изображения гималайских высот. В Сан-Франциско после долгих исканий я нашел лишь два книжные магазина. В одном вместе с новыми книгами продавались

подержанные, все умеренного достоинства. Другой назывался теософским, но в действительности был пиритическим, или «спиритуалистическим», как конфузливо сообщил мне хозяин в ответ на мое сдержанное негодование, что у него ничего нет по теософии. В этом спиритическом, или спиритуалистическом, магазине я мог купить лишь одну интересную книгу и несколько брошюрок, зато купил хороший клей, чернила, мог бы, кажется, еще приобрести ремни для чемодана. В Нью-Йорке я не нашел ни одного книжного магазина, изъездив и избегав этот огромный город из конца в конец много раз. Конечно, в нем есть книжные магазины, но, я говорю, они теряются. Сапожных лавок я помню множество, также фруктовых магазинов и дрянных ресторанов. Что касается книг, они боязливо укрываются где-то.

Но Нью-Йорк все же прекрасен. Broad Way, которую любил и Уитмен, и Эдгар По, полна жизни. Я существовал как раз на ней, в хорошем отеле New Cadillac, в комнатенке, окно которой выходило на какую-то вновь воздвигающуюся гигантскую постройку. Главный парк Нью-Йорка очарователен. Он далеко не так велик и роскошен, как парк Золотых Ворот в Сан-Франциско, составленный из самых царственных, экзотических растений, возлюбивших почву и воздух Калифорнии. Но зато он уютнее, интимнее, в нем нет помпы и блеска хвалебной оды, но есть светлая лирика, есть нежность элегии. К нему примыкает великолепный музей, в котором я наслаждался прекрасными созданиями египетской и эллинской фантазии и был изумлен сходством Кипра и Мексики-Майи в области глиняных ваз и терракотовых фигурок. В нем есть также превосходная коллекция музыкальных инструментов всего мира, которой я был весьма импрессионирован. Особенно сильное впечатление произвели на меня ин-

русский струнный инструмент – вина, грациозная и воздушная, как сон в апрельское утро, – перуанская скрипка, струны которой натянуты на человеческий череп, покрытый волосами, – голова мумии, – и свирели из человеческих костей. В музее Нью-Йорка я, к счастию, не нашел также достопримечательного шкафа раритетов, который, видимо, составляет гордость музея в Сан-Франциско: там, наряду с разными подлинными обломочками того-сего из Египта, есть кусочек дома, в котором родился Шекспир, кусочек стула, на котором сидел какой-то знаменитый француз, и (tres chic!) кусочек Храма царя Соломона. Я удивился, что там не было кусочка Ноева ковчега и белокурого локона вероломной, но пленительной Евы. Но, верно, еще будет. Американцы не любят препятствий. Стоит поискать – найдешь.

Что еще мне понравилось в Нью-Йорке, это множество красноцветных красивых домов в английском стиле, совсем как в Лондоне, и воздушная железная дорога, проходящая над улицами таким образом, что ты иногда мчишься над уровнем крыш или на высоком, высоком воздушном мосту – вольно, просторно, сердце радостно сжимается.

Я мчусь по воздушной железной дороге,
В могучем Нью-Йорке. Вблизи – океан,
Мелькают лачуги, мелькают чертоги,
Я мчусь по воздушной железной дороге,
И радостен сердцу железный обман.
Машины, машины. Победа над высью.
Сплетенье металла. Узоры сетей.
Я молча гляжу притаившейся рысью,
Я вольно овеян свободною высью,
А там, подо мной, – панорама людей.
Дорога восходит все выше и выше,
Я вижу там, в окнах, бесчисленность глаз.

Превзойдены взором высокие крыши.
Дорога восходит все выше и выше.
Стремленье, куда же уводишь ты нас?

Я уж совсем ненавидел Америку, несмотря на ее сказочные области, вроде Аризоны, – а Нью-Йорк примирил меня с ней. Мне глубоко противны современные американцы, но я верю в великое будущее Америки. Где есть природная даровитость и страстность стремленья, там не может не быть достижения. Теперь американцы несносны и нелепы, как подростки, мнящие себя взрослыми. Голова напомажена, но руки не вымыты. Подростки преувеличивают частности, не достигая и не понимая гармонии целого. Но я не забываю, что среди американцев возник еще сто лет тому назад Эдгар По и почти в наши дни – Уолт Уитмен. Это два такие обещания, от которых можно ждать совершеннейшего. Я думаю еще о другом: я говорю слишком много о людях, я придаю им напрасно слишком много значения. «Природа стережет и утра ждет от нас». Такая природа, какую видишь между громадами Тихого и Атлантического океана, заставит людей быть великими и красивыми, как она их уже вынудила к этому не раз.

Я прикоснулся к этому великому Nuevo Mundo, я слишком живо чувствую, что современная плоскость в ее бездарной наготе не может царить здесь долго. Здесь живы еще, с одной стороны, майя, Перу и Мексика и, с другой стороны, живы, хотят и не могут не жить красиво и страстно такие сказочные страны, как призрачная Аризона, полная гор, похожих на пирамиды и минареты; беспредельный Техас, подобный травяному морю; жемчужно-изумрудная сказка Тихого океана – Калифорния, где растения роскошнее, чем в библейском Эдеме, и где под ласкающим Солнцем легкокрылые

колибри целуют цветы, вбирая в себя легким прикосновением душистую сладкую пыль, которая пьянит воздух и может служить достойным яством для нарядных фей, живущих в воздухе между Небом и зеленью Земли, между нежным Небом с перламутровыми облаками и ласкающей зеленью неумирающей Земли.

1906

Звездный вестник.
(Поэзия Фета)

У каждого гения есть небесная грамота, свидетельствующая о нездешнем его благородстве. Буквы этой грамоты мерцают и сверкают в творчестве гения, и не рассмотреть их не может, кто умеет читать судьбинность художника в его созиданиях.

Если Пушкин родился под влиянием луны и солнца, если Тютчев возник на русской земле под веяньем небесных пространств, разорванных ночной грозой с перекличкой зарниц, – Фет рожден под решающим знаком звездного неба; звездного неба, пограничного с разлитием зорь... Таков, отъединенный, ни врагами, ни друзьями верно не узренный, исторгатель кристаллов, претворивший линию стиха в волнообразное движение напева, обвенчавший поэзию с музыкой, заревой и звездный вестник, Фет.

Поэт сам рассказал об этом.

Я долго стоял неподвижно,
В далекие звезды вглядясь, –
Меж теми звездами и мною
Какая-то связь родилась.

Я думал... Не помню, что думал:
Я слушал таинственный хор.
И звезды тихонько дрожали, –
И звезды люблю я с тех пор.

Между двух своих зорь, утренней юностью, сразу угадавшей свое назначение, и юностью закатной, – ибо Фет всю долгую жизнь свою провел влюбленным юношей и не знал, что значит некрасивая зрелость, и не знал, что значит безобразная старость, – заревой свирельник, звездный вестник никогда не терял связи с

числами неба, пред ним была раскрыта верховная огненная книга, правящая судьбами верховными и низинными, не покидали его эти алмазные калифы, внушали ему, чтобы дух его, летая струнным звуком над беззвучьем, бабочкой над цветами, однодневкой над земными днями, просился в беззакатный день, – и в семьдесят лет, за два года до смерти, он грезил о том же, говоря к угасшим звездам:

Долго ль впивать мне мерцанье ваше,
Синего неба пытливые очи?
Долго ли чуять, что выше и краше
Вас – ничего нет во храмине ночи?

Может быть, нет вас под теми огнями, –
Давняя вас погасила эпоха...
Так и по смерти лететь к вам стихами,
К призракам звезд, буду призраком вздоха.

Звездное зрение приучает душу к быстрым перебегам через огромные пространства, от одного желанного к другому чему-то, что будит желание, от одной яркой цели к другой блистательной мечте. Так, долго смотря на неисчерпаемую россыпь светов Млечного Пути, тот, кто любит звезды и переживает их ворожбу, за усладительным оцепенением быстро и резко повертывается, чтоб увидеть в другом месте неба любимое созвездие, впить душой троезвучье Ориона.

В творчестве Фета всюду можно усмотреть этот быстрый перебег от прекрасного к прекраснейшему, от основы, которая создала вещее состояние души, к закрепляющей впечатление, дальней, но четкой, острой подробности, которая, схватив, уже не отпускает. Выразительный пример такого перебега – в его кратком, лишь из нескольких слов состоящем, ночном стихотворении, где, беря наибольшее, он кончает наи-

меньшим и этим наименьшим дает ощущение безмерного.

Чудная картина,
Как ты мне родна.
Белая равнина,
Полная луна.

Свет небес высоких,
И блестящий снег,
И саней далеких
Одинокий бег.

Эти сани – ключ, разгадка и преображение всего пространства неба и окутанной снегом земли. Этим малым ключом волшебник победил даже луну.

Другой образец такой же достоверной победы, сияние исторгнутого клада, дает Фет в раме заревого сияния в «Вечере у взморья».

Засверкал огонь зарницы.
На гнезде умолкли птицы.

Тишина леса объемлет.
Не качаясь, голос дремлет.

День бледнеет понемногу.
Вышла жаба на дорогу.

Ночь светлеет и светлеет.
Под луною море млеет.

Различишь прилежным взглядом,
Как две чайки сели рядом, –

Там, на взморье плоскодонном,
Спят на камне озаренном.

Давно сказано, сказал Страхов, сказали другие: «Фет есть истинный пробный камень для способности понимать поэзию». О пробный камень ломаются многие острия. Все время, пока Фет пролагал и вел свою лучезарную дорогу, вкруг этого пышного сада, где земное кажется неземным, вкруг этого чертога красоты – и, чрез красоту просветленного миропознания, – вкруг этой неувядаемой розы возникали лжеумствования и лжеглаголания. Возникают и теперь. Так оно и быть должно. И в стране роз, в Персии, есть и будут слепцы, которым не нравится Гафиз. Гафизу ли об этом горевать? Думает ли соловей, что его хвалят или бранят? Скрежеты зубовные не досягают терема, где от зари и до зари и во всю долгую ночь звенят гусли-самогуды и тонко отзываются на малейшее движенье ветерка, на движение самой тайной мысли и еще не сказанного чувства тайноведческие струны, стерегущие полный женских очарований сад Жар-птицы.

Золотые ресницы звезд смотрят в этот терем и в этот сад. И завороживший верных, завороженный мировым таинством, звездный вестник беззакатного дня шепчет, а шепот его слышится через всю голубую тюрьму мира, через все затоны времен:

И так прозрачна огней бесконечность,
И так доступна вся бездна эфира,
Что прямо смотрю я из времени в вечность,
Что пламя твое узнаю, солнце мира.

И неподвижно на огненных розах
Живой алтарь мирозданья курится,
В его дыму, как в творческих грезах,
Вся сила дрожит и вся вечность снится.

Звуковой зазыв

(А. Н. Скрябин)

Он чувствовал симфониями света.
Он слиться звал в один плавучий храм
Прикосновенья, звуки, фимиам
И шествия, где танцы как примета,
Всю солнечность, пожар цветов и лета,
Все лунное гаданье по звездам,
И громы тут, и малый лепет там,
Дразненья музыкального расцвета.
Проснуться в небе, грезя на земле.
Рассыпав вихри искр в пронзенной мгле,
В горенье жертвы был он неослабен.
И так он вился в пламенном жерле,
Что в смерть проснулся с блеском на челе.
Безумный эльф, зазыв, звенящий Скрябин.

В половине апреля текущего года исполнилось ровно десять лет с тех пор, как лучший музыкальный гений начала двадцатого века, Александр Николаевич Скрябин, покинул Землю, которую Музыкою он хотел пересоздать.

Называя имя Скрябина, мы вступаем в мир тех внутренних прозрений, тех лучезарных и вещих свершений искусства, что составляют удел только гениев. Прогалины в новое. Старое, явленное пересозданным, в свете преображения и пресуществления. Вечное, брызнувшее алмазным дождем молний и радуг в наше текущее мгновение. Мгновенное, вне искусства растрачивающееся в дробности малых личных ощущений и – как прибрежные волны Океана тонут в песке тонущее в забвении, но, захваченное безошибочной рукой художника, перестающее быть мгновенным и замыкающее живую игру мига, свет, отсвет, пересветы мгновенья, в нерукотворную оправу Вечности.

Встретиться с гением хоть раз в жизни – редкая удача. Подружиться с гениальным человеком – редкостное счастье, оставляющее в душе светлый след навсегда. Такая удача была мне дарована Судьбою несколько раз в моей жизни, и такое высокое счастье было мне дано, когда я встретился со Скрябиным и мы сразу подружились в 1913 году в Москве, куда я только что вернулся тогда после семи лет изгнания и после моего кругосветного путешествия, открывшего мне чары Южной Африки, Австралии, Южного предполярного Океана, светлой и темной Океании, Полинезии, Меланезии, Яванского моря, Индии.

Когда говорят слова «гений», «гениальный», речь слишком часто становится неопределенной и произвольной. Байрон при жизни считался полубогом – и в Англии, и в других странах. Теперешняя Англия отрицает в нем гения. Шелли прожил свою краткую жизнь в затенении, почти вне прикосновения славы. Теперешняя Англия – и не одна она – считает его самым творческим гением английской поэзии XIX века. Я думаю, что гениальное состояние посещает иногда, на краткий благословенный миг, художников совсем не гениального размаха. Более того, совершенно простой, остающийся без имени человек может сказать иногда гениальное слово – и оно, крылатое, облетает весь объем речи данного народа, а сам человек, его сказавший, – где он? Не доказывают ли это многие народные пословицы, которые умрут последними, когда умрет сам язык данного народа. И нет. Не умрут и тогда. Перейдут из цикла в цикл, от народа к другому народу, зачавшему новую дорогу тысячелетий.

И есть гении, чья гениальность, исполинская и божественная, несомненна. Но в силу некоторых их свойств они окружены упругой стеной холодного – пусть лучезарного – воздуха, которая, не отделяя от них

соотечественников и представителей родственных рас, отъединяет от них расу иную. Божественный Данте насчитывает почитателей в России лишь единицами.

И есть гении, которые не только гениальны в своих художественных достижениях, но гениальны в каждом шаге своем, в улыбке, в походке, во всей своей личной запечатленности. Смотришь на такого – это дух, это существо особого лика, особого измерения. Таков был Скрябин.

Я сказал, что Судьба благоволила ко мне в смысле встреч. Да, я видел много людей исключительных. Была у меня незабвенная беседа с великим чтецом душ Львом Толстым. Это – как нерассказываемая исповедь. Я был в гостях у Кнута Гамсуна, и когда, рассказывая мне о своей жизни чернорабочего в Америке, он ходил передо мною взад и вперед по комнате, он походил на осторожного бенгальского тигра, а его бледно-голубые глаза, привыкшие смотреть вдаль, явственно говорили о бирюзе Моря и о крыльях сильной океанской чайки. Я встретил однажды на парижском бульваре Оскара Уайльда, и меня поразило, как высокий поэт, сам загубивший свой блестящий удел, способен быть совершенно один в тысячной толпе, не видя никого и ничего, кроме собственной души. В долгие часы, совсем потопающие в табачном дыме, с Пшибышевским, в Мюнхене, я без конца говорил с ним о Демонизме и дивился на способность славянской души истекать в словах и кружиться не столько в хмеле вина, сколько в хмельной водовертии умозрений. Еще в ранней молодости я бывал в доме у Сурикова, и он бывал у меня, и в каждом слове, в каждом движении этого замечательного художника чувствовалась – так я чувствовал душевная мощь боярыни Морозовой, широкоплечая сила казачества и необъятная ширь Сибири, где Небо целуется с Землей. В те же ранние дни я видел Врубеля, го-

ворил с ним, показывал ему редкий портрет Эдгара По, и, когда он восхищался этим портретом, я поражался, как много из лица Эдгара По в тонком лице Врубеля и как поразительна в двух этих гениальных ликах явственная черта отмеченности и обреченности. В те же ранние дни – еще раньше, совсем юношей – я был в Христиании и в ярком свете летнего дня увидел, как видение, Генрика Ибсена, живого, настоящего Генрика Ибсена, которым я восхищался и которого изучал еще с гимназических дней. Он прошел близко передо мною по тротуару, я имел возможность случайную подойти к нему и заговорить, но он был такой особенный, так непохожий на кого-либо из людей, что сердце мое замерло в блаженстве, и мне не нужно было подходить к нему. Я видел его, как много позднее увидел однажды в Провансе падение болида, – в широком свете небесной неожиданности. Есть видения, которые насыщают душу сразу, вне радости осязания и прикосновения.

Но какая она полная и утолительная, иная радость – видение и прикосновение к зримому редкостному. Из всех перечисленных особенных людей, бывших уже нечеловеками или, во всяком случае, многократно и глубинно заглянувшими в нечеловеческое, в то, что свершается не в трех измерениях, самое полное ощущение гения, в котором состояние гениальности непрерываемо и в лучащемся истечении неисчерпаемо, дал мне Скрябин.

Весна 1913 года в Москве. Увидеть родное после семи лет разлуки. Можно ли сравнить что-нибудь с этим счастьем? Я шел по заветному, на всю жизнь мне дорогому Брюсовскому переулку, и мне хотелось упасть на землю и целовать каждый булыжник, согретый родным Солнцем. И в таком подъеме, в такой крылатости, что все дни и все ночи были один

полет, – встретиться впервые со Скрябиным. Я вижу его в окружении лиц, мне дорогих и со мною связанных единством духовных устремлений. Обветренный, философический, терпкий поэт «Земных ступеней» и «Горной тропинки», друг целой жизни Юргис Балтрушайтис. Красивая его жена, пианистка, хорошая исполнительница скрябинской музыки, Мария Ивановна Балтрушайтис. Влюбленный в математику и равно упивающийся красотами норвежского языка и итальянского, персидского и японского, создатель «Скорпиона» С. А. Поляков. Вечно философствующий, как я его называл – лукавый прелат, утонченный, переутонченный рудокоп редких слов и редких понятий Вячеслав Иванов. И сколько еще других. В поэтическом, музыкальном доме Балтрушайтисов встретил я Скрябина, и когда мы протянули друг другу руку и заглянули друг другу в глаза, мы оба воскликнули одновременно: «Наконец-то!» Потому что давно мы любили друг друга, не видя еще один другого. И я угадывал в Скрябине свершителя, который наконец откроет мне те тончайшие тайнодейства Музыки, которые раньше лишь обрывками давала мне чувствовать музыка Вагнера, а у него – сказала и показала мне потом Татьяна Федоровна Скрябина – в числе заветных книг были отмечены читанные и перечитанные с карандашом мои книги «Будем как Солнце» и «Зеленый ретроград». Тот вечер музыки и поэзии, вечер дружбы и философских бесед, был сродни платоновскому «Пиру», был вечером тютчевского стихотворения, где собеседникам за часами земных упоений открывается небо и смертным взглядам светят непорочные лучи нездешних высот.

И ранняя осень того же года. Скрябинский концерт в Благородном собрании. Скрябин перед побежденной, но еще ртачливой залой. Скрябин около рояля. Он был маленький, хрупкий, этот звенящий эльф. Ка-

залось, что, как ребенку, ему несколько трудно пользоваться педалью. В этом была какая-то светлая жуть. И когда он начинал играть, из него как будто выделялся свет, его окружал воздух колдовства, а на побледневшем лице все огромнее и огромнее становились его расширенные глаза. Он был в трудном восторге. Чудилось, что не человек это, хотя бы и гениальный, а лесной дух, очутившийся в странной для него человеческой зале, где ему, движущемуся в ином окружении и по иным законам, и неловко и неуютно. Да и могло ли ему быть очень уютно? Ведь он не только был полон своим свершением и не только видел радостные, ликующие лица друзей в этой толпе. Я сидел в первом ряду, и мы, друзья, устроили Скрябину овацию. Я был среди тех, кто усиленно рукоплескал ему. Около меня сидел один известный московский адвокат. Он смотрел на меня с недовольством и наконец спросил меня: «Неужели вам что-нибудь действительно нравится в этой музыке?» Я повернулся к адвокату так, как делают выпад на дуэли, и воскликнул: «Мне нравится все в этой единственной музыке. А вам, задающему такой вопрос, по логике – здесь совсем не место». Странное дело. Победило ли адвоката слово «логика», или он счел за разумное отойти от бесноватого, каким я ему, должно быть, показался, но он встал и покорно ушел. Но от таких людей, после даже краткой их побывки в комнате, как после посещения людей Дьяволом, в духовном воздухе остается серный дух.

Кружок друзей Скрябина отправился к нему в дом ужинать. Сколько помню, среди них был и юный, ныне пользующийся мировой известностью Боровский. Скрябин сидел за столом, окруженный восхищенными друзьями, окруженный заботами и вниманием любимой – красавицы жены. Вечер был победой скрябинской музыки. Вечер там, в людной зале, и тут, в уютной

домашней обстановке, был весь обрызган откровениями музыкальных созвучий и сопричастием метких, видящих слов, которые возникают импровизацией, когда душа бьется о душу не как волна о камень, а как крыло о крыло.

Что в музыке? Восторг, нежданность, боль.
Звук с звуком – обручившиеся струи.

Это как говорит слово маори: «дождь, он – венчальный». Облако, туча, молния, гроза, венчальный миг, дожди, блаженная свадьба, расцветшие сады.

И вот в такую блаженную минуту Скрябин вдруг затуманился, лицо его изобразило потерянность и боль, он приподнял свое лицо и тихонько застонал. Странным, нежным голосом, как тоскующая избалованная женщина – как тоскующая лань.

В одно мгновение я снова очутился не в Москве, а на Цейлоне. На жемчужном Цейлоне, у Индийского моря, в Коломбо. Я шел там однажды в парке, в зоологическом саду. Была по-нашему осень, а в Коломбо было жарко и как будто собиралась гроза. Два маленькие случая поразили меня тогда. Я шел мимо загородки, где гордо прохаживался журавль. Над загородкой было высокое, вольное небо. У журавля были подрезаны крылья, и улететь он не мог. Вдруг высоко-высоко в небе явственно очертился священный треугольник, куда-то летели, улетали журавли. И, далекий, высокий, раздался крик журавлей, призыв, зов, зазыв. Пленный журавль взмахнул бессильными крыльями и издал странный, жалостный крик. В то же мгновенье, поняв, что улететь он не может, журавль присел вплоть к земле и замолчал. Только приподнятый к небу длинный и острый клюв указывал на его невыразимую пытку, на

пытку плененного, видящего недосяжимый небесный полет.

В тот же час, в том же месте в нескольких минутах от этого и в нескольких шагах я проходил мимо загородок, где были лани. И одна лань, самая маленькая и самая изящная из ланей, звездная лань затосковала среди равнодушных и веселых подруг. Она стала метаться в загородке и потом прильнула к земле, как тот пленный журавль, точно зарыться хотела в землю, и приподняла свой ланий лик, и удивившим меня звуком явила себя, застонала странным, нежным голосом избалованной тоскующей женщины.

Так затосковал тогда Скрябин. В ту же секунду Татьяна Федоровна подбежала к нему встревоженная. «Что с тобой, милый? Хочешь чаю? Хочешь вина?» – лепетала она ласково и растерянно. Мы все притихли. «Вина», капризно протянул Скрябин. Заботница торопливо налила ему стакан красного вина. Он рассеянно посмотрел перед собой. Отхлебнул глоток вина. Отодвинул стакан, встал, подошел к открытому роялю и стал играть.

Можно ли рассказать музыку и узнают ли, как играл тот, кто играл несравненно? Кто слышал, тот знает. Один мудрый сказал: «Пение имеет начало в крике радости или в крике боли».

Другой мудрый сказал: «Музыка – как любовь. Любовь собою существует, через себя. Люблю, потому что люблю. Люблю, чтобы любить». И мудрые в средние века, чтоб к гробнице никто не прикоснулся, чтоб она была священной, близко видимой, но недосяжимой, закрепляли гробницу запетыми гвоздями, зачарованными.

Все это было в том, как играл тогда Скрябин, один – даже среди друзей, даже в своем собственном доме – один. Он, которому хотелось музыкой обнять весь мир.

Сперва играли лунным светом феи,
Мужской диез и женское бемоль,
Изображали поцелуй и боль.
Журчали справа малые затеи,
Прорвались слева звуки-чароден,
Запела Воля вскликом слитых воль.
И светлый Эльф, созвучностей король,
Ваял из звуков тонкие камеи.
Завихрил лики в токе звуковом.
Они светились золотом и сталью,
Сменяли радость крайнею печалью,
И шли толпы. И был певучим гром,
И человеку Бог был двойником
Так Скрябина я видел за роялью.

1925, 6 мая. St.-Gilles-sur-Vie, Vende

Из записной книжки

1904

Как странно перебирать старые бумаги, перелистывать страницы, которые жили – и погасли для тебя, их написавшего. Они дороги и чужды, как лепестки подаренных увядших цветов, как письма женщин, в которых ты пробудил непонятность, что зовется любовью, как выцветшие портреты отошедших людей. Вот я смотрю на них, и многое в этом старом удивляет меня новизной. В свете мгновений я создавал эти слова. Мгновенья всегда единственны. Они слагались в свою музыку, я был их частью, когда они звенели. Они отзвенели и навеки унесли с собой свою тайну. И я другой, мне перестало быть понятным, что было так ярко-постижимо, когда я был их созвучной и покорной частью, их соучастником. Я другой, я один, мне осталось лишь несколько золотых песчинок из сверкавшего потока времени, несколько страстных рубинов, и несколько горячих испанских гвоздик, и несколько красных мировых роз.

Я живу слишком быстрой жизнью и не знаю никого, кто так любил бы мгновенья, как я. Я иду, я иду, я ухожу, я меняю и изменяюсь сам. Я отдаюсь мгновенью, и оно мне снова открывает свежие поляны. И вечно цветут мне новые цветы.

Я откидываюсь от разума к страсти, я опрокидываюсь от страстей в разум. Маятник влево, маятник вправо. На циферблате ночей и дней неизбежно должно быть движение. Но философия мгновенья не есть философия земного маятника. Звон мгновенья – когда его любишь, как я, – из области надземных звонов.

Я отдаюсь мировому, и мир входит в меня. Мне близки и звезды, и волны, и горы. Мне близки звери и герои. Мне близки красивые и некрасивые. Я говорю с

другом, а сам в это время далеко от него, за преградой веков, где-то в древнем Риме, где-то в вечной Индии, где-то в той стране, чье имя – Майя. Я говорю с врагом, а сам в то же время тайно люблю его, хотя бы я говорил самые жесткие слова. О, клянусь, в те мгновенья, когда я – действительно я, мне близки все, мне понятно и дорого все. Мне понятны вершины, я на них всходил, мне понятно низкое, я низко падал, мне понятно и то, что вне пределов высокого и низкого. Я знаю полную свободу. Безмерность может замкнуться в малое. Песчинка может превратиться в систему звездных миров. И слабыми руками будут воздвигнуты безмерные зданья во имя Красоты. И сгорят города, и сгорят леса, а там, где они шумели и молчали, возникнут новые шелесты и шорохи, ласки и улыбки, вечная жизнь.

Я знаю, что есть два бога: бог покоя и бог движения. Я люблю их обоих. Но я не долго медлю с первым. Я побыл с ним. Довольно. Я вижу быстрые блестящие глаза. Магнит моей души! Я слышу свист ветра. Я слышу пенье струн. Молот близ горнов. Раскаты мировой музыки. Я отдаюсь мировому. Мне страшно. Мне сладко. Мир взошел в меня. Прощай, мое Вчера. Скорей к неизвестному Завтра!

3 января.
Ночь. Москва

* * *

Огонь, Вода, Земля и Воздух – четыре царственные Стихии, с которыми неизменно живет моя душа в радостном и тайном соприкосновении. Ни одного из ощущений я не могу отделить от них и помню о их Четверогласии всегда.

Огонь – всеобъемлющая тройственная стихия, пламя, свет и теплота, тройственная и седьмеричная сти-

хия, самая красивая из всех. Вода – стихия ласки и влюбленности, глубина завлекающая, ее голос – влажный поцелуй. Воздух – всеокружная колыбель-могила, саркофаг – альков, легчайшее дуновение Вечности и незримая летопись, которая открыта для глаз души. Земля – черная оправа ослепительного бриллианта, и Земля – небесный Изумруд, драгоценный камень Жизни, весеннее Утро, нежный расцветный Сад.

Я люблю все Стихии равно, хоть по-разному. И знаю, что каждая стихия бывает ласкающей, как колыбельная песня, и страшной, как шум приближающихся вражеских дружин, как взрывы и раскаты дьявольского смеха.

Вода нежнее Огня, оттого что в ней женское начало, нежная влажная всевоспринимаемость. Огонь не так нежен порой, но он сильнее, сложней и страшнее, он сокровенней и проникновеннее. В Воздухе тонут взоры, и душа уносится к Вечному, в белое царство бестелесности. Земля родней нам всех других Стихий – высот и низин, – и к ней радостно прильнуть с дрожанием счастья в груди и с глухим сдавленным рыданием.

Все Стихии люблю я, и ими живет мое творчество.

Оно началось, это длящееся, только еще обозначившееся творчество – с печали, угнетенности и сумерек. Оно началось под северным небом, но, силою внутренней неизбежности, через жажду безграничного, безбрежного, через долгие скитания по пустынным равнинам и провалам Тишины, подошло к радостному Свету, к Огню, к победительному Солнцу.

От книги к книге, явственно для каждого внимательного глаза, у меня переброшено звено, и я знаю, что, пока я буду на Земле, я не устану ковать все новые и новые звенья и что мост, который создает моя мечта, уходит в вольные манящие дали.

От бесцветных сумерек к красочному Маю, от робкой угнетенности к Царице-Смелости с блестящими зрачками, от скудости к роскоши, от стен и запретов к Цветам и Любви, от незнания к счастью вечного познанья, от гнета к глубокому вздоху освобожденья, к этой радости видеть и ласкать своим взором еще новое, вот еще и еще, без конца.

И если воистину я люблю все Стихии в разное время равно, мне все же хочется сказать сейчас, что любимая моя стихия – Огонь. Я молюсь Огню. Огонь есть истинно всемирная стихия, и кто причастился Огня, тот слит с Мировым. Он душой своей входит в таинственные горницы, где горят неугасимые светильники – и струятся во взоры влиянья волшебных талисманов, драгоценных камней.

3 декабря. Вечер.

Москва

Избранник

(Лев Толстой)

Есть люди и есть исполины с ликом людским. Часто не видит слепота людская, что, когда мы говорим как будто с человеком, мы говорим с героем или богом, с одним из отмеченных, судьбою увенчанных героев и богов.

Лев Толстой был одним из таких. Избранник в веках. Пока такие полубоги медлят с нами, здесь, на земле, они являют различные лики и в силу своей многообразности, обращаясь к разным людям разными сторонами своей души, различными ликами своего «я», создают о себе неверное представление, неполную повесть, но в предсмертные дни, в смертный свой час одним поворотом души, одним верным ходом своего сердца, в связи с таинственной сетью событий, они внезапно заставляют нас увидеть подлинное свое лицо и светлым лучом соединяют в единую цельность все свои противоречия и всю свою казавшуюся разорванность.

Если в жизни каждого человека – самого маленького – смертный час и предсмертное состояние играют роль первенствующего, определительного значения, – как велик смысл последних путей и последнего часа в жизни таких избранников, на образ которых, когда они его закончат верным движением души, мы молимся столетия.

Самое красивое в жизни Леонардо да Винчи – не то, что он создал «Мону Лизу» и «Тайную вечерю», не то, что он размышлял о полете птиц и об угадании законов человеческого лица, не то, что он был живописцем и инженером, философом и шпальщиком на лютне, а то, что, будучи всем этим, он донес свой пламень до последнего мига и умер прекрасным

старцем-юношей, и умер неутоленным искателем. Если бы Леонардо да Винчи умер не искателем-странником, не залетною птицей, царственною птицей из неведомой страны, человечество лишилось бы одного из лучших своих сынов; если бы он умер спокойным, успокоенным, уравновешенным, творчество всей его жизни изменилось бы в смысле своем и своей ценности, а теперь этот итальянский гений бросил нам в веках золотую нить, явив нам лик сверхчеловека.

И другой равноценной ипостаси того же сверхчеловеческого лика лишились бы мы, если бы беспокойным умер тот божески-спокойный свершитель, достигатель гармонии, создатель германской литературы, поэт, драматург, романист, мыслитель, тайновидец, ведун всех естеств природы, красивый, живой бог изваянный, Иоганн Вольфганг Гёте, исчерпавший в жизни все земное и отшедший с таким завершенным спокойствием, с каким восходит к синему небу зимний дым, как будто земной, лишь от крыши земной уходящий, а на самом деле молящийся, самым своим существованием воплощающий стройный псалом.

Если эти два сверхчеловека, казавшиеся человекам людьми, пленяют тем, что месяцеслов их жизни свершил свой полный кругооборот, не менее пленителен и закончен в беглом своем рисунке очерк такого лика, как образ Шелли или образ Эдгара По. Океанийский дух, певучий Шелли, живший стихийно со стихиями, утонул в голубом Средиземном море, едва завершив свою юность. Трагический Эдгар По, чрезмерно чувствовавший беспредельность мига в единичном существовании, оборвал свою жизнь на половине ее. Два эти удела не суть два храма, но суть две причудливые часовни, в которых также можно молиться без конца; одна часовня – залитая солнцем, в другую глядится черная полночь.

Человечество нуждается в красивых уделах отдельных избранников, чтобы было ему на что смотреть в известные минуты, как в повседневной жизни мы нуждаемся, чтобы время от времени были у нас цветы, и время от времени звучала бы нам музыка, и светила бы нам иногда любовь, будь то горячая любовь женских губ или отрешенно светящаяся любовь великого духа, принявшего на себя земные формы и говорящего нам о неземном.

Земля живет – и не знает, или знает по-своему, по-особенному. Земля живет, руководимая одним горячим желанием – творить без конца. Создает материки, изводит их из водных пустынь, одевает их горами и долинами, соснами красностволыными и белыми березами, взнесенными пальмами и ползучим можжевельником, губит и снова создает, протягивает бесконечные панорамы мировых городов, будь то халдейский Вавилон, или египетский город Солнца, или краса Атлантиды – город Золотых Ворот, разрушает все это, топит Атлантиду, как сожгла и потопила Лемурию, снова рождает кусочки ила поверх отступившей воды, снова запевает детскую песенку и дарует человеческому глазу робкий зеленый побег восходящего к Солнцу стебля.

Земля живет – и не знает, или знает по-своему, по-особенному. Потому она так и сильна, оттого победительна.

Лев Толстой – истый сын земли, первородный, дух земли, творящей и желающей, олицетворенье всех ее хотений. Во всем, чего он ни хотел, к чему ни прикасался, он доходил до грани, приближался к полярности, упивался вот этим, во что он сейчас вошел, но, упившись, уже чувствовал зовущий голос, и смотрел дальше, и никогда себя не знал. Желание свое он знал, а не себя, желание свое слепое – и зоркое, слепое – и провидческое. Себя же при этом не видел, не знал, или

знал по-особенному, по-сокровенному. Потому он теперь и первенствует на земном шаре.

Когда был он малое дитятко, смотрел он как на светлое чудо на малое свое тельце, и любовался своим тельцем, и любил себя. Ребенком же восхотел он летать, и в полной убежденности, что летать он может, полетал в окно – в небо не улетел, упал на землю, однако же не убился, а только ушибся, ибо судьба его готовила к иному. Поступил в университет и бросил его, презрил науку и позднее часто ее порочил, а сам всю жизнь прибегал к ней и до самой смерти не переставал учиться. Пожелал изведать воинскую жизнь и был солдатом, был офицером, шутил под огнем неприятеля, жизнью играл – и не проигрался, был на войне, он, ставший воплощением войны с войной. Пить так пить, кутить – так кутить. Знали его цыганки, и он их. Себя же он не знал и не стал кутящим, ибо стал живым гением того, что так кратко и дивно символизуется в двух словах: Ясная Поляна. Художником слова он быть захотел – и достиг в этой области тех вершин, каких в могучей их завершенности, кроме Достоевского, не достиг ни один человек на земном шаре за все богатое XIX столетие. Кроме Достоевского, в области романа никто не может идти с ним даже в приблизительное сравнение по силе производимого впечатления, как ни велики в этой области достижения русских, французов и немцев. Однако же не стал или не остался он романистом. Заглянул в другое оконце жизни – и ушел из своей художнической мастерской, чтобы стать учителем и апостолом. А став апостолом, захотел опять писать романы – и написал такие изумительности, как «Хозяин и работник» и «Воскресение», и с каким увлечением, как охотно говорил он с своими гостями о каком-нибудь новом французском романе или русской повести. Достиг богатства, отказался от богатства, уст-

роил семейный уют себе, жил окруженный своими и близкими, и бежал, как дух исходящий, покидающий тело, отторгся от любимых и привычного; в холодную бурю улетела птица, вырвавшаяся из клетки; как малое дитятко в лес убегает от няни, чтоб найти там сказочные сокровища, тайком, по-детски, в час ночной бежал от близких к близким-далеким, ушел в неизвестное и встретил там во многих сказках рассказанную и необманную Смерть. К морю хотел уйти, чтоб у моря силы взять для нового служения жизни, за океан уплыть хотел, к борцам духа, к русским мужикам, очутившимся волею судеб в чуждых странах. Но судьба велела ему задержаться на перекрестке дорог. На скрещении путей, убегающих в разные стороны, он прилег. Судьба отпустила его на волю. Он явил собою лик отречения, в миг последний он был все собою, все тем же божески-хотящим, смелым, прекрасным, безрассудным ребенком, не рассчитавшим размаха, разбега своего в водоворотно увлекающее пространство, незнающим и вещим, провидчески видящим, ибо вот больше ничего не нужно, узор довершен, правда жизни явлена. Кто любил великого старца – любит его удесятеренно, видя, как оправдал себя в нем божеский ребенок; кто сердцем своим восставал на него за несвершение долженствовавшего свершиться – молчит, растроганный и смущенный неожиданной красотою последней и лучшей его повести, написанной им под свист ветра собою про себя.

За каким кладом пошел Толстой, бросив свой дом?

Был злой анчар, и послан был раб за ним. Для целей смертных. Успел принести посланный этот злой талисман.

Принес – и ослабел и лег
Под сводом шалаша на лыки.

И умер бедный раб у ног
Непобедимого владыки.

Лев Толстой пошел за талисманом добрым, за кладом благим. И ослабел, и лег, и умер, но успел отдать нам этот клад полностью, всему человечеству завещал этот талисман: безупречность собственного лика, завершенного.

И потому, – так как царство духа, пусть оно и далеко, все же воистину придвинулось, – не один человек тоскует о человеке, не одна страна поминает ушедшего, а все человечество наполнилось возгласами, провожая уходящего полубога, знавшего всю полноту желания и всю полноту отречения, его, кто сказал о правде жизни и, восстав на пролитие крови, был светлым воителем слова.

Ноябрь 1910

Или-или

Или мы дети, или взрослые – или мы свободные, или рабы. Если мы свободные, мы хотим знать полную правду, – если мы взрослые, мы должны ее знать безотложно.

Тот, кто удерживает часть сведений о совершающемся, не предавая их полностью во всеобщее осведомление, в то время как все затронуты совершающимся, уворовывает часть правды, ибо явно, что одна из сторон, предоставляя лишь себе право давать сведения, этим самым не дает правде предстать во всей полноте.

То, что касается всей России, должна знать вся Россия, и немедленно. Иначе должно признать, что Россия продолжает пребывать в том рабстве, в котором она живет уже столетия. Изменился только лик порабощения, переменились исполнители того постыдного дела, которое называется надеванием узды на свободное слово, наложением ярма на волю народа.

Когда выходили в романовские дни изуродованные нумера газет с белыми полосами, я говорил, что каждое белое пятно в газете есть черное пятно на совести правительства.

Эта мысль не теряет убедительности по отношению к любому правительству, не только романовскому.

Воля народа – не благоусмотрение той или иной группы, того или иного класса. Я, свободный поэт, есть часть воли народа. И как свободный писатель я говорю: «Если свобода слова, свобода печати нарушается в стране хоть на один день, хоть на один час, в этой стране нет свободы слова и нет свободы печати».

Совесть России сейчас не свободна. На ней узда и ярмо.

Если же это не так, пусть все мы знаем полную правду о том, что касается нас всех. Если в этом будут

промедления, это будет означать, что или мы на положении детей и рабов, или обвинитель боится, что обвиняемый скажет обвинителю еще более обвиняющее слово.

Или одно, или другое. Чистая совесть требует полной речи двух голосов там, где говорили два голоса.

1917. 1. IX

Имени С. Т. Аксакова

Когда мы хотим чувствовать какого-нибудь великого писателя, пробудившего нашу любовь, – наилучшее, быть может, не говорить о нем, а вспомнить и повторить те или иные его слова, те или другие его строки. Никто не скажет о великом писателе так хорошо и выразительно, как собственные его слова.

И если мы любим Пушкина, – что можем мы о нем сказать, кроме высшей хвалы, что он наше Солнце и что без него, без его солнечных лучей, без всей солнечной красоты его светлых песен, мы не могли бы звучно петь и с четкостью видеть красивый Божий мир? Однако и эта высшая хвала, и это верное слово, что Пушкин наше Солнце, говорят о нем меньше, чем собственное его бессмертное восклицание:

Ты, Солнце святое, гори!
Как эта лампада бледнеет
Пред ясным восходом зари,
Так ложная мудрость мерцает и тлеет
Пред солнцем бессмертным ума:
Да здравствует Солнце, да скроется тьма!

И если мы любим Лермонтова и чувствуем, что своей ширью, своей личностью, своими небесными напевами, такими глубоко русскими, он был совсем особенный среди людей, точно упавшая с неба звезда, нам не нужно говорить, что он был родной брат не людям, а демонам и ангелам, нам лучше просто вспомнить его строку «Печальный демон, дух изгнанья» и его дорогую нам, как свет нашей детской лампадки, строку «По небу полуночи ангел летел».

Так и Аксаков. Говоря о нем, я могу говорить, быть может, очень много, но мне хочется скорей перейти к его собственным словам, сказав лишь, что я его люблю

за то, что он ясный, спокойный, за то, что он весь любовь к миру, безграничная любовь к природе и живым существам, к людям, к зверям, к птицам, к рыбам, к жукам, к бабочкам, к цветам и травам, к листьям деревьев, которые шепчутся, полные отсветов, к глухому лесу, к текучей воде и стоячей воде, к ветру, который шепчет, к снегу, который падает белыми, мягкими хлопьями и расстилается от края земли, сливающегося с небом, до края земли, заглянувшего в небо чистым сияющим белым простором.

Из всех русских писателей-прозаиков, писавших такой певучей прозой, это читаешь и часто не поймешь, проза ли это действительно или какие-то особенные стихи. Аксаков мне кажется самым пленительным и радостным. Он покорил мое сердце, когда мне было десять-одиннадцать лет, он и теперь среди всех русских писателей самая большая моя любовь и самая счастливая, потому что он, давая радость своих страниц, никогда не мучает. Он – как та добрая няня, от которой счастливое детство в своем счастье каждый миг становится еще светлее и еще счастливее. Няня, в которой доброе все: ее лучистые глаза, и морщинки вокруг этих глаз, и воркующий голос, и медленная, степенная походка, и руки, и добрый даже – ее чепец или платок, а когда няня начнет рассказывать свои замечательные сказки – слушаешь, не наслушаешься досыта никогда – она и про страшное рассказывает так, что замрешь, ее слушая, но она никогда своей сказкой не мучает, все кончается хорошо, все – хорошо.

Если я раскрою наудачу любую книгу Аксакова, – если я выберу наудачу его живописные, звучные, мерные слова, полнозвучные слова самого красивого в мире языка – русского, с этим волшебником и весь мир и я сам – сразу все делается красивым и счастливым. Ковер-Самолет развернулся, и душа радостно летит в про-

сторе. Верное слово доброго волшебника расскажет, как красив любимец русской старины – белый лебедь, начнет ли он купаться, начнет ли потом охорашиваться, распустит ли крыло по воздуху, как будто длинный косой парус. Расскажет, как сторожевой гусь подает тревогу, а если шум умолк, говорит совсем другим голосом, и вся стая засыпает, – как горячо любит утку жадный селезень, чья голова и шея точно из зеленого бархата с золотым отливом, – как, взлетая, срывается с земли стрепет, встрепенется, взлетит и трепещет в воздухе как будто на одном месте, а сам быстро летит вперед, как с вышины, недоступной иногда глазу человеческому, падает крик отлетных журавлей, похожий на отдаленные звуки витых медных труб, – как влюбленный кричит, точно бешеный, с неистовством, с надсадою, коростель, быстро перебегая, так что крик его слышен сразу отовсюду, – как плавает смелыми кругами в высоте небесной, загадочная птица, копчик, – как токует в краснолесье глухарь, – как токует еще Державиным воспетый тетерев, дальним глухим своим голосом давая чувствовать общую гармонию жизни в целой природе, – как рябчики любят текучую воду, сядут на деревьях над лесной речкой, слушают журчанье, трезят и спят, – как приятно воркует лесной голубь, вяхирь – по зорям и по ветру слышно издалека, – а горлинка, похожая на египетского голубя, с которым охотно понимается, воркует не так глухо и густо, а тише и нежнее, – как дрозд, большой рябинник, весело закличет «чок, чок, чок», – как звонко поют в зеленых кустах соловьи на берегах Бугуруслана.

Когда ярко горит Солнце – не только в комнате, но и в душе становится светло. Когда смотришь на лицо, полное настоящей доброты, самому хочется быть добрее, быть добрым. Когда слушаешь песню, невольно и сам запоешь. Когда внимательно читаешь страницу

такого высокого художника-поэта, как Аксаков, – строки его, хотя бы написанные прозой, превращаются в песню, в стих. Я раскрываю «Семейную хронику» и вижу слова: «...Освежительная тень, зелень наклонившихся ветвей над рекою, тихий ропот бегущей воды, рыба, мелькающая в ней... наконец обожаемая... его жена, сидящая подле...» В этих простых словах столько внутренней певучести, что немедленно у меня возникают стихи:

Освежительна мгла и зеленая тень
Наклонившихся к влаге ветвей.
В изумрудный покров – что́ случилось – одень,
Полюбив, ни о чем не жалей.
Ведь, быть может, и ты в пустоте бы погиб,
Но природа – родимая мать.
Хороши в глубине все мелькания рыб,
Хорошо, полюбив, обожать.

В своей книге «Детские годы Багрова-внука» Аксаков рассказывает, как он в детстве полюбил мир и весь мир ему открылся. Через любовь природа и весь мир ему раскрылись и уже не закрывались никогда. Малютка, он тяжело был болен, он почти умирал. Заметив, что чистый воздух и дорога ему полезны, мать возила его то в подгородные деревушки, то к знакомым помещикам. И вот однажды, когда он очень ослабел, должны были остановиться, его вынесли из кареты, постлали постель в высокой траве лесной поляны и положили его почти безжизненного. Он вспоминает: «Я все видел и понимал, что около меня делали. Слышал, как плакал отец и утешал отчаянную мать, как горячо она молилась, подняв руки к небу. Я все слышал и видел явственно и не мог сказать ни одного слова, не мог пошевелиться – и вдруг точно проснулся и почувствовал себя лучше, крепче обыкновенного. Лес, тень,

цветы, ароматный воздух мне так понравились, что я упросил не трогать меня с места. Так и простояли мы тут до вечера. Лошадей выпрягли и пустили на траву...» В этот заветный час, впервые поняв, как красив Божий мир и какая великая сила – любовь, твоя любовь к другим и любовь других к тебе, малютка стал тем ясным и добрым Аксаковым, который потом, через целые полстолетия, написал свои замечательные книги, где любовь и красота светят, как в небе Солнце и Луна. Он намучился жалеть каждого воробушка, каждого щенка или котенка, всякое живое существо. Этой своей любви, нашей русской любви, которая есть вместе с тем жалость, Аксаков не изменял за всю свою жизнь. И когда он умер, его родная семья была – вся Москва, которая жалела о разлуке с ним. А незабвенные его страницы говорят нам, что он по-прежнему жив, и своим лицом, своей цельною жизнью, своими певучими созданиями он явственно говорит нам, что хорошо – любить.

Париж, 1924, 23 марта

Имени Чехова

Русская духовная жизнь 90-х годов XIX века и первого десятилетия XX-го неразрывно связана с именем А. П. Чехова. Он воплотил в своей творческой личности так много художественного содержания, связанного с основными душевными качествами русских людей и отображающего тяжелую пору упадка, распада, угнетенности сердец, что его писания являются одним из лучших исторических документов, не говоря уже о высоких чисто художественных их качествах.

Но мне хочется сказать о Чехове несколько слов совершенно личного порядка. Я встречался с ним неоднократно в Москве и в Ялте и видел его в разной обстановке: в «Большом Московском» ресторане; в семейном кругу; в его собственной московской квартире, где среди гостей он казался мне одиноким; в его одинокой жизни в Крыму, где, завтракая с приятелем, он казался довольным и не нуждающимся ни в чьем обществе; я видел его беседующим, – дружески и с простотой безукоризненной беседующим – с гением в крымском доме Льва Толстого; я снова видел его среди его празднующих людей, все в той же Ялте и все таким же одиноким, каким он мне всегда казался, когда он бывал в многолюдной комнате. И я полюбил Чехова за эту черту, когда я был еще совсем молод и только что начал свою литературную дорогу. И я любил его, когда он, Горький и я, мы возвращались в Ялту, после 2 или 3 часов, проведенных в обществе Толстого.

Я полюбил Чехова, однако, и ранее встречи с ним. В 1889 году, 22 лет, только что женившись и объездив Кавказ, душевно истерзанный, истомленный и понявший, что сделана какая-то, как казалось мне, непоправимая жизненная ошибка, я вернулся в родную деревушку Шуйского уезда, Владимирской губернии, и в расцветном мае предался страстному изучению в

подлиннике поэзии Гёте и особливо Гейне. Злополучная судьба Гейне и блестящая, полная равновесия судьба Гёте мне казались взаимно дополняющими одна другую и как-то несказанно-таинственно изъясняющими мне, чуть-чуть начинающему поэту, судьбу писателя как писателя. Кто-то из знакомых подарил мне книжку Чехова «В сумерках». Я начал читать эту книгу с недоверием, но тотчас же отодвинулись от меня и Гейне и Гёте. Я читал ее медленно, не желая испортить впечатления торопливостью. Она меня поразила. А один маленький рассказ – чуть ли он не называется «Колдунья» или «Ведьма», – вызвал в душе моей художественный трепет, который я и сейчас, вспоминая, чувствую, – жуть от женщины, чарою которой неудержимо привлечен.

Я что-то читал еще тогда Чехова. Но мне не полюбилось это. А потом моя внутренняя жизнь совсем отбросила меня от желания читать его. Во мне самом было столько тоски и угнетенности, что каждая страница Чехова была не противоядием, а увеличением душевной отравленности. Полоса отчаяния привела к исканию смерти. Смерть показала свой лик и ушла. А из предельного отчаяния вырос такой взрыв радости, возник такой расцвет воли к жизни, к творчеству, к счастью, такая воля к воле, что чеховское творчество навсегда стало мне чуждым. Однако не он сам. Тонкая верность его художественной кисти всегда чувствовалась и очаровывала. И скоро я с Чеховым встретился. Но опять только в области художественно-словесной. В 1893 году, летом, я был в Скандинавии – в Швеции, в Норвегии, в Дании. Во время этого путешествия я написал, между прочим, весьма меня прославившее стихотворение «Чайка». Я позволю себе припомнить его здесь.

ЧАЙКА

Чайка, серая чайка, с печальными криками носится
Над холодной пучиной морской,
И откуда примчалась? Зачем? Почему ее жалобы
Так полны безграничной тоской?
Бесконечная даль. Неприветное небо нахмурилось.
Закурчавилась пена седая на гребне волны.
Плачет северный ветер, и чайка рыдает, безумная,
Бесприютная чайка из дальней страны.

Я прошу знающих вспомнить, когда была написана «Чайка» Чехова, а тех, кто жил в 90-х годах прошлого века в Москве, прошу припомнить, как часто две «Чайки» сопоставлялись и в жизни, и в печати.

Когда я говорю себе сейчас «Чехов» и духовным оком погружаюсь в прошлое, мне вспоминаются неотступно два лица, оба кроткие, и полные легкой грустной шутки, и дышащие тонкой художественностью, являющие во всем художественное восприятие мира и жизни, а не подход к ним чисто умственный. Эти два лица – лицо Чехова и лицо Левитана. Сколько в них было пленительно-истомной, томящейся русской грусти! Сколько нежелания ничего резкого, ни движения, ни слова резкого, ни даже слишком громкого голоса, ни умствующего рассуждения! Легкая, хваткая, меткая, быстрая оценка – одним словом, одной усмешкой, одним жестом – определение сразу, на лету, и явления, и события, и живого существа. Это есть художественное восприятие жизни и мира.

Чехов становился грустным, и уклончивым, и даже кротко-неприязненным, когда при нем начинали умствовать. Он торопился ускользнуть от разглагольствующего интеллигентски гостя к другому гостю, с которым сейчас же начинался легкий и чисто личный разговор, полный маленьких подробностей жизни и полный блесток веселой, легкой насмешки.

Если я верно помню, это было ранней осенью 1901 года, что я довольно часто бывал у Антона Павловича в гостях в Ялте, и тогда же познакомился с Максимом Горьким, еще походившим в эту пору на человека и на писателя, и тогда же мы были втроем у Льва Толстого, а через несколько дней я был у Толстого один. Меня поразило тогда коренное различие между двумя этими литературными знаменитостями: Чехов и Горький. Один – воплощение душевного изящества, уравномеренной скромности, при полном сознании своих высоких творческих качеств, и вежливость чувства, и деликатность во всем. Другой любопытство возбуждающий, частью даже и трогательный, но больше грубый, душевно угловатый и без надобности резкий человек – орангутанг, нет-нет да вдруг и пробуждающийся от животности, от звериности, когда при нем кто-нибудь скажет что-либо умное или занимательное. И скромный Чехов, которого Лев Николаевич и ценил и любил лично, был с Толстым поразительно ровен и говорил с этим великаном, умевшим быть и добрым пасечником, как равный с равным или как младший член одной и той же семьи, где в каждом члене семьи течет хорошая, честная кровь. Горький держался с Толстым то подобострастно, как неуместный пришлец, то развязно, как возомнивший о себе служка. Мои слова о Горьком резки не потому, что он сейчас играет презренную роль и не заслуживает более никакого разговора. Нет, резкие слова лишь кратко указывают на то, что было воистину, проступало не так разно, как звучит слово, но проступало с очевидностью.

В те же дни Чехов однажды спросил меня: «Вы очень цените Горького?» Я ответил: «Не чрезмерно. Но он будит, и в нем есть грубая сила». Чехов сказал, смотря перед собой как бы вдаль: «Его слава продлится несколько лет. Потом эта мишура кончится». Ошибался

кроткий Чехов, но лишь арифметически. Несколько лет затянулись, но по существу Чехов был в своем приговоре ясновидящим. Давно уже Горький как писатель более не существует. Это страшная мертвая маска самого себя. Далеко не все из тех, кто улыбается, и говорит, и делает мертвое дело злодеяний, в действительности живые. И мертвецы умеют ходить и говорить речи.

А тонкое художество Чехова, его творчество, полное душевной боли, и великой разборчивости, и осторожности в выборе средств, духовное угадание Чехова на протяжении десятилетий стало лишь виднее и очаровательнее, и большую, все большую силу благого колдования приобретает. Верным, хоть и случайным, показателем этого является его все растущая слава в Англии, где его любят как родного, во Франции, даже в Америке. Чехов – тонкий, чистый, благородный художник. Он – верный того святилища, которое называется Искусством. И прав французский поэт, сказавший: «Seul l'Arte est robuste» «Только Искусство крепко».

Буска. 1929, 9 июля.

Кровавые лгуны

Моя добрая приятельница, по роду своих занятий читающая чуть не все газеты Земного Шара, показала мне No 13 пражской большевистской газ. «Правда». Сам я, после отъезда заграницу, подобной нечисти никогда не читаю. Я знаю, что каждое слово большевика, каждое утверждение коммуниста нужно понимать наоборот. Если коммунист издает газету «Правда», читай: «Ложь». После трех лет в советской России, где я пробыл со дня большевистского захвата власти до конца июня 1920-го года, и где мы не читали никаких иных газет, кроме большевистских, ибо никаких иных не позволяли печатать, я знаю цену большевистским словам, говоримым и печатаемым под охраной чрезвычайки. В них ложь похожа на истину, а истина похожа на ложь. В этом номере 13-м «Правды» есть заметка, которую я воспроизвожу целиком, и пользуюсь случаем сказать несколько слов начистоту о советских заправилах, их заграничных шпионах и еще кое о чем. Вот эта заметка, воспроизводимая мною целиком.

«Бальмонт-Хамелеон». – «Кмен», чешский литературный еженедельник, («Kmen» – чешский литературный еженедельник, выходил с 1917 по 1922 год под редакцией Ф. Кс. Шалда и С. К. Ноймана.) пишет о Бальмонте по поводу его противосоветских выступлений в связи с кронштадтским мятежом между прочим следующее: «Хамелеонство Бальмонта поразительно. Перед революцией он – любимец салонов, потерявший последние крохи художественного бунтарства, – читал лекции барышням о женской психологии, о любви и поцелуях всех времен и народов. Неудивительно, что революция, когда она началась, мало ему нравилась: он злословил о «большевистских» погромах, писал, что Россию уж больше не любит. Но когда советская власть укрепилась, он весьма неожиданно

переменил свои взгляды, сознался в своих ошибках, приветствовал новую «звездную эпоху», наступившую в России. В то же время он всеми силами старался получить заграничный паспорт, предложил Луначарскому, что будет во Франции и Италии собирать «революционный фольклор», получил на это от комиссариата народного просвещения 200.000 царских рублей, говорил о своих горячих симпатиях к советской власти, пока не попал, наконец, в Париж. Писал также стихи с неопределенными намеками, Луначарскому послал письмо, опубликованное в «Известиях», что все московские слухи о его противобольшевистских выступлениях выдуманы. Однако слухи эти были лишь преждевременны. Достаточно было нескольких сообщений о предполагаемом кризисе советской власти, и Бальмонт быстро отбросил маску, ликовал и кричал: «Долой!..» Что-то он теперь напишет комиссариату народного просвещения».

Вот умелою рукой, испытанной в Охранке, приготовленная и предназначенная для определенного действия смесь. Ни одного утверждения этой заметки я не оставлю без подробного и самого чистосердечного разъяснения.

Здесь что ни слово, то ложь или подтасованная истина. Перед революцией я не был любимцем салонов, а был любимым поэтом и лектором всех тех русских городов, куда я приезжал, а я совершил несколько поездок от Москвы через всю Россию до Тифлиса, Кутаиса и Баку, и от Петербурга через всю Сибирь до Владивостока. Читал я не о поцелуях всех времен и народов, я не так уж опытен в этой науке, – а о вопросах мировой литературы и мировой культуры. Слушали меня и барышни, – конечно не типа советских барышень, – и еще больше студенты и интеллигентные труженики, и офицеры, и солдаты, и рабочие. Когда же

разразилась мартовская революция, с первых дней встретившая ряд моих поэтических приветствий, я неоднократно выступал, как поэт и лектор, перед аудиторией, сплошь состоявшей то из одних фабричных рабочих, то из одних солдат. Перед подобной аудиторией за все трехлетие большевизма мне не довелось выступать ни разу. Коммунистические комиссары, из боязни моего свободного слова, коего я никогда не утрачивал, ни разу не допустили меня до солдат и рабочих, и в этом, как в иных своих посягновениях и злодеяниях, они были куда прижимистее, чем царские губернаторы.

Революция в Москве началась первого марта 1917 года. Уже второго марта в газете «Утро России» были напечатаны мои вольные строки, они печатались и впредь, «Единение», «Слава Народу», «Слава Солдатам» и ряд других. Мой революционный гимн «Свободная Россия» был положен на музыку Гречаниновым и распевался революционными солдатами и рабочими достаточно часто везде. Мой гимн «Слава Народу» был положен на музыку весьма известным в Петербурге Коутсом. «Вольный Стих», написанный 13 марта в Иваново-Вознесенске, куда я был приглашен читать перед рабочими, встретил такое отношение, что рабочие немедленно попросили меня дать им эти стихи, и они были напечатаны в местной рабочей газете.

Мое увлечение революцией длилось еще тогда, когда мутные волны разбойничьего и предательского большевизма начали захлестывать освободительное движение и совершенно извратили его. Оно кончилось 30-го июля, когда я в Пятигорске написал строки «Этим летом».

Не собрал я этим летом Божьей жатвы,
Не писал благовествующих стихов,

Видел низость, суесловье, лживость клятвы,
Миллионы обезумевших рабов.

Не дышал я этим летом духом луга,
Ни единого не встретил я цветка,
Видел руку, что заносит брат на друга.
Знал, что радость, хоть близка, но далека.

Не узнал я этим летом поцелуя,
Слышал только тот позорный поцелуй,
Что предатели предателям, ликуя,
Раздавали столько, сколько в море струй.

Этим летом – униженье нашей воли,
Этим летом – расточенье наших сил,
Этим летом – я один в пустынной доле,
Этим летом – я Россию разлюбил.

Только совершенно неумный или совершенно злостный человек может увидеть в этих стихах что-нибудь иное, кроме вопля измученного сердца, которое мучается именно любовью, терзается тем, что любимая, единственно-любимая, вечно-любимая, поступает не так, как ей свойственно, и искажает свой лик. Только слепой или сознательно-злостный человек может понимать такой возглас в букве, а не в духе его.

В московских свободных газетах, пока они издавались, и во время многочисленных публичных выступлений, в Москве и в провинциальных городах, я всегда говорил, и говорил весьма резко, против большевиков и против режима крови и насилия, – как до большевистского переворота, так и после него. Бессовестная клевета и сознательная ложь газетного сыщика, будто я изменил свой взгляд на насилие большевиков, когда они укрепились. Никогда и нигде я не восхвалял большевиков. Я говорил неоднократно, не опасаясь ничего за свои слова, что большевики – захватчики, что они

деспоты, что никакая достойная творческая работа не мыслима там, где нет свободы слова и где господствует система сыска и террора.

В Политехническом музее, в Москве, при многочисленной публике, когда Троцкий только еще грозился убийствами, я сказал, что в достойном обществе такого негодяя истребили бы немедленно за одну только угрозу основать правление на убийстве. Аудитория покрыла мою речь рукоплесканиями, – и только. Это было в начале большевизма. Но подобные же слова о кровавых руках, держащих Россию за горло, и о лживости того коммунизма, который содержит в тепле и холе своих ставленников и не дает дров для библиотеки Московского университета, где самоотверженные работники мысли в точности умирали и умирают от холода, – эти слова говорил я в последнюю свою зиму в Москве, в 1920 г. Почему меня ни разу не схватили за такие слова? Пусть сыщик спросит об этом своих господ. Я знаю от лиц, весьма ознакомленных со всем тем, что делается в чрезвычайке, что вопрос о необходимости меня расстрелять ставился, но был отвергнут. Так как я вне партий, меня сочли безответственным, во-первых, – и у меня даже среди коммунистических комиссаров достаточно поклонников, ценящих мой талант и мой стих, во-вторых. Быть может, также расстрел человека, которого знает не только вся грамотная Россия, а также знают в Европе, в Америке и в Японии, был бы достаточно вредным для большевиков фактом.

Относительно хлопот о заграничном паспорте и о пресловутых 200.000 рублей – скажу следующее. При царе я не хлопотал о заграничном паспорте, когда хотел поехать во Францию или Испанию. Я просто подавал заявление в доме генерал-губернатора и через несколько дней получал паспорт. В советской России

на усилия уехать было истреблено целые полгода. Те разбойники, которые сейчас заседают в Кремле и в других, воровски захваченных, московских домах, давно обратили все русское население в рабов и восстановили крепостное право с прикреплением к данному месту. Вырваться из советской России заграницу – чудо, и это чудо со мною совершилось, а равно и с моими близкими, которые умирали от холода и голода, и которых мне удалось спасти от смерти.

Я задумал бежать из России еще осенью 1919-го года. Через друзей, – не коммунистов, – я получил возможность поехать в Туркестан, откуда хотел бежать в Персию, и затем в Англию. Мой близкий друг и мой издатель, начавший печатание полного собрания моих сочинений, В.В.Пашуканис, обещал мне дать необходимые деньги, и они у него были наготове, я должен был взять их, когда поездка должна была из предположения превратиться в действительность. Случайно, в доме у поэта Рукавишникова, я встретился с Луначарским. Когда, во время самого обыкновенного разговора, Луначарский узнал, что я, любящий путешествовать, собираюсь куда-нибудь на юг, может быть на Кавказ, может быть в Туркестан, он сказал мне: «Зачем вам ехать в Туркестан. Еще два-три месяца, и мы заключим союз с Англией. Тогда каждый, кто хочет, может свободно ехать заграницу». Тогда же он сообщил, что внутренняя политика советского правительства совершенно меняется, что террор осужден, и будут возвращены все гражданские свободы. В течение этих обетованных месяцев Пашуканис был арестован, его пытали в чрезвычайке, обвиняя в сношениях с Деникиным, его расстреляли, чекисты после его убиения захватили все его вещи, захватили, конечно, и мои деньги, захватили, кроме того, и тысячи экземпляров моей книги «Будем как Солнце», которые этими убийцами были

проданы в свою пользу. Я узнал обо всем этом, подробно, лишь весной, ибо коммунисты скрывали тогда свои злодеяния, заигрывая с Англией и одновременно притворяясь, что интеллигенции будут возвращены человеческие права. Когда, через несколько месяцев после упомянутого разговора, я встретил Луначарского в театре и напомнил ему его слова, он сказал: «Подайте мне заявление, и вы уедете заграницу». Он сказал мне также, что нужно формально обосновать мое желание. Я предложил дать для Государственного издательства три книги, которые, конечно, могут быть написаны только заграницей. А именно «Народная песня Северной и Южной Европы». 2. «Революционная поэзия Европы и Америки». 3. «Лики рабочего и изображения труда в памятниках мирового искусства, от Египта до наших дней». Два выпуска «Революционной поэзии» я приготовил и отдал еще в Москве: избранные стихи Уитмана и избранные стихи Шелли. 200.000 рублей, т.е. 200 грошей, я получил, но не очень убежден, что эти деньги принадлежат Луначарскому или вообще советскому правительству. Они представляют из себя лишь малую долю тех денег, которые у меня украли большевики, лишив меня результатов моей тридцатилетней литературной работы и лишив моих близких всего их достояния.

Деньги эти играли весьма малую роль в моем выезде заграницу. Я их отдал достойным, дорогим мне лицам, которые были ограблены большевиками. Чтобы иметь возможность уехать, я должен был продать знаменитому Гржебину десять своих томов за 250.000 рублей (т.е. сто франков), продать свою библиотеку, продать все, что у меня еще оставалось ценного.

Луначарскому из Ревеля я написал, что я не произносил в Ревеле никакой речи против советской власти, ибо я действительно не произносил ее. Никаких *слухов*

об этом вымышленном моем выступлении в Москве не было. Был *донос* одного из шпионов, о чем я в точности знал, ибо, если чрезвычайка знает многое о нас, мы тоже кое-что весьма точно знаем о чрезвычайке. Некто, приехавший из Москвы в Ревель, когда я там был, сообщил мне, что из-за этого доноса не выпускают из России целый ряд писателей, уже получивших разрешение на выезд.

Естественно, не желая вредить другим, я должен был написать опровержение, которое тотчас и написал. Но сообщение о писателях было очередной ложью паучьих душ.

Эти писатели и поныне сидят в той большой тюрьме, которая называется советской Россией.

Целые полгода в Париже я безумно надеялся, что, может быть, в палачах проснется совесть, и не все есть ложь в словах о том, что большевики решили отказаться от террора. События показали, что палачи не могут измениться. Полгода я каждый день мечтал вернуться в Россию. Довольно. Судьба больше всяких большевиков, и они будут разметаны, и гораздо скорее, чем они предполагают. Тогда честным людям можно будет и нужно будет вернуться в Россию.

Луначарскому как человеку, за одно благое душевное движение, и двум-трем другим лицам, сумевшим заставить чрезвычайку выпустить меня из разбойничьего стана, я искренно признателен, и никак не могу не чувствовать признательности, хотя знаю все их коварство и иезуитскую ложь. С Луначарским как комиссаром и с кем бы то ни было из коммунистов у меня ничего нет общего. Коммунизм я ненавижу, коммунистов считаю врагами всего человеческого, всего честного, всего достойного.

Крымский вечер

Полупрозрачная мгла вечернего воздуха была напоена душистым запахом глициний и белых акаций. Внизу, у подножья холма, на котором приютилась наша дача, шумело неугомонное море, и переменный плеск его валов, то прибывая, то убывая, говорил нам своим неясным шепотом о чем-то позабытом и туманном. Слева, далеко, виднелся силуэт Аюдага, этой тяжелой каменной глыбы, опрокинувшейся в море, а прямо перед нами простиралась бесконечная водная равнина, которая смущает своей недоступностью, волнует своим величием и глубоко печалит своей холодной красотой. Неслышно удалялся день, бесшумно приближалась ночь, и нам, любившим друг друга, нам, отдавшимся друг другу всей душой, так было хорошо молчать и понимать взаимную любовь. И правда, если есть что-нибудь в любви несомненное – это именно власть проникать в душу другого до самых далеких потаенных ее уголков – каждым жестом говорить – в каждом взгляде видеть долгое признание.

Кто знает, может быть, в такие минуты мы потому молчим, что смутно вспоминаем о том, что был когда-то и у нас невозмутимый Эдем, где не было зла, не было даже названия зла, а добро дышало и цвело, и наполняло все кругом своим незапятнанным величием.

Кто знает! Я знаю только одно – что такие блаженные минуты поэта всегда кончаются беспричинными слезами, точно мы плачем о чем-то навеки утраченном, точно для нас догорела светлая заря, и мы во тьме вспоминаем о том, как ярки были краски умершего дня.

Этот день, который тоже умер, был первым днем моей счастливой любви к тебе, – первым днем моей первой любви, потому что до тебя я не знал, что такое любовь, я знал только страсть. В глазах тех женщин, которым я обманчиво говорил «люблю», не было той

чистоты и глубины, где теперь навсегда утонула моя душа. В них только был какой-то неясный намек на то, что́ в твоих темных глазах нашло такое прекрасное и полное воплощение. Те женщины, которых я знал до тебя, были как бы предчувствием тебя. Вот почему я говорил им «люблю», вот почему моя ложная любовь к ним не должна оскорблять тебя.

И ты сама поняла это.

Потому-то тебе так легко было услышать от меня повесть моей печальной и горькой жизни, и когда под ропот моря я выплакал перед тобой все прошлые ошибки, ты поняла, что с последним моим словом, говорившим о прошлом, вспыхнул первый миг иного будущего счастья. Два периода жизни соединились на мгновенье, как этот чудный южный день слился с полупрозрачной мглой наступающей ночи, – и ты, вздохнув, слегка коснулась моих волос своей холодной и бледной рукой, – и это легкое прикосновенье послужило залогом для многих-многих дней совместной жизни, общих мыслей, чувств, волнений и страсти, но страсти, полной благородного равенства, одухотворенной нашим преклонением перед тем великим и прекрасным, что вне нас зажгло солнце и луну, а в нас затеплило неиссякаемую жажду добра и красоты.

Без обещаний мы связали нашу жизнь, но нет той силы на земле, которая бы смогла расторгнуть наш союз.

Малое приношение

Отдельные страны земли разъединены природой и людьми. Но есть мировая перекличка от страны к стране. Одна другой дарит свой красивый обычай, или верную мысль, или слово песни, или подвиг, пробуждающий души, самые разные, или манит к себе страна страну тем, что есть в ней особенно широкая река, особенно высокая гора, совершенно единственный особенный человек.

Индусский поэт Калидаса четко сказал:

Великие умы, как горные вершины.
Горят издалека.

И такое дальнее горенье превращает даль в близь, связуя одним восхищением разные страны, разные души.

К числу таких горных вершин, которые не разъединяют, а связуют и над которыми не властны время и пространство, принадлежит благовестник русской речи, прозвучавшей во всем мире, Лев Толстой.

Страна к стране посылает в веках вестника, чтобы страны не одичали в своей отъединенности, – такого глашатая, который говорит равно убедительно и своим родным, и всем чужим. Гекзаметры Гомера не поют ли до сих пор и в измененной Элладе, и в бледной Норвегии, и в ученой Германии, и в неопытной творческой грезе любого юноши, увидавшего во сне длиннопокровную Елену?

И не читает ли «Дон-Кихота» и русский школьник, и судомойка в Аргентине, и надменный англичанин, полагающий, что лучше британского острова ничего нет на свете, и мало что читающий житель Испании, той страны, которая не только подарила Сервантесу самый звучный язык, но и посадила его в тюрьму?

И не научил ли многому Лев Толстой французов, хотя у них есть Рабле и Руссо, Паскаль, Бальзак, Вилье де Лиль Адан и столько еще мыслителей и художников слова? Малый Васютка русской деревни, наклонившийся над сказкой «Чем люди живы», итальянская девушка, с бьющимся сердцем узнающая о судьбе Анны Карениной, русский сектант, упорный старик, вникающий в слова Толстого о правде и неправде жизни, японец, переделывающий на свой лад отягощенные гроздья цветов и ягод, возникшие в Ясной Поляне, индусский брамин, задумавшийся над мыслительными утверждениями великого русского старца, – не лучезарная ли это победа извечного человеческого духа над косным веществом, не высочайшая ли это вершина такой горы, где у подножья ютятся селенья, и девушка, мечтая о юноше, срывает цветы, а выше пересекаются грозные изломы, и уж не могут туда долететь бабочки, разве прошуршат, бросая тень, поседевшие крылья орла, а выше только снег и лед, а на самом верховном взнесенье – первый свет солнца, когда в долинах еще ночь, и – последнее замедленное зарево дневных сияний, когда давно уже в равнинах ночь.

Народ, создавший Льва Толстого, как орел, смотрит на солнце прямо, не боясь ослепнуть. Через Достоевского и Льва Толстого, и только через них двоих из всех европейских художников повествующего слова, наше время посмотрело богу в глаза и сказало всему земному шару, что жизнь людей должна быть изменена по существу.

На острове Яве есть величайший в мире буддийский храм Боро-Будур. Он давно полуразрушен землетрясением, этот исполинский храм Белых Будд, изваянные плиты которого, если бы их поставить вровень одну за другой, протянулись бы на версты. Но до сих пор туда приходят верные и дышат воскурения, и,

молитвенно брошенные, лежат на камне цветы. В день памяти великого русского, возлюбившего любовь и самоотречение, – во имя новой жизни, которая не может не расцвесть, – придя из темноты и уходя в темноту, я оставляю на камне эти три-четыре малые мои цветка {В другом очерке К.Д.Бальмонт говорит о Толстом: «...одним взглядом, одним простым вопросом Лев Толстой умел, как исповедник, побудить к полной правде чужое сердце и заставить его мгновенно раскрыться. Видеть это лицо, полное внутреннего света, и не любить его – было нельзя. Слушать этот голос и не слышать полной правды внутреннего зрения – было невозможно».).

Мещанин Пешков, по псевдониму: Горький

Наши дни богаты превращениями. Превращение вообще является одним из законов Мироздания. Более тридцати лет тому назад этот закон великолепно понял предприимчивый и одаренный мещанин Пешков, тогда – начинающий и сразу прославившийся писатель. Алексей Пешков звучит незначительно, и для русского слуха в слове «пешка» есть даже много чего-то унизительного. Но мещанин Пешков нашелся. Хорошо звучит слово Горький. Значительно. Он выбрал это слово себе литературным псевдонимом. Имя Максим, кроме того, обозначает нечто наибольшее. Да живет имя Максим! И вот мещанин Алексей Пешков стал Максимом Горьким. А талант и угодливость по отношению к мутному потоку уже тогда надвигавшегося царства духовного мещанства и хулиганского разрешения насилием всех человеческих вопросов помогли Пешкову стать Горьким, и Максимом Горьким он, действительно, был несколько лет.

Он давно перестал быть тем Горьким, которого любили и ценили, хоть чрезмерно, но все же по заслугам. Пешков одолел Горького. И ныне этот Мещанин во дворянстве, или, если хотите, Дворянин в мещанстве, давно продал свое первородство за чечевичную похлебку. Став служителем большевиков, он перестал быть самим собой. Он примирился даже с тем, что сам Ленин, его закадычный друг и не без помощи Горького в России воцарившийся, не разрешил ему, Горькому, издавать его, Горького, личную газету «Новая Жизнь». Ему рот прикрыли и завязали, а он благодарит самодуров, вырвавших ему язык, и говорит, что так лучше. Горький никогда так говорить не мог бы, и не мог. Так говорит платный прислужник, мещанин Пешков.

На Святках этого года появилось в зарубежной прессе перепечатанное из московского коммунистического листка письмо Горького «К анонимам и псевдонимам». К кому, собственно, обращался Пешков-Горький, понять было трудно. Не то к тем, естественно скрывшим свои имена, чтобы не губить себя и своих, писателям советской России, воззвание которых к цивилизованному миру уже пробило себе русло и еще заставит говорить о себе много, не то к зарубежным русским писателям вообще. Если второе, то имена Мережковского, Бунина, Куприна, Шмелева, Зайцева и других поистине суть имена, а не для выгоды принятые псевдонимы, и очень далеки эти писатели от анонимных знамениты всемирно. Если первое, то как же не стыдно было этому наглому, бесстыжему, этому мещанину во дворянстве так лакейски браниться по адресу людей, которых каждую минуту могут чекисты схватить за то, что они нам довеяли из России свой отчаянный вопль?

Прежде всего, Пешков, ведь Ваше ложное имя Горький есть псевдоним. К каким же псевдонимам укоризненно взывает псевдоним? И хоть Горький всемирно и всемерно знаменит, он никогда не переставал быть анонимом, его знаменитость вовсе не благородная знаменитость Шмелева или Бунина, которые оба, по существу своему, отдельны, единичны, индивидуальны, неповторимы. Он же, Пешков-Горький, оттуда со своим голосом, откуда вот это слово Священной Летописи: Иисус спросил его: «Как тебе имя?» Он сказал: Легион, потому что много бесов вошло в него» (Еванг. от Луки, гл. 8, 30). Легион. Анонимное множество слепых, думающих, что прозреют, если постараются вырвать глаза у множества людей. Свирепое содружество глухонемых, воображающих, что, оглушая кулаком, запретом, преследованием и тюрьмой, и убиением, и

лжами, и всем, что есть нечистого на земле, они преобразуют землю и будут слышать голоса гармонии, и будут уметь говорить, а не только издавать удушливые глухие вопли.

На днях Пешков, по псевдониму Горький, показал еще раз с полной очевидностью, что глухое, невнятное бормотание он предпочитает, и прямое, открытое, правдивое человеческое слово ему вовсе не нравится. Куртуазный Ромен Роллан, учившийся куртуазности, очевидно, не у рыцаря Роланда, вздумал освежить куртуазную, как он говорит, свою полемику со мною и с Буниным, – в которой он отнюдь не оказался хорошим фехтовальщиком, – тем, что он замыслил проконтролировать мои утверждения и утверждения Бунина утверждениями Горького. Хороший вкус у Роллана в выборе средств для отыскания истины и большое, прозорливое глубокомыслие. Это то же самое, если бы для проверки Золя в деле Дрейфуса Роллан обратился за осведомлениями к Эстергази или спросил бы волка, почему это соседним коням и другим разбежавшимся в разные стороны существам, будь то скромные травоядные или опытные пастухи и мужики, – почему это им всем не нравится волчий голос и волчья вся повадка. Волк осведомит Роллана основательно, и он может растроганно благодарить осведомителя. Мещанин Пешков спокойное написал ему письмо, где говорит о чем угодно, но не о том, о чем возникла речь. О цензуре он молчит. О расстрелах он не рассказывает. О себе самом, онемевшем, он умалчивает. О том, что в России и теперь пишут и что в России и теперь издаются книги, он сообщает Роллану в письме, напечатанном в «Европе».

Но умолчание разве не есть наихудший вид лжи? Но неговорение, когда говорить должно, разве не есть вид убийства? Но извращение сообщаемого, когда в

придачу знаешь, что собеседник – иностранец, неосведомленный и с наклонностью к исковерканной идеализации, разве не есть простое и преступное шулерство? Пешков-Горький говорит, что в России советской печатают избранные произведения Бунина, Куприна, Шмелева. Прелестно. Как перепечатывают (ибо перепечатывают, а не печатают, это две вещи разные) – с согласия авторов или нет? Нет, и Горький это знает. Но об этом молчит. Платят авторам за труд их? Нет. Горький это знает, но об этом не говорит. В каком виде перепечатывают? Из благородного романа Шмелева «Человек из ресторана», кстати, переведенного на все главнейшие европейские языки, бесчестные коммунисты состряпали пропагандистскую коммунистическую фильму, извратив содержание романа в корне и сделав из правды грязную ложь – под именем Шмелева. И Шмелев об этом писал, кричал, протестовал. И Пешков-Горький, все это зная, об этом молчит. Какая беспардонная низость!

Пешков-Горький называет ряд молодых писателей, которые печатаются. Жалкий извратитель правды! Он так же хорошо знает, как знаю я, что у нескольких названных писателей надежно припрятаны или просто-напросто валяются в ящиках многие рукописи, которые цензура вот уже годы не позволяет печатать, – что наилучшие свои произведения они напечатать не могут, им запрещают. Пусть Горький осмелится утверждать, что это неправда. У меня есть документы, подтверждающие, что правда, горькая правда, – в том, что говорю я, в том, о чем сознательно молчит Горький. Итак, если возникают в советской России таланты, это не благодаря советскому режиму, а вопреки ему.

Приезжавшие к Горькому молодые писатели пожимали плечами, когда он их спрашивал, кто бы мог написать воззвание к цивилизованному миру. Если кто

пожимал плечами, он хорошо это делал. Другу Дзержинского и лауреату чекистов отнюдь не надо сообщать никаких имен. Обладателям этих имен во всяком случае не поздоровится.

И вот, пожалуй, вспомнив имя Дзержинского, можно кончить. Напомню мещанину Пешкову, поглотившему без остатка то, что называлось Горьким, наше последнее свидание в Москве в 1920 году. Я был у того, которого еще продолжал считать Горьким, и в разговоре, между прочим, сказал: «Мне хочется выразить вам искреннее восхищение за то, что вы спасли ряд лиц от расстрела». Одного такого я знал хорошо лично и могу его назвать. Пешков-Горький нахмурился и спросил угрюмо: «Что вы хотите сказать?» – «Мне говорили, что, опираясь на силу своего имени и, быть может, на личное знакомство, вы являетесь иногда к Дзержинскому и небрежно говорите ему: «У вас сидят такой-то, такой-то и такой-то совершенно зря. Вы мне их отдайте». И по вашему слову освобождали. Спасибо вам за это». Мне ответил не Пешков-Горький тогда, а тот Горький, который мне когда-то был дорог. Он снова нахмурился, выражая большое, искреннее неудовольствие, и сказал голосом совершенно чистосердечным и угрюмым: «Ну, стоит ли об этом говорить. Пока успею выцарапать у них двоих или троих, они успевают расстрелять и двести, и триста».

Не вспомнит ли теперешний Горький слов тогдашнего Горького, и не только слов, а того, что было в 1920 году за этими словами в его душе?

Или это так неизбежно – упорно скрываться перед самим собой?

1928, март

Москва в Париже

Иногда во сне снятся мне белые птицы. Такие сны посещают меня редко, и я всегда просыпаюсь счастливый и бодрый после свиданья в сновидении с белой птицей. Целый день проходит у меня под знаком доброй приметы, все удается – и дело, и встречи, и замыслы. Душа целый день в порядке и внутренней сосредоточенности. Не мечется, не рвется, довольна, знает, вполне убеждена. Белая птица никогда меня не обманывает.

Три дня тому назад я проснулся рано утром, прислушался к грохоту парижской улицы, но он мне показался уравномеренным. Я отдернул занавеску – и замер в восторге. Белые птицы, множество белых птиц, малых и побольше, весь воздух Парижа белый, и сонмы вьющихся белых крыльев. Уже не во сне, а наяву. И наяву снятся сны убедительнейшие.

Как в Москве – сто лет тому назад – сто лет? – меньше и много более, – как в Москве, что была на иной планете нашей жизни, когда Слово не было еще растоптано, а честность и доброта были совсем неудивительной повседневностью, – кружился тихий снежный вихрь, шел снег, падали снежинки, и вились, обнимались, целовались, прилетали, улетали, танцевали, веяли, падали не падали, таяли в воздухе летучие хлопья, веселились белые снежинки, и две из них таяли, а двадцать две не таяли, затянулись парижские крыши белыми московскими коврами. Московия – она ведь белая, моя Москва зовется Белокаменной. От храма до храма в ней белый свет. От крыши до крыши белый сугроб. Крыши иногда проваливались. А все-таки в душе глядящей – от таких сугробов на крышах – становилось полетно и легко.

Московия вся в Москве. А Москва вся в снегу. А в снеге не только снежинки, а тайны и клады, и свежесть,

и радость, и откровения неожиданностей. От улицы к улице идет и ведет белая метель. От дома до дома сквозь окна, затянутые белыми узорами, – созидатели радужных видений, – перекликаются огни и зовут: «Приди, у нас уютно, тебе рады. Пожалуйте, милости просим». От месяца к месяцу белый хоровод, снеговое небо, оснеженная земля, захваченный снежинками воздух, захваченная вьюгой душа, на полгода в горностаевой шубке, на пять и на шесть месяцев, щеки румяные, в сердце истома, ждешь не дождешься счастья – придет? не придет? – с холода войдешь в тепло, озябнешь – согреешься, подождешь-подождешь, разогреешься, растомишься – и тянет уйти в морозную ночь. Идешь. Глядишь. Слушаешь собственный шаг. А мысли – в уровень со звездным небом.

Неужели это было, это быль, а не сказка? Неужели душа была в красоте, но красота не овладела миром, а запуталась в случайном, забилась, в собственных силках, порвала их, вырвалась, улетела, растаяла, гонись не догонишь, лови не поймаешь, не узнаешь, где и ловить, куда направить гон своя. Мчись без путей, все дороги – путь. Скользкий, тяжелый, неведомый, неопределимый, неопределенный. Знаешь только одно: все дороги – путь, приводящий к мокрой липкости, к грязи. А если не грязь, значит – холод покрепчал. Морозит. Слава богу. Хоть вовсе замерзнуть, но только бы без грязи

Веселая прихоть приснившейся белой птицы, которая из сновидения перепорхнула в длительную явь. И летит. А летя, заворожила шумы огромного Города и сделала их уравномеренными. Самокаты – чудовища злые, когда налетают на живых, но что до себя, они острожные. То ли они боятся, что от московского мороза на парижских улицах подло-мягкие шинные лапы их растрескаются, то ли им жутко от возможности

раскатиться по остеклевшей плоскости и со всего размаха хватиться о столб, но неуютные чудовища уменьшились в числе чрезвычайно, попрятались мерзкие зверюги, а если тащатся кое-где, то с размерной осторожностью. Скорее туда, где их вовсе нет. В издавна привычный малый парк Мюэтт, в колыбель одиноких мечтаний, в Молчальницу. И в ставший тихим, и ставший звонким, и ставший белым Булонский лес.

Ну и город, ну и людишки. Город по-московски побелел, стал весь красивым, спрятал свой всегдашний серый цвет под благороднейшим, под цветом белых роз и видений, мгновенной игрою раскинул везде, разбросал снежные кусты и вишневые сады в цвету, а людишки все попрятались. Ведь легкий только холодок. Морозит немножко, но назвать это московским морозом можно только из нашей страсти к воспоминаниям.

Все же я очень благодарен здешним людям, что они своим отсутствием дали мне возможность чувствовать и думать, что Булонский лес – хороший Русский сад, завороженный начинающейся зимой, остуженный и осиеженный, совсем опустевший, грудь дышит свободно, зоркий глаз упивается мастерством и размахнувшейся по-особенному творческой кистью Природы, живописующей красивую прихоть нагромождения белого на белом, – и вот предо мною нечто не трех измерений, а четырех.

Из четвертого измерения, из времени, влившегося в пространство, из прошлого времени России в здешнем и нездешнем Русском саду, я вижу большой овальный пруд, озеро, легкий, но уже не шуточный на нем ледок, все пространство воды затянуто льдом, только у берега, куда я подошел, колотя озябшую руку о руку, что-то вроде довольно большой полыньи, и десять белых лебедей из боярских времен и дней зябнут в воде, всхлипывают тихонько, не знают, куда деться, кончилось

лето, неуютно в воде, студено да и пищи маловато. Но красивы эти десять лебедей. На холод ли они жалуются тихонько или им оттого так неловко, что их не двенадцать? Верно, их было ровно двенадцать, да улетел один, а за ним другой. Не досмотрели дозорные. Крылья подросли. Нет двух; самых красивых лебедей, первого и второго, они не одиннадцатый и двенадцатый.

Смеющиеся пришли две девушки. Из времени они или из пространства, не ведаю, но смеются так по-настоящему Мужчины все попрятались кто куда. А девушки не боятся ни внезапной зимы, ни ночного часа, ни садового затишья ни лесного безлюдья. Они издали почувствовали, что скучно белым лебедям, холодно и голодно. Подошли, посмеялись, друг дружку подталкивают, одна у другой белый хлеб вырывает из рук, щиплют его, крошат, бросают куски и крошки в остывшую воду, – и сразу лебедям и тепло стало и весело. Друг друга оттоняют, каждому хочется поближе быть к девушке, которая, смеясь, протянет руку и поманит.

Но в белом сне наяву девушки мне не нужны. Я тихонько отпрянул в ночь, лишь взглянув на их очарование. Я хочу белой тишины, мне нужно сейчас отъединение в белом. Ступая настолько бесшумно, как только это возможно, я огибаю выгиб озера-пруда и перехожу на противоположный берег.

Я тотчас же охвачен там восхищенным изумлением. Отойдя от воды и прижимаясь друг к другу, там стоят на заиндевевшей, на запорошенной снегом лужайке два черных лебедя. Не те улетевшие, эти из другого края. Все в них свое, и все в них по сравнению с белыми иное. Они легче, стройнее, их черные крылья – черное кружево, шея у четкого, черного лебедя тоньше, длиннее и вовсе змеиная. Но и они тоже тоскуют. Им холодно. О забытом ли дальнем Южном острове они тоскуют? О навеки потерянном родном? Они

прижались один к другому, и я осторожно протягиваю свою руку, я касаюсь гибкой спины черного лебедя, я тихонько ласкаю ее, а черный лебедь вскинул в белесоватый воздух зимней ночи свой алый клюв, и в ночной этой мгле алеющий, и кликнул чуть-чуть. А другой в ответ чуть-чуть, еще тише и как будто отдаленнее. Странный дрогнувший звук, задрожавший в моем Русском сердце. Точно где-то за дальним холмом раздался отзвук гармоники. Точно зимний колдун, в час тоскования, железными своими перстами – железо овоздушенное – ударил в некоей подземности по бронзовым струнам – бронза легчайшая – и снова тишь, и тишина сама себя слушает.

Чуть-чуть касаясь рукою стройного, черного лебедя, я на мгновенье закрываю свои глаза. Ослепшее тело – прозревшая душа.

Я в одно мгновение, весь вздрогнув, вижу безмерный город из белого камня. Москва. И слитным кликом безмерным, приветствуя радость восполненного чуда, торжествуя возрожденье того, что умереть не может, от храма к храму несосчитанно гудят мои бессмертные колокола, только им дарованными звонными перезвонами.

Париж. 16 декабря 1925 г.

Мысли о творчестве

I. Эпоха Возрождения и заря новой жизни

Возрожденье – весна. Возрожденье – солнечный праздник. Возрожденье расцвет каждого я, хотящего жить и смотреть на мир жадными раскрытыми глазами, торжество творческой прихоти, воскресение духа и тела, равноправие души и тела, напевная одухотворенность телесного и телесная четкость духовного.

Возрожденье – весна, а в какой день начинается весна, никогда никому не известно, хотя у нас есть месяцеслов и определенные деления года. Весна иногда прилетает в студеную зиму, посветит теплым Солнцем, пожурчит несколькими ручейками оттепели, пропоет песней красногрудого снегиря и снова улетит куда-то надолго, перед тем как зазеленеть апрелем и расцвести маем. Но эта весна в зиме все же была, пусть она длилась лишь несколько часов. И также бывает всегда обратно: в царстве гор внизу, в долинах, цветет черемуха, цветут золотые и красные цветы, а на вершинах – вечное безмолвие одноцветного снега, и все же это весна, и все же это зима в весне.

Это простое явление редко помнят историки, когда они пишут свои тяжеловесные книги. Искусственны исторические разграничения и разделения истории на эпохи. Никакая эпоха не начинается и не кончается в определенный день, все они переливаются одна в другую, и каждая эпоха залетной весной или самоограниченной вьюгой много раз возникала в другие эпохи, отмеченные другими именами.

Когда говорят об эпохе Возрождения, обычно разумеют освобождение личности от уз средневекового аскетизма и мрачной церковности, духовное раскрепощение человека, возвращение к радости жизни гуманистов, работавших над восстановлением в сознании

Древнего Мира, Римского и Эллинского, великих художников и ваятелей XIV и XV веков. Мне кажется, что Возрождение началось гораздо раньше. Когда называют львино-орлиное имя Леонардо да Винчи или вызывают упоминанием призраки титанических созиданий Микеланджело, я чувствую все величие и подлинность понятия Возрождение, но мне хочется сказать, что Данте – имя еще более лучезарное, и он был раньше; что святой Франциск Ассизский, родившийся в 1182 году, был вестником эпохи Возрождения, что французские и провансальские трубадуры вместе с грузинским песнопевцем Руставели были творцами Возрождения в самом достоверном смысле этого слова. Мне говорят, что Данте поэт средневековья. Я говорю: нет. Ибо средние века презирали женщину, считали ее союзницей Дьявола и утверждали, что только мужчина создан по образу Божию. Средние века говорили, что женщины, ведущие пляску, носят на шее своей колокольчик Дьявола, который следит за ними своими глазами, как в стаде корова, носящая на шее колокольчик, указывает пастуху, где находятся ее подруги. А Данте в своей бессмертной книге «Vita Nuova» показал человеческому сердцу новую дорогу, научил его любить благородно, вознес женский лик, окружив Беатриче почти божескими почестями. И в «Божественной комедии», в исполинской поэме Ада, Чистилища и Рая, мужчина, Виргилий, водит Данте по Аду, а в Рай его ведет женщина, Беатриче. И если помнить, что люди эпохи Возрождения являют многообразие творческой личности и введение в свои создания ярких элементов новизны и смелости, нельзя не видеть, что Данте есть воплощение величия личности. Человек трех миров, доступных в этой жизни лишь гению и провидцу, он их посетил. Высочайший поэт, он пожелал быть гражданином своей родины, действенным воином ее,

простым солдатом, нищенствующим изгнанником. И хоть он обладал знаниями своего времени, создавая свою поэму, он одел наивную мечту не в пышную латынь, недоступную для народа, а избрал именно народный язык, бывший тогда еще неопытным наречием, скромным volgare, языком черни, и тем совершил чудо пресуществления, создал векам итальянский язык, сладчайший из европейских языков.

Франциск Ассизский, один из самых ранних первотворцов этого языка, пропел «Canto del Sol» («Песнь к Солнцу»). Солнце ему брат, и брат ему ветер, сестры ему земля и вода, весь мир есть великое братство людей и стихий, братья – светила, и звери, и птицы, и все, что живет и дышит. Что есть Франциск Ассизский? Личность против Церкви как холодного умственного зданья, личность, вышедшая из душных подземелий на Солнце, к весне, к возрождению, к любви, к всеобъемлющей духовной вселенной ласке, превращающей того, в чьем сердце она загорится, в солнечный светильник, в нечеловечески богатую эфирную среду, через которую в звездной пляске бегут миры и столетия.

Боккачио и Петрарка – достаточно выразительные деятели эпохи Возрождения, но, если Боккачио написал много красивых сказок и явил много прелестных женских образов, тот же самый Боккачио был женоненавистник, как женоненавистником был и Петрарка, хотя он создал чарующий лик Лауры. А жившие за несколько столетий до них трубадуры и певец Руставели видят женщину всегда только в светлом лике, называя женщину – Красивое Зеркало, Магнит, лучше, чем Владычица, Красивая Радость, Солнце – и в утверждение полноправного равенства мужской и женской души говоря: уж когда в пещере львята – львица, лев вполне равны.

Такое понимание женского лика ближе к человеческому достоинству и более уместно в рамке такого высокого понятия, как Возрождение.

Быть может, для правильного рассуждения нужно прибегнуть к тому способу определения понятия Возрождения, которое мы находим в богословской литературе. А именно: понятие Возрождения весьма близко к понятию благодати. Это завершительный шаг, сливающий воедино два нераздельных состояния, оправдание и освящение. Оправдание человека, невменение ему греха. Зло есть, и манит, и чарует, но оно скользит по внешней части круга, а не составляет его средоточия. А весь круг мчится туда, куда влечет его верховная Светлая Сила.

Сбросив навязанное веками бремя греха, человек дышит свободно, он выпрямляется во весь свой рост, он строен, красив и высок, он силен и высок, как Давид Микеланджело, он много выше, чем Давид Микеланджело, высота его духа роднит его с птицами и звездами, ставит перед Леонардо да Винчи все загадки, которые мучают человеческий ум, внушает Леонардо да Винчи такие замыслы, которые смогли вполне осуществиться только через 400 лет. Плавать под водой и крылато плавать в воздухе.

Целую тысячу лет от начала нашего летосчисления человеческий дух влачил этот камень греха и, смотря на мир тускло и слепо, ждал пришествия Царства Божия. Но Царство Божие не пришло. И как не пришло небесное Царство Божие на землю, так точно и земной Иерусалим оказался ускользающей задачей бесплодных предприятий. Пожалуй, предприятий далеко не бесплодных. Иерусалим остался в руках неверных. Но попутные страны, и новое небо, и красивые новые лица, и ткани, и цветы, и цвета, и благовония упоили

странников, и они вспомнили, что Земля прекрасна и что жизнь с красотой пленительна.

Магомет проклял изображения существ и сказал: «Ты изобразишь существо, а оно потом явится в день Суда и скажет: Ты меня изобразил, но души мне не дал». Совершенно так же и Отцы Христианские говорят: «Да будут прокляты те, которые создают рукой своей изображения». Но художник, но человек с проснувшейся душой, раскрытой к красоте Природы, не послушался таких запретов, и толпы художников, своевольных и своенравных, заполнили города и села творческими изображениями, озаренными светом торжествующей благодати, погашающей тень греха, изображениями, говорящими душе о весне, когда в возрожденном теплом воздухе возникают самые страстные и в страсти самые невинные поцелуи. Природа не захотела больше быть в изгнании. Она усмехнулась и вошла всюду, где ей захотелось, сделав даже церковные иконы весело радостными. Вместо мертвой мозаики, где все фигуры воплощают застывший суд, возникает любящая Мадонна Чимабуэ с слегка наклоненной головой, точно она прислушивается к людским голосам. Вместо одноцветного золотого слепого фона за ликами Джотто возникает пейзаж. Темная заслона Земли и золотая заслона Неба одинаково отступают и падают, ибо в мире повеяла весна и зачался рассвет. Принимая разнообразнейшие лики и вставая прихотливейшими изображениями, Природа уже не отступит от души художника и будет присутствовать во всех его созданиях. То как белые птицы и проворные зайцы на волшебной картине Пизанелло, видение святого Евстафия, увидевшего распятие между развесистыми рогами оленя, то как тяжелые кони Паоло Учелло, плененного перспективой и влюбленного в редких птиц, то как белобокая сорока на мшистой крыше в

картине Пьеро делла Франческа, где над лежащим между трав избранным ребенком, будущим водителем совестей и столетий, красивые девушки играют на мандолинах, то как голубые гроты Леонардо, то как женские легкие тела, просвечивающие через воздушные ткани Боттичелли, то как грозовое, вихрем схваченное Небо Микеланджело, исполненное магнитных влияний, грозное пространство, по которому мчится Миротворящая Сила.

Человек вновь сделался самим собой. Человек решил жить в жизни и являть из себя многосложную полноту достижений. «Я сделался самим собой», говорит Понтано. «Человек создан для самого себя», – говорит Латини. «Жить решительно», – говорит Аретино. «Кто развивает свои личные способности, тот достаточно оказывает услуг государству», – говорит Альберти. О достоинстве человека пишет в начале XV столетия Манетти, о достоинстве человека пишет в конце столетия Пико делла Мирандола. Личность торжествует свой расцвет, и в Италии Возрождения возникает орлиный выводок гениев, из которых каждый умеет глядеть на Солнце не мигая, и умеет расцвести могучим многоцветным деревом, и умеет схватиться с врагом, если это нужно и если даже этого не нужно, как всегда бывало с бешеным Бенвенуто Челлини, воплотившем в себе все своеволие беспреградного. Человек Возрождения – завоеватель нового, всегда хранящий свой лик победным. Франческо Сфорца получил от своего отца три совета: «Не смотреть жадно на жену подчиненного, не наносить никому чрезмерного удара и никогда не садиться на лошадь, которая закусывает удила». Осуществляя такие гармонические советы, в белой тоге, он вступил в Милан, несомый народом, от которого он получил меч, скипетр, знамя, ключи и печать. Современник описывает, что в 60 лет он казался

на коне юношей, что он был высок и величествен, что он казался среди своего времени единственным и не было ничего, чем бы, сильно того желая, он не овладел. Это – образ каждого гения Возрождения, из них любой в своем блеске кажется единственным.

Судьба с явным умыслом дала имя Льва двум самым выразительным гениям Возрождения. Имя Альберти – Леон, имя Винчи – Леонардо. Это – существа, хватка которых безошибочна. Зодчий и первый писатель по основным вопросам искусства Альберти сказал: «Чем большим числом лучей ты пользуешься при зрении, тем больше представляется тебе видимое». И он окружил себя лучезарностью. Не только он охватил своей мыслью всю область искусств, но и сам был прекрасным художественным созданием. Он умел владеть оружием, был превосходным всадником на коне, играл на музыкальных инструментах, радовался наукам, как драгоценным камням и ароматным цветам, упражнялся в беге и, как древний викинг, мог перепрыгнуть через человека, своей рукой мог так сильно подбросить серебряную монету, что бывшие с ним в храме ясно слышали, как она ударялась о свод, самые дикие лошади дрожали под ним, повинуясь, – умел покорять себя и, если чего не знал еще, учился жадно у всех, у художников, ораторов, ремесленников, сапожников, – если хворал, что было редко, пением побеждал недуг, и, говорят, в его распоряжении был демон, через которого он сразу определял людей. Леонардо да Винчи, всего более знаменитый как живописец, ставил живопись выше всех искусств и говорил, что живопись – внучка Природы и родственница Бога. Но он был также зодчим, военным инженером, анатомом, ботаником, биологом, основателем биологии, и, изучая полет птиц, он столько сделал для разработки идеи аэроплана, что, как говорит Бельтрами, если бы Леонардо мог на минуту

очутиться среди наших Райтов, Вуазэнов, Фарманов и Блэрио, он, несмотря на свое четырехвековое старшинство, чувствовал бы себя в родной семье, и перед волшебным зрелищем плавного полета аэроплана на лице его отразилось бы чувство удовлетворения, но не удивления.

Природа любит тех, кто ее любит, и она открывает свои тайны и талисманы тем, кто хочет ее сокровищ. Природа не делает при этом наших различий и разделений, и вместе с хотеньем, как огнем побуждающим, она бросает свои дары одинаково и сыну знатного, и сыну незнатного. И когда хотенье достижений овладевает целой эпохой, это видно особенно четко. Учелло – сын цирюльника. Липпо – сын мясника, Аретино – сын сапожника, великий Джотто был пастух. Для избранника Природы, который хочет, нет предела и грани. Маленькому Себастьяну Баху, которому было нужно украсть из шкафа заветную нотную тетрадку, помогла Фея лунного луча. Флорентийскому поваренку Люлли помог добрый дух гитары, который привел его и к скрипке и сделал виртуозом. К Тартини, когда он спал, явился сам Дьявол и так неправдоподобно и ловко играл на скрипке, что вот и сегодня еще этот сон может снова присниться. И Гений весны владел всей душою Доменико Скарлатти, когда музыкант, сын музыканта, основатель сонаты и сын создателя арии, он писал такую изящную музыку, исполненную полета бабочек и журчанья ручья, что световые перепархивающие его звуки иногда можно расслышать даже у нашего эльфа, Скрябина.

Торжествующая Природа и пробужденная Личность – вот два светильника, два уводящих факела, озаряющие Возрождение и говорящие о Новом Времени, о Новом Человеке. Эти два светильника вели Колумба, генуэзца, ставшего испанцем, когда, овеянный дыханьем

Моря, он стал победителем пространства и разгадал загадку Океана. Это пламя владело Кортесом, когда, исполненный любви к невозможному, с кучкой воителей, которых каждую минуту нужно было превращать из разбойников в героев, он, воплощая торжество отдельной воли над тысячью препятствий, завоевал Мексику, явился человеком, победившем целое царство. И тот же огонь горел в Сервантесе, когда, поэт, он бился за родную Испанию и, раненный, снова звал солдат на приступ; и в плену у мавров, силой честной души и силой глаз своих, не позволил себя казнить и, будучи своими соотечественниками посажен в тюрьму, написал «Дон Кихота», книгу, являющуюся одной из трех книг, которые читают всего больше на земном шаре. Тем же ярким пламенем горел Кальдерон, когда в драме «Жизнь есть Сон» он заставил говорить Человека с Богом, и Шекспир, когда из конюха он стал поэтом всех веков и народов и лучшим воплощением могучего народа, полюбившего, как стихию свою, Океан.

И это на переломе двух времен, Старого и Нового, были созданы два художественных образа, которые, тысячекратно изменяясь, выразили полную свободу личности в ее жажде безграничного. Тирсо де Молина написал Дон Жуана, Марло написал Фауста. Беспрерадность и беспредельность в чувстве, беспрерадность и беспредельность в мысли.

Когда думаешь о гениях, вспоминаешь Звездное Небо. Звезды возвышают нас и ведут. И созвездия указывают нам, где мы. Если мне скажут Семизвездье Большой Медведицы, я чувствую нашу Россию, я чувствую снежную Норвегию. Если мне скажут – Созвездье Южного Креста, я сразу там, на другой половине земного шара, в Мексике, в Майе. Но иногда не нужно даже называть целое созвездие. Кто скажет – Сириус, тот скажет – Древний Египет. И если целую сумму

веков обозначать одним именем, если хотеть исчерпывающего талисмана, тогда для означения Нового Времени и эпохи Возрождения нет имени более звездного и четкого, чем имя Леонардо да Винчи.

Художник с гибким телом леопарда,
А в мудрости лукавая змея,
Во всех его созданьях есть струя,
Дух белладонны, ладана и нарда.
В нем зодчий снов любил певучесть барда,
И маг о каждой тайне бытия
Шептал, ее качая: «Ты моя!»
Не тщетно он зовется Леонардо.
Крылатый был он человеколев.
Еще немного, и, глазами рыси
Полеты птиц небесных подсмотрев,
Он должен был парить и ведать выси.
Среди людских, текущих к Бездне рек
Им предугадан был Сверхчеловек.

II. Романтики

Есть в каждом языке четкие слова, имеющие свойство магической формулы. Сказав такое слово, сразу даешь образ, ряд образов, исчерпывающих и выразительных, и, однако, это слово применяется нередко совершенно произвольно. Таково испанское выражение «sin segundo», «без второго», то есть человек единственный и несравненный, первый и один, такого второго быть не может. Это слово часто встречается у Кальдерона и Тирсо де Молина, в той старой Испании, которая любила достижение, в той Испании, владения которой были так обширны, что Солнце в них никогда не заходило. Таково итальянское слово «virt», «добродетель», добротность, достоинство, сила, в применении к художнику или художественному произведению. Сказав это слово, сразу вызываешь Сибилл Микеланджело

или Джоконду Леонардо да Винчи. Таково французское выражение «homme suprieur», «высший человек», человек особенный, отдельный, вне разряда обыкновенных людей. Это слово вошло в моду во второй половине XVIII века, в дни Руссо. Таково немецкое слово «Ubermensch», «сверхчеловек», обычно связываемое с Ницше, но употреблявшееся еще раньше романтиками и Гёте и, я думаю, раньше, чем романтиками и Гёте, его, например, вполне можно было бы применить к крестьянину-мистику XVI века Якобу Бёме. Этот сапожник-философ видел Бога в лицо, как позднее Его видел английский гравер, художник и поэт Вильям Блэк.

К разряду таких слов-формул, сразу вызывающих тот или иной образ или целый ряд образов, сразу и чрезвычайно четких и совершенно неопределенных, произвольных, относится и слово «романтик», «романтизм». Романтик Фридрих Шлегель и романтик лорд Байрон. Но как мало между ними сходства. С другой стороны, что романтичнее фигуры Прометея, похищающего огонь с неба и соединяющего небо и землю огненной перевязью? Почему бы нам, опираясь на это, не считать Эсхила одним из наиболее крупных романтиков?

Формула сразу точная и вовсе не определенная. Если обратиться к рассмотрению самого слова, мы видим, что впервые оно стало употребляться в половине XVII столетия в Англии. Самое раннее известное его употребление мы находим в 1654 году: художник Эвелин называет место у подножия горы романтическим. Из Англии это слово перешло в XVIII веке во Францию и в Германию, еще не став боевым лозунгом. Сначала «романтический» лишь означало «живописный», «таинственный», «сказочный», «похожий на вымысел». Немцы, всегда завладевающие чужими изобретениями,

чтобы довести их до законченности и закрепить за ними свое имя, овладели и этим словом «романтический», чтобы создать школу, теорию, целый устав романтизма. Но это создалось лишь мало-помалу. Еще в 1798 году Фридрих Шлегель, один из основателей романтической школы в Германии, понимал это слово так общо, что писал: «Романтично все превосходнейшее, все действительно поэтическое в современной поэзии». Это такой ключ, которым можно отпирать любую дверь. Но тогда рассуждение теряет под собой почву и делается совершенно зыбким.

Чтобы сколько-нибудь закрепить эту зыбь и разъяснить данное понятие, нужно взять хоть несколько признаков, которые общи романтикам при всем их личном разнообразии. Любовь к далекому, что связано с мечтой и достижением, – вот, быть может, первый из этих признаков. Романтик, воплощая в себе жажду жизни, жажду разносторонности, являясь четкой вольной личностью, всегда стремится от предела к Запредельному и Беспредельному. От данной черты к многим линиям Нового.

Воспринимая Землю как самоцельную планету, которую нужно целиком понять и завоевать своим прикосновением, романтики являются тем бродилом, которое, разрушая старое, создает новое. Их родина никогда им не достаточна. Их родина – не их родина, а бег души к вечной родине мыслящих и красиво творящих. Это выражается в романтиках и внешне. Любя Землю как планету не в частичном минутном ее лике, а в звездно-небесном ее предназначении, они жадно устремляются к новым, еще не познанным ее частям, к иным странам, к чужим краям. «На Востоке должны мы искать высочайшей романтики, – говорят Шлегели.– Какой источник поэзии мог бы раскрыться нам в Индии!» И они делаются первыми изучателями Индии,

погружаются в санскритский, в персидский языки. Величайшие поэты иных стран и иных времен, стоящие на черте эпохи Возрождения и эпохи Мировых Открытий, Данте, Сервантес, Кальдерон, Шекспир, делаются священными певцами романтиков. Желая найти самого себя, выработать безупречно свое художественное «я», Гёте бросает пасмурную Германию и уезжает жить в золотисто-лазурную Италию, как уезжают в Италию, чтоб подышать воздухом бессмертия, и француз Ламартин, и датчанин Эленшлегер. Байрон и Шелли, менее всего чувствуя себя дома в родной-неродной Англии, покидают ее навсегда, их родиной становится горный лабиринт Швейцарии, голубая Италия, героическая Эллада. И в последней своей поэме, «Остров», Байрон уносится в предельную даль, в Океанию, к островам Таити, Тонга и Фиджи, куда позднее в действительности уедут окончить свою жизнь романтики наших дней, Стивенсон и Гогэн. А Шелли, все более и более погружаясь в умозрительные дали, делается к концу жизни настолько духовным, что его истинным отечеством становится Воздух и Океан. «Эрнани», драма Виктора Гюго, совершившая поэтический переворот во Франции, рисует испанца, и царственными влияниями рыцарской Испании насыщено все пышное творчество Гюго. Жерар де Нерваль уезжает в Египет и Сирию. Шатобриан поэтической мыслью уносится к американским индейцам, к течению многоводного Миссисипи. Ксавье де Местр живет в России и в диких местах Кавказа. Певцами Кавказа становятся два трагически-прекрасных наших поэта, Пушкин и Лермонтов. Испанец Эспронседа скитается между Лондоном и Парижем. Мицкевич из Польши и Франции уезжает в Турцию. Словацкий живет в Бретани, в Англии, уезжает на Восток, грезит Древним Египтом и создает в отрывке «Гелион-Эолион» поразительную поэму

перевоплощения. Гофман и Эдгар По, уже уходящие из романтизма в символизм наших дней, избирают духовной своей родиной художественную жуть, и никто никогда не узнал, где именно был Эдгар По, когда несколько лет он пропадал без вести.

Каждый романтик и в грезе, и в жизни мог бы применить к себе зачарованный стих Лермонтова: «Тучки небесные, вечные странники», или чеканное слово Байрона: «Пилигримы Вечности». Каждый истинный романтик должен быть путником, ибо только в путях и странствиях завоевываешь мир и себя, отталкиваешься от обычной черты, чтобы вступить в свежую тайну, в воздухе которой раскрываются новые цветы и поют и кличут необычные птицы, с иной окраской перьев, с иным размахом крыльев.

И тем, что мечта всегда уводит романтиков в новые страны, они делаются такими, что поэтический и жизненный лик их уводит людей к новым достижениям.

Пути людей суть строки в Летописи Мира, и красиво говорит об этом Новалис в своей философской сказке «Ученики в Саисе»: «Многообразными путями идут люди. Кто следит за ними и сравнивает, тот увидит, как возникают волшебные фигуры: фигуры, как бы принадлежащие к той великой тайнописи, которую увидишь всюду, на крыльях, на яичных скорлупах, в облаках, на снегу, в кристаллах и в каменных образованиях, в замерзших водах, в недрах и в наружном лике гор, в растеньях, в зверях, в людях, в светильниках неба, на пластинках смолы и стекла, когда к ним притронешься, в железных опилках вокруг магнита, в особенных сочетаниях случая. В них предчувствуется ключ этого волшебного письма, его язык, но предчувствие это не хочет уложиться ни в какие прочные формы. Это писание – аккорд из всемирной симфонии». Новалис продолжает: «О, если бы человек понял внутреннюю

музыку Природы и имел чувство для внешней гармонии. Но он едва знает, что мы вместе надлежим одному и ничто не может существовать без другого... Настоящий разгадчик тайнописи Природы, быть может, придет к тому, что заставит различные силы Природы создать одновременно красивые и полезные явления, он будет фантазировать на Природе, как на великом инструменте, и все же он еще не поймет Природу. Это задача естествоиспытателя, чтеца времен... Чтобы понять Природу, нужно внутренне заставить ее возникнуть во всей ее последовательности». Эти слова Новалиса являются настоящим предвозвещением Уоллеса и Дарвина, и их мог бы также сказать тот великий поэт, который был одним из самых ранних романтиков, создав «Вертера» и «Гёца», и в позднейшей своей жизни стал одним из первотворцов эволюционного учения, Гёте, тот гений, о ком наш Баратынский сказал:

С Природой одною он жизнью дышал,
Ручья разумел лепетанье.

Говоря о познании Природы, о точном усмотрении тайного ее лика, Новалис полагает, что эту задачу наилучше может выполнить лишь поэт, понимаемый им как провидец, как жрец, как человек совершенный. «Истинный поэт всезнающ, – говорит он, – он есть действительный мир в малом... Поэт понимает Природу лучше, чем научная голова... Поэзия разрешает чуждое существование в собственном... Природа имеет инстинкт Искусства, поэтому пустая болтовня, когда желают различать Природу и Искусство... Поэтов обвиняют в преувеличениях... а мне кажется, что поэты далеко еще не достаточно преувеличивают, они лишь смутно предчувствуют чару того языка (тайноведения) и играют фантазией лишь так, как ребенок играет

волшебным жезлом своего отца... Философия есть, собственно, тоска по отчизне, напряженное желание везде быть дома... Поэтический философ находится в состоянии абсолютного Творца... Поэзия есть истинно-абсолютная реальность. Чем поэтичнее, тем вернее...»

Совершенный человек в совершенной Природе – вот завет Новалиса. «Делаться человеком есть искусство, – говорит он.– Законченный человек должен как бы одновременно быть во многих местах и жить во многих людях... Человечество есть высшее чувство нашей планеты, нерв, которым это звено связано с верховным миром, глаз, который оно вздымает к небу... Мы сразу в Природе и вне ее... Мы с Невидимым связаны ближе, чем с Видимым... Дети Бога, мы Божеские ростки... Человек должен быть совершенным полноцельным самоорудием... Мир, во всяком случае, есть следствие взаимодействия между мною и Божеством. Все, что есть и происходит, – происходит из соприкосновения духов... Смерть есть романтизирующая основа жизни. Через смерть жизнь усилена... Смерть есть самопобеда, которая, как всякое самопревозможение, доставляет новое, более легкое существование... Вся наша жизнь – богослужение... У нас одно предназначение: мы призваны создать, образовать Землю... Человек есть некое Солнце, его чувства – его планеты...»

Еще два изречения из Новалиса, и будет совершенно закончен звездный мост от этого германского красивого певца вселенской любви к его английскому брату, поэту всеобожествления природы, Шелли. «Бог есть любовь», – говорит Новалис. «Любовь есть высшая реальность, первопричина... Любовь есть конечная цель мировой истории, аминь Вселенной».

Любовь есть основное начало Мировой Жизни в восприятии Шелли. Любовью проникнуто все его

воздушное творчество, любовь светит веками из его гениально-безумных голубых глаз. «Что такое любовь? – восклицает он. Спроси того, кто живет, что такое жизнь? Спроси того, кто полон веры, что такое Бог? Это – священное звено, связующее человека не только с человеком, но и со всем, что есть в мире... Есть красноречие в ропоте ветра, лишенного голоса, есть мелодия в журчании ручья и в шелесте осоки; непостижимым образом сочетаясь с какими-то движениями нашей души, эта музыка Природы возбуждает в нас безумный восторг, извлекает из глаз наших слезы мистической нежности в не меньшей мере, чем благородный энтузиазм забот о родном крае или голос любимого существа, чье пение звучит лишь для нас одних» («О Любви»). Так говорит о любви и ветре Шелли. А так говорит о том же Новалис: «Ветер есть движение воздуха, которое может обусловливаться различными внешними причинами, на не больше ли он, чем это, для одинокого, томленьем объятого сердца, когда шелестит он, пролетая мимо, веет из возлюбленных стран и тысячью смутных печальных звуков как бы разрешает тихую скорбь в одном глубоком напевном вздохе целой Природы?»

Струнные слова Шелли:

Любовь не прах, не золото, не глина,
Делить ее не значит отнимать
Она как ум. Кто хочет понимать,
Пред тем весь мир знакомая картина...
Она как свет фантазии живой,
Меж тысячью зеркал она блуждает,
В земле глубокой, в тверди голубой,
Сквозь бездну призм изменчиво блистает,
Безбрежный мир исполнен ей везде,
О ней во тьме звезда поет звезде...
Любовь равняет всех. Любя упорно,

Я в сладость этой истины проник
Я знаю, что червяк под глыбой дерна,
Любя, в своей любви как Бог велик.

Звуки золотого колокола, качающегося в голубой Вечности, строки, обрызганные звездной росой любви, магнетизм лунного света, уводящего душу в тайну, серебряные бубенчики мечты, рассыпавшиеся по весенним лугам, жаворонок, притянутый Солнцем, в полете поющий и в пении летящий, облако, которое меняется, но не умирает никогда, необъятный оркестр Океана, в котором хорошо утонуть, слиянье воедино вселенской любовности, поэзии и музыкальности, голубой цветок, ведущий в непознанные дали, к торжеству пения, музыкальное начало всего совершающегося, звук как основа Мира, звук как основа человеческой души, через любовь познавшей все, – это и много еще другого есть в глубоких созерцаниях и в мелодических напевах Шелли и Новалиса. Отсюда, дорогой лучей и тропинками внушений, разбег путей к лунному безумию музыки Шумана, к напевному шелесту колосьев и волн в созданьях Шопена, к слиянию поэзии, музыки, любви, боли и искупления в могучих и нежных разливах музыкальных огней колдующего Вагнера.

Угадав миротворческое значение ритма, мы у тайны мира. В музыкальную основу души смотрится Вечность.

Новалис и Шелли – два верховных гения романтики, оба сливающие красоту личности с красотой и полнозвучностью творчества, оба за краткую 29-летнюю жизнь создавшие как бы поэтический труд нескольких жизней, где-то в других воплощениях ими уже пережитых. И если о Шелли его друзья говорили: «Это не человек, а дух», о Новалисе сказал свое слово

Гёте: «Он еще не был императором, но живи он дольше, он им был бы».

Новалис и Шелли – два звездных стража романтического миросозерцания, и кто видел Казбек и Монблан, тот видел не только две сияющие горные вершины, но две цельные горные цепи, со всеми их пропастями, тропинками, горными долинами, крутыми отрогами и другими отъединенными, равноправно прекрасными горными вершинами. Быть может, не нужно видеть их все. Довольно двух. Довольно одной.

Необходимо только добавить, что в очарованном царстве Романтики логической неизбежностью является чрезвычайная любовь романтических поэтов к четырем лицам. Прометей, Фауст, Дон Жуан, Дон Кихот – четыре образа, притягивавшие к себе сердце романтиков, и особенно трое из названных первыми вызвали бесконечное число поэтических разработок. Прометей порванная преграда между Небом и Землей, Фауст – жажда беспредельного знания, Дон Жуан – жажда беспреградной любви, Дон Кихот – рыцарь мечты в бесконечном стремлении.

В человеческой душе два начала: чувство меры и чувство внемерного, чувство безмерного. Древняя Эллада – это чувство меры. Пафос Романтики и творческий огонь нашей Современности – это чувство внемерного, беспредельного. Мы хотим пересоздания всей Земли, и мы ее пересоздадим, так что все на Земле будут красивы, и сильны, и счастливы. Это вполне возможно, ибо Человек есть Солнце, и его чувства – его планеты.

III. Тургенев

От любимой женщины в сладкую минуту кудесник русской поэзии получил на память талисман.

Там, где море вечно плещет
На пустынные скалы,
Где луна теплее блещет
В сладкий час вечерней мглы.

От графини Воронцовой, вызвавшей к жизни несколько прекраснейших страниц русской поэзии, Пушкин получил в дар заветный перстень с восточными письменами. Когда Пушкин был убит, Жуковский снял этот перстень с остывшей руки волшебника, и в свой час он достался Тургеневу, и в свой час от лучшего чарователя русской художественной прозы этот перстень достался Полине Виардо, любимой женщине. От женщины к поэту и от поэта к женщине круг завершился. Восточные письмена талисмана осуществили свою ворожбу не напрасно.

Слово о Тургеневе должно начинаться нежным женским именем и золотым именем Пушкина. Женщина была основным верховным божеством всего его творчества, а если создатель русского стиха Пушкин был первым поэтом, превратившим русские слова в крылья бабочек и крылья птиц и заставившим размерные русские строки сверкать золотом и звенеть серебром, Тургенев был первым поэтом русской прозы, равного которому доныне еще не было, он воспринял все пушкинское золото и сковал серебряные звоны еще более певучие, он был не только учеником Пушкина, но и его родным братом, его равноправным наследником, и путь от Пушкина к утонченной и нежной поэзии наших дней идет не столько через Лермонтова и Некрасова, не столько даже через строго-ночного Тютчева и звездно-заревого Фета, сколько именно через Тургенева, воспитавшего наш язык, нашу многопевную мечтательность, научившего нас понимать, через красивую любовь, что лучшая и самая верная

сущность, благовеющая в художественном творчестве, есть Девушка-Женщина.

Волшебное чарование, связавшее колдовским побратимством Пушкина и Тургенева, сказывается не только в том, что они являются двумя самыми лучезарными русскими писателями XIX века, определившими своим широким и глубоким влиянием судьбы русской прозы и русского стиха, но и в том еще, что между судьбой и личностью Пушкина и судьбой и личностью Тургенева существуют поразительные общности и сходства.

Пушкин был наполовину африканец, наполовину славянин, ариец. Тургенев был наполовину монгол, наполовину славянин, ариец. Но какой русский, какой отличительно русский и тот и другой. Из всех наших поэтов Пушкин самый русский, наиболее постигающий свойства русского языка и судеб России. Из всех наших прозаиков Тургенев самый русский, великорусский писатель, лучше других постигший серебряный речной разлив родной нашей речи и лучше всех других понявший основные черты нашего народа и прихотливый ход нашей истории.

Главенствующее свойство африканца – пламенность, будь это солнечная пламенность египтянина, возлюбившего Солнце как отца и бога, или огненная пламенность мавра, жаждущего любви и завоеваний, или подземно-огненная пламенность негра, все чувства которого горячи, как почва около кратера. Главенствующее свойство монгола – чувственная страстность, степная тоска и фатализм, судьбинность. Верховное свойство арийца – всемирный огляд, всебожие природы, всечеловечность, и в славянском лике арийство есть разметанность судьбы, тоска и песня. Все поименованные черты мы находим в сходных узорах как в

жизни и личности Пушкина, так и в жизни и личности Тургенева.

Но и в творчестве Пушкина и в творчестве Тургенева берет верх ощущенье гармонии, которое правит их страстными разметанными душами, как мудрый дирижер правит многоликим оркестром, не дозволяя ни флейте слишком громко рыдать, ни скрипкам затопить всю музыку в созвонных волнах расплавленного алмаза.

Четыре стихии владеют судьбою и Пушкина и Тургенева: Россия, Природа, Женщина, Красота. Я разумею красоту гармонического созерцания, красоту художественного творчества. В жизни Тургенева эти четыре стихии сказались благодаря завершенности его земного удела более четко и определительно, они более явственно приводят художника к четырехкратному одиночеству.

Пушкин в детстве учится правильной русской речи и сокровищам сказочного мира у няни, но в юности весь приникает к европейскому миру через посредство французской литературы. Тургенев обучается русской речи и русской грамоте у дворового человека, но в юности весь погружается в европейский мир через немецкую философию, немецкую литературу, итальянское искусство. Юный Пушкин пишет знаменитое стихотворение «Деревня», в котором дышит все очарование деревенской глуши и гремит пламенное проклятие ненавистному рабству. Эти стихи доходят до царских ушей и в смысле влияния имеют определенную историческую ценность, кроме чисто поэтической. Пушкин пишет несчетный ряд поэтических созданий, в которых выступает его глубокая любовь к России и проникновенное ее понимание. Но еще в цветущую пору своей жизни, тщетно порываясь к западному миру, он с горькими проклятиями будет скорбеть о том, что его угораздило родиться в России, и

воскликнет: «Поэт, не дорожи любовию народной... Ты царь. Живи один». Юный Тургенев, весь насыщенный несравненной прелестью русской деревни, русской усадьбы и весь пронзенный ощущением проклятия барству и жалостью к крестьянской доле, пишет «Записки охотника», тоже дошедшие до царских ушей и проведшие глубокую историческую полосу. Позднее он развернет блестящую по изобразительности, исчерпывающую картину русской жизни, и каждого нового его произведения будет с нетерпением ждать вся читающая Россия, от него научающаяся познавать самое себя. Но, откинутый русской грубостью и русским кривопониманием, отброшенный туда, на чужбину, на Запад, он всю жизнь будет томиться этой разорванностью, и не однажды, пронзенное острием одиночества, его измученное сердце воскликнет: «Довольно!»

Пушкин с первых стихов своих становится певцом девственной прелести, женского очарования. Такие его стихотворения, как «Ненастный день потух», «Ночь», «На холмах Грузии», останутся в русской поэзии непревзойденными образцами вознесения женщины и любви. В повествовательном отрывке «Рославлев» Пушкин говорит примечательные слова, которые хорошо бы знать всем русским на память: «Нет сомнения, что русские женщины лучше образованы, более читают, более мыслят, нежели мужчины, занятые Бог знает чем». Создавая решающую жизненную встречу мужчины и женщины, Пушкин, конечно, возносит женщину в ущерб мужчине, и его поэтическая Татьяна, конечно, неизмеримо правдивей и красивее, чем довольно пустой Онегин. Но в личной судьбе своей восхвалитель женского лика Пушкин обманут любимой женщиной и погибает из-за нее, пронзенный пулей. Тургенев еще более заворожен женской чарой, чем Пушкин. Он восхваляет девически-женское очарование в юношеских

своих поэмах «Параша» и «Андрей», он восхваляет его в предсмертных своих произведениях «Стихотворения в прозе» и «Клара Милич». Для Тургенева ничего в мире нет более удивительного и божески-несомненного, чем зацветающее любовью сердце девушки, чем торжествующая в любви чара женщины. Он создал столько пленительных девических и женских ликов, что, когда в жизни мы полюбим кого-нибудь, мы невольно сближаем свою любимую с той или иной тургеневской героиней. Но в жизни Тургеневу не суждено было узнать полноту счастья с любимой женщиной. Кто его любил – тех он не полюбил; кому он всю душу отдал – та бросила ему несколько цветков радости и блаженства, но не дала ему счастья, не ответила его душе, и, если не пробила его сердце пулей, все равно его сердце, по его же слову, в нем заживо умерло.

Пушкин, определяя смену поколений, игру жизни, называет Природу равнодушной. Он чувствовал ее равнодушие четко. Но, будучи по нраву весьма лирическим, он играет в мифы, он вызывает домового, водяного, лешего, бесов, русалок. Тургенев смотрит на Природу более глубоким взглядом, более философически и неизменно, за красотой созерцания приходит к леденящему ощущенью мирового сиротства человека, мирового его одиночества в игре стихий, в беспредельных провалах пространства и времени. Если в 1856 году он пишет из села Спасского графине Ламберт, что «должно учиться у природы ее правильному и спокойному ходу, ее смирению», – если еще раньше, в 1847 году, в строках «Кроткие льются лучи» он зорко утверждает:

Но природа во всем, как ясный и строгий художник,
Чувство меры хранит, стройной верна простоте,

он же вполне точно сознает: «Несомненно и ясно на земле только несчастье» (Письма к графине Е. Е. Ламберт. Москва, 1915; Париж, 1860). В 1862 году он пишет Ламберт: «Не страшно мне смотреть вперед. Только сознаю я совершение каких-то вечных, неизменных, но глухих и немых законов над собою, и маленький писк моего сознания так же мало тут значит, как если б я вздумал лепетать «я, я, я....» на берегу невозвратно текущего океана... Брызги и пена реки времен!»

Тургенев говорит тут же: «... и если я не христианин, это мое личное дело, пожалуй, мое личное несчастье». Эти слова нужно принимать с оговоркой. Тургенев не считал себя христианином, но он и не отвергал христианства, он просто не прикасался к нему ни острым лезвием сомневающегося рассуждения, ни слабым касанием еле теплящегося благоговейного чувства. Считая точно установленными границы человеческого познания, Тургенев был умственно слишком честен, чтоб найти для себя религиозно-философское успокоение в таких сомнительного достоинства умозрительных находках, как демонические христианские порывы Достоевского или пресное поддельное буддийское христианство Толстого. Но религиозно-философский агностицизм, его глубоко грустное и великое «Не знаю», быть может, так же ценны в очах Всезрящего, как молитва молящегося и исступленность боговдохновенного. И если быть кротким, быть добрым, быть прямодушно-честным, быть благородным и щедрым, и прощать обиды, и свято лелеять свое однажды выбранное дело, и главное – любить, любить, любить, даже когда тебя не любят, даже когда топчут твое сердце, если все это означает быть христианином – Тургенев христианином был, и неизмеримо больше, чем два великих его сверстника, только что названные.

Не устремляясь в небо, которое он ощущал лишь как холодную синеву, созданную нашим зрением, Тургенев проникновенно любил все земное. В детстве, в юности, в полдень, в последний вечер. Словами своей юношеской поэмы «Старый помещик» он мог бы сказать о себе:

И в голове моей седой
Нет места мысли неземной.

Но каким небесным очарованием озарено все его любимое земное. В 1847 году он пишет мадам Виардо: «Ах, я не выношу неба! Но жизнь, ее реальность, ее капризы, ее случайности, ее привычки, ее быстро преходящую красоту... все это я обожаю. Я прикреплен к земле. Я предпочитаю созерцать торопливые движения влажной лапки утки, которою она чешет себе затылок на краю лужи, или длинные и блестящие капли воды, медленно падающие с морды недвижной коровы, только что напившейся из пруда, куда она вошла по колена, – всему, что можно видеть в небе». Это та острота чисто детского, первобытного, непосредственного мироощущения, которое знает самый пронзающий восторг, пока светит Солнце и радость, и тут же проникается самым острийным терзанием страха, темноты и одиночества, когда раскрываются холодные пещеры ночи. Отрывок из юношеской поэмы «Андрей» живописно изъясняет такое душевное состояние:

Садится солнце. Воздух дивно тих,
И вздрагивает ветер, словно сонный.
Окошки темных домиков на миг
Зарделись и погасли. Отягченный
Росой внезапной, стынет луг. Затих
Весь необъятный мир. И благовонный
Прозрачный пар понесся в вышину...

И небо ждет холодную Луну.
Вот замелькали звезды... Боже мой!
Как равнодушна, как нема природа.
Как тягостны – стремительной, живой
Душе – ее законная свобода,
Ее порядок, вечность и покой.
Но часто, после прожитого года
В томительной, мучительной борьбе,
Природа, позавидуешь тебе.
Строка в стихотворении «Вечер» как бы добавляет:
Природа нам дает таинственный урок.
Но этот урок – страница из учебника печали:
В моей душе тревожное волненье:
Напрасно вопрошал природу взором я;
Она молчит в глубоком усыпленье,
И грустно стало мне, что ни одно творенье
Не в силах знать о тайнах бытия.

От Природы, как слишком большой сущности, как чего-то безмерного, в чем трудно найти уют, художник, естественно, перебрасывается к тому, что звучит самым родным, манит самой желанной радостью, – к своему родному народу. Но тут немедленно нежный, но вместе и твердый дух Тургенева, его прямодушная честность, его объемлющая умственная требовательность, его самостоятельный дух, его творческий почин болезненно сталкиваются со всем русским.

Жутко, будучи русским, быть вынужденным говорить о русских. Если в русской душе много достоинств, нет, кажется, в мире таких недостатков, которых не было бы в русском характере. Русские ленивы, несамостоятельны, самомнительны, неправдивы, грубы. Они пляшут на чужих похоронах, да и на своих собственных. Они перенимают свои празднества у чужих народов. Они любят иноземное иго. Еще ученый серб Крижанич в XVII столетии отметил в старой Московии эту черту и назвал ее чужебесием. Русский легко

обращается с честным словом, не выполняет данного обещания слишком часто, слишком легко. Благородный нрав Тургенева был всегда противоположностью перечисленным чертам.

Еще Белинский, лично его знавший в его юности, писал о нем: «Раз в споре Тургенев сказал мне: «Да что ваш русский человек, который не только шапку, а и мозг-то свой носит набекрень». И Белинский прибавляет: «Вообще Русь он понимает. Во всех его суждениях виден характер и действительность. Он враг всего неопределенного». После таких выразительных слов строго неизбежными являются нижеследующие отзывы Тургенева о России и русских, относящиеся к разным датам и взятые мною из разных мест.

В поэме «Параша», в 1843 году, Тургенев восклицает (строфа 29-я):

Мы за границу ездим, о, друзья,
Как казаки в поход... Нам все не в диво:
Спешим, чужих презрительно браня,
Их сведений набраться торопливо...
И вот твердим, без страсти и огня,
Что и до нас дошло, но что, быть может,
Среди борений грозных рождено,
Что там людей мучительно встревожит,
Что там погубит сердце не одно...
Не перейдя через огонь страданья,
Мы не узнаем радостей познанья,
И наконец, с бессмысленной тоской,
Пойдем и мы дорогой столбовой.

В 1857 году Тургенев пишет графине Ламберт из Рима: «Русских здесь немного, по крайней мере я знаком с немногими. Да и Бог с ними. Из 50 заграничных русских лучше не знакомиться с 49-ю». В этом же году он пишет к ней опять: «Я здесь, в Риме, все это время

много и часто думаю о России. Что в ней делается теперь? Двинется ли этот Левиафан (подобно английскому) и войдет ли в волны или застрянет на полпути? Ленив и неповоротлив русский человек и не привык ни самостоятельно мыслить, ни последовательно действовать. Но нужда – великое слово – поднимет и этого медведя из берлоги». В 1859 году он пишет к ней же: «Если Вам не тяжело писать на этом языке (т. е. по-русски), – пишите: Вы увидите, что, хотя он не имеет бескостной гибкости французского языка, – для выражения многих и лучших мыслей он удивительно хорош по своей честной простоте и свободной силе. Странное дело. Этих четырех качеств, честности, простоты, свободы и силы, нет в народе, а в языке они есть... Значит, будут и в народе». Через два года, в знаменательный 1861 год, определивший начало новой русской истории, он пишет к ней же: «История ли сделала нас такими, в самой ли нашей натуре находятся залоги всего того, что мы видим вокруг себя, – только мы действительно продолжаем сидеть, в виду неба и со стремлениями к нему, по уши в грязи. Говорят иные астрономы, что кометы становятся планетами, переходя из газообразного состояния в твердое; всеобщая газообразность России меня смущает и заставляет меня думать, что мы еще далеки от планетарного состояния. Нигде ничего крепкого, твердого, нигде никакого зерна; не говорю уже о сословиях, в самом народе этого нет».

Горький напиток – эти слова, но мы должны этот напиток испить. Эти слова Тургенева, от которых нас отделяет половина столетия, и почти столетие, все еще продолжают оставаться мучительной правдой, как горестным пророчеством, а не только минувшей правдой являются желчные и ясновидящие слова Потугина в «Дыме», в этой самой блестящей из всех музыкальных и

живописных симфоний Тургенева: «Привычки рабства слишком глубоко в нас внедрились; не скоро мы от них отделаемся. Нам во всем и всюду нужен барин; барином этим бывает, большей частью, живой субъект, иногда какое-нибудь так называемое направление над нами власть возымеет... Почему, в силу каких резонов мы записываемся в кабалу, это дело темное; такая уж, видно, наша натура. Но главное дело, чтоб был у нас барин. Ну, вот он и есть у нас; это, значит, наш, а на все остальное мы наплевать. Чисто холопы. И гордость холопская, и холопское уничижение. Новый барин народился, старого долой. То был Яков, а теперь Сидор; в ухо Якова, в ноги Сидору. Вспомните, какие в этом роде происходили у нас проделки. Мы толкуем об отрицании как об отличительном нашем свойстве; но и отрицаем-то мы не так, как свободный человек, разящий шпагой, а как лакей, лупящий кулаком, да еще, пожалуй, и лупит-то он по господскому приказу. Ну-с, а народ мы тоже мягкий; в руки нас взять не мудрено».

Если мы сопоставим эти горькие слова тургеневского героя, в которых слишком ясно чувствуется священный гнев самого Тургенева, с ясновидящими словами, сказанными им в одном из писем к мадам Виардо в 1847 году, мы поймем, как этот, с виду мягкий и действительно мягкий, но в то же время твердого духа человек, ибо Тургенев был рыцарь, – как он бесконечно и беспрерывно должен был страдать среди существ без позвоночника. Вот эти замечательные слова: «Жизнь раздробилась; теперь нет более общего великого движения, за исключением, быть может, промышленности, которая – если смотреть на нее с точки зрения прогрессивного подчинения стихии природы человеческому гению – сделается, быть может, освободительницей и обновительницей людского рода... А раз социальная

революция совершится – да здравствует новая литература!»

Эти драгоценные строки звучат в наши дни, в великие, хоть и мучительные, хоть и взметенные дни бурь и гроз, совершенно особенно и должны быть внесены как убедительная поправка и дополнение к бесконечным рассуждениям о Тургеневе как постепеновце.

Говорил ли когда-нибудь кто-нибудь о Тургеневе верно, когда он жил своей одинокой жизнью? Был ли у него какой-нибудь истинный друг, стоявший с ним вровень? Я этого не думаю. Или Белинский его понимал, который учил русскую публику, но которого юный Тургенев научил понимать философию Гегеля, да и не только Гегеля? Или Некрасов, который так жестоко обошелся с ним в жизни, но которого Тургенев простил? Или Достоевский, который, как исступленная пифия, видел лишь свои дымные видения, но не мог видеть лучезарно-спокойных, божески-размерных шествий теней, вызванных к жизни творческою дланью солнечного полубога? Или Толстой, который не мог встретиться с Тургеневым, чтоб не начать его мучить и вызывать на ссору, ибо их души были непримиримо разны? Нет, они не видели всей великой красоты этого благороднейшего художника, этого ваятеля девических и женских ликов, которые живут на страницах Тургенева, как цветы лугов и садов, вызванные Солнцем, но как цветы неотцветающие.

Серебряный великан из волшебной сказки. Так, кажется, звал его Гюи де Мопассан, знавший и любивший Тургенева. В нескольких словах французского художника, – как и Тургенев, пережившего в личной жизни глубоко запрятанную трагедию, – дышит истинная любовь и настоящее понимание. Да, овеянный серебряным светом сказочный гигант это был, и кто же мог быть ему другом. Его друзьями были творчески им

созданные призраки, ибо он весь ушел в искусство, весь ушел в ощущение вечности единственного мига. Тут дорога к бессмертным созданиям, и тут же серый путь в личное одиночество. Тургенев говорит («Довольно»): «Красоте не нужно бесконечно жить, чтобы быть вечной, – ей довольно одного мгновенья. Так; это, пожалуй, справедливо – но только там, где нет личности, нет человека, нет свободы. Поблекшее крыло бабочки возникает вновь и через тысячу лет тем же самым крылом той же самой бабочки; тут строго, и правильно, и безлично совершает свой круг необходимость... но человек не повторяется, как бабочка, и дело его рук, его искусства, его свободное творение, однажды разрушенное, – погибает навсегда... Ему дано «творить»... но странно и страшно вымолвить: мы творцы... на час, – как был, говорят, калиф на час». Эти слова – печать великой душевной боли, но творческий дух, владеющий гением, не позволил Тургеневу закрепиться на этом отрицательном острийном уступе. Поймают соловья, он будет петь и в клетке, далеко от родимых лесов, отделенный от родной, от душистой весны. И еще за два года до смерти этот несравненный соловей, сладкоголосый среди всех птиц, повинуясь велению Вечности, живущей в сердце всех крылатых, спел «Песнь торжествующей любви», и ни у одного народа нет такой красивой песни. И еще за год до смерти этот волшебный сказочник, сказками своими давший неумирающую жизнь всему рассказанному, спел такой гимн русскому языку, что он будет жить до тех пор, пока будет жить русский язык, значит, всегда.

Говоря о любимом, хочешь говорить еще и еще. И много еще я хотел бы сказать, говоря о Тургеневе. Мне хотелось бы рассказать, как я полюбил его впервые, когда мне было 11 лет, как немного позднее он стал любимым писателем моей ранней юности, самым

большим, самым дорогим учителем и другом юношеских зорь сердца и ума. Но я не буду сейчас об этом говорить.

Я хочу повторить прекрасный образ, вызванный Мопассаном. Тургенев был великан с серебряной головой. Он пришел из сказки и принес нам волшебную сказку, более действительную, чем наша действительность, потому что в красивых страницах он закрепляет те мгновенья нашей жизни, когда плоскодонный поток вдруг становится глубинным и в нас возникает жизнь жизни. Мне хочется добавить, что Тургенев – это вся чистота чувства, расцвеченное мгновенье, заветная лесная опушка, душистый сад любви, музыка души, перекличка сердец, медвяная полногласность чувства, которое, дрогнув, увидело зарницу и зарю своего возникновенья. Тургенев – безупречный лик художника, воспринявшего Искусство как одну из граней Вечности, равноправную и равноценную среди трех-четырех основных граней человеческого духа, и такое служенье Искусству стоит наравне с высоким личным подвигом или молитвенным благоговением. И еще. Среди всех великих писателей, не только русских, но всего мира, Тургенев занимает свое особое, свое единственное место как лучший восхвалитель девического и женского лика. Он самый верный друг женщины.

В одном из рассказов Тургенева няня кому-то говорит: «Вся жизнь твоя по огню бежит». Эти слова применимы к самому Тургеневу. На протяжении всего творчества тонко чувствующая, зоркая и нежная душа Тургенева все время бежит по изменчивым, танцующим, пляшущим, поющим, перепархивающим, зацветающим пламеням, по звенящим остриям и радужному мосту первовести чувства. И если глубинно верна древняя скрижаль Гераклита, гласящая: «А рулевой всего молния», нужно понять, что в человеческом сердце

молния всего вернее возникает, когда он мгновенно полюбит. И художник, который от первоначальных лет до последних своих зорь не уставал рассказывать встречу сердец, был всегда готов откликнуться звонким сердцем на зов другого сердца, ощутившего свою крылатость, этот художник есть священная кадильница, благовонно курящаяся перед Вечным, он живой факел и тот глубокий колодец, в который глядится Бог.

Именем женщины и именем поэта начал я мое слово о Тургеневе. Пусть же оно и кончится воззваньем к женскому очарованию, в текучей размерности поэтических строк, которые возникли внезапно, когда, в сентябрьские дни, начав перечитывать Тургенева целиком, чтоб взглянуть, все ли я люблю его, как любил в юности, я вдруг увидал, что я люблю его не так, как в юности, а гораздо сильнее.

Тургенев первая влюбленность,
В напевном сердце нежный строй,
Где близь уходит в отдаленность,
Заря целуется с зарей.
Зима наносит снег. Но лишь я
Припомню «Первую любовь»,
Промолвлю «Ася» и «Затишье»,
Себя я вижу юным вновь.
Дремотный старый сад. Сирени.
Узор крестообразный лип.
Зовут заветные ступени.
Садовой дверцы дрогнул скрип.
Они пройдут перед очами,
Сплетенья призраков таких,
Что будешь днями и ночами
Их вспоминать и звать в свой стих.
На утре дней душа открыта,
Прикосновений жаждет новь,
И вот тропинка в ней пробита
Через любовь к любви – в любовь.

Душа нуждается в уроке,
И мир заманчив и не хмур,
Когда читаешь сердцем строки,
Что спел грустящий трубадур.
Душа ребенка, лебеденок,
Предощущает свой полет,
А старший лебедь в кличе звонок,
И в синеву душа плывет.
Блажен, кто в золото лобзанья
Возвел земнистую руду
И женское очарованье
Предуказал нам как звезду.
Кто нас увлек в такие дали,
Где все есть радость и печаль,
И мысль заветные скрижали
Взнесла в небесную эмаль.
Благословен учитель чувства,
Нам показавший образец.

1919–1920

На высоте

Нет, не хочу я вечно плакать. Нет, я хочу быть свободным. Свободным от слабостей должен быть тот, кто хочет стоять на высоте.

Как будешь стоять над пропастью, когда голова твоя кружится? Как взойдешь на вершину горы, когда жаль расстаться с сельским домиком?

Ничего не возьму я с собой, ни о ком я не буду жалеть. Я должен стремиться все выше и выше – туда, где лазурь не запятнана, где ветер свободен.

Так высоко хочу я взойти, чтобы даже тучи небесные были внизу подо мной.

Долго я плакал и не мог найти себе счастья среди людей. И понял я, что нет высшего счастья, как понять благородство несчастия.

Людям нужно счастье, а не тем, кто хочет быть отмечен среди людей.

До рассвета покинул я долину и в горах приветствую рассвет.

Прозрачен чистый воздух, дышится легко, шумят водопады.

Медленным тяжелым взмахом коршун шевелит могучими крылами и спокойно глядит с высоты. Он найдет себе добычу: он сумел взлететь высоко – как же ему не найти себе добычу!

Уверенно ступает по узкой тропинке мой конь, привыкший к горам. Скоро я с ним расстанусь и пойду один туда, где даже и он, мой испытанный конь, мне был бы помехой.

Еще зеленеет развесистый бук; еще пестреет белый шиповник, сменяясь золотыми азалиями. Но чем выше, тем меньше растительной жизни. Вот уже пошли низкорослые дубы с своими шероховатыми стволами.

Где-то звучит рожок. Как звонко разносится полная свежести горная мелодия! Он зовет куда-то, этот

певучий поток отчетливых звуков. Слабым он напоминает о доме, покинутом внизу, сильным он поет о неизведанной свободе, манит вдаль от будничных забот и наслаждений.

До рассвета покинул я долину и в горах приветствую рассвет.

Наедине с самим собой я понял многое, что раньше мне было неясно.

И многое снова и снова открывается взору при каждом повороте горной тропинки. Подниматься на высоту – значит, быть выше самого себя. Подниматься на высоту – это возрождение.

И знаю, нельзя быть всегда на высоте. Но я вернусь к людям, я спущусь вниз, чтобы рассказать, что́ я видел вверху.

В свое время я вернусь к покинутым, а теперь – дайте мне на мгновенье обняться с одиночеством, дайте мне подышать свободным ветром!

На заре

Ты, солнце святое, гори...

Мои первые шаги, вы были шагами по садовым дорожкам, среди бесчисленных цветущих трав, кустов и деревьев. Мои первые шаги первыми весенними песнями птиц были окружены, первыми перебегами теплого ветра по белому царству цветущих яблонь и вишень, первыми волшебными зарницами постигания, что зори подобны неведомому Морю и высокое солнце владеет всем. Мои первые шаги в мире поэтическом, вы были осмеянными шагами по битому стеклу, по темным острокрайним кремням, по дороге пыльной, как будто не ведущей ни к чему. Мои первые шаги, вы были шагами среди цветов и песнопений, в отъединении ненарушимом.

Я начал писать стихи в возрасте десяти лет. В яркий солнечный день они возникли, сразу два стихотворения, одно о зиме, другое о лете. Это было в родной моей усадьбе Гумнищи, Шуйского уезда, Владимирской губернии, в лесном уголке, который до последних дней жизни буду вспоминать, как райское, ничем не нарушенное радование жизнью. Но первые мои стихи были встречены холодно моей матерью, которой я верил более, чем кому-либо на свете, и до шестнадцати лет я больше не писал стихов. Опять придя, опять стихи возникли в яркий солнечный день, во время довольно долгой поездки среди густых лесов.

Стихи плясали в моей душе, как стеклокрылые стрекозы-коромысла, и я сразу мысленно написал с десяток стихотворений и читал их вслух моей матери, которая ехала на тройке вместе со мной и которая на этот раз смотрела на меня после каждого стихотворения восхищенными, такими милыми глазами. Из всех людей моя мать, высокообразованная, умная и редкостная женщина,

оказала на меня в моей поэтической жизни наиболее глубокое влияние. Она ввела меня в мир музыки, словесности, истории, языкознания. Она первая научила меня постигать красоту женской души, а этой красотою, – полагаю, – насыщено все мое литературное творчество. Совсем иное сильное влияние, – и, может быть, еще более заветное, – оказал на меня отец, необыкновенно тихий, добрый, молчаливый человек, ничего не ценивший в мире, кроме вольности, деревни, природы и охоты. Не сделавшись сам охотником – с ним, еще в самом начальном детстве, я глубоко проник в красоту лесов, полей, болот и лесных рек, которых так много в моих родных местах.

Первые самые сильные воспоминания порядка литературного на меня оказали народные песни. Русские народные сказки, стихи Пушкина, Лермонтова, Баратынского, Кольцова, Никитина, Некрасова, – немного позднее – Жуковского.

Первая повесть, прочитанная мною на шестом году жизни, была какая-то полусказочная повесть из жизни океанийцев, но я помню лишь, что книжечка была тонкая и в синем переплете и в ней были картинки очень желтого цвета, одна картинка изображала коралловые острова, покрытые пальмами, – и я так ее запомнил, что, когда в 1912 году впервые увидел коралловые острова в Тихом океане, приближаясь к Тонга, Самоа и Фиджи, я вздрогнул и в каком-то запредельном свете почувствовал себя в усадьбе Гумницы пятилетним ребенком.

Кончая гимназию во Владимире Губернском, я впервые лично познакомился с писателем, – и этот писатель был не кто иной, как честнейший, добрейший, деликатнейший собеседник, какого когда-либо в жизни приходилось мне встречать, знаменитейший в те годы /1895–1896/ повествователь Владимир

Галактионович Короленко. Перед его приездом во Владимир, в гости к инженеру М.М.Ковальскому и его жене А.С.Ковальской, я дал А.С.Ковальской, по ее желанию, тетрадь моих стихов для прочтения. Это были стихи, написанные мною главным образом в возрасте 16–17 лет. Она передала эту тетрадь Короленко. Он увез ее с собой и позднее написал мне подробное письмо о моих стихах. Он указал мне на мудрый закон творчества, который в ту пору юности я лишь подозревал, а он четко и поэтически выразил так, что слова В.Г.Короленко навсегда врезались в мою память и запомнились чувством, как умное слово старшего, которого должно слушаться. Он писал мне, что у меня много красивых подробностей, частностей, успешно ухваченных из мира природы, что нужно сосредоточивать свое внимание, а не гоняться за каждым промелькнувшим мотыльком что никак не нужно торопить свое чувство мыслью, а надо довериться бессознательной области души, которая незаметно накопляет свои наблюдения и сопоставления, а потом внезапно все это расцветает, как внезапно расцветает цветок после долгой невидной поры накопления своих сил. Это золотое правило я запомнил и памятую ныне. Это цветочное правило нужно было бы, ваятельно, живописно и словесно занести над входом в ту строгую святыню, которая называется – Творчество.

Чувство признательности велит мне сказать, что Владимир Галактионович кончил письмо свое ко мне словами: «Если вы сумеете сосредоточиться и работать, мы услышим от вас со временем нечто незаурядное». Нужно ли говорить, какой хлынул в мое сердце восторг и поток чаяний от этих слов Короленко.

Судьба дала мне много возможностей проверить мою решимость и мое упорство. Овладев еще в молодости, в юности, языками немецким, французским,

шведским, норвежским, итальянским, английским для радости чтения поэтов этих стран в подлиннике, я напечатал первую книгу стихов «Сборник стихотворений» в Ярославле в 1890 году. Она вызвала насмешки моих товарищей-студентов и той красивой Мелитты, во имя которой в этом же году я чуть не простился навсегда с Землей. Благословение моего вечера за это прекрасной Мелитте и моим товарищам. Когда на твою святыню посягают и близкие твои становятся твоими врагами, в душе, наделенной зачатками силы и дара, вырастает такая железная воля, вспыхивает такой неугасимый костер, что малая силочка становится мощью, а застенчивый юноша начинает впервые понимать, что значит слова – обет, одиночество, инок, рыцарь, неприкосновенность.

Один, голодая, имея нравственную опору лишь в профессоре Николае Ильиче Стороженко, который гостеприимно принимал меня и руководил моими изучениями истории европейских литератур, я перевел, а Прянишников, или, точнее, П.П.Кончаловский, напечатал книгу норвежского критика Г.Иегера о Генрике Ибсене, что был тогда наибольшим моим любимцем, с его «Быть самим собой».

Цензура арестовала эту книгу и сожгла. Мое начало – пожар. Что ж, хорошая рама для поэтических зорь. Н.И.Стороженко, к коему чувства мои – сыновняя любовь и признательность, ибо он поистине спас меня от голода и, как отец сыну, бросил верный мост, выхлопотал для меня у К.Т.Солдатенкова заказ перевести «Историю скандинавской литературы» Горна-Швейцера и, несколько позднее, двухтомник «История итальянской литературы» Гаспари.

Третьим другом моих первых шагов в литературе был наш великолепный москвич, знаменитый адвокат, князь Александр Иванович Урусов. Он напечатал мой

перевод «Таинственных рассказов» Эдгара По и громко восхвалял мои первые стихи, составившие книжки «Под северным небом» и «В безбрежности», когда мои первые попытки создать стих, основанный на музыке, сделавшийся к концу 90-х и началу 900-х годов общепринятым в русской поэзии, вызвал весьма дружные взрывы смеха в так называемой критике и в кругах постно умствовавших московских и петербургских интеллигентов.

Я вспоминаю ласково еще одного юного поэта тех дней /1894–1895/, Валерия Брюсова. Его парадоксальность крепила и радовала мою собственную парадоксальность. Его огромная любовь к стиху, и вообще художественному и умному слову, меня привлекала к нему, и мы три года были друзьями-братьями.

Первые мои стихи были напечатаны в декабре или ноябре 1885 года в «Живописном обозрении». Но я кончал тогда гимназию, и классный наставник запретил мне печататься. Первое стихотворение, обратившее на мое имя внимание изрядное, был перевод поэмы Шелли «Мимоза», напечатанный в «Вестнике Европы».

Первые стихи моего «Северного неба» обусловили мое знакомство и длившуюся много лет поэтическую дружбу с Миррой Лохвицкой. Светлые следы моего чувства к ней и ее чувства ко мне ярко отобразились и в моем творчестве, и в творчестве ее. Первые мои шаги в области словесного созидания завершились моей любовью к Екатерине Алексеевне Андреевой-Бальмонт, с которой осенью 1896 года я уехал во Францию, в Испанию, в Голландию, в Англию, в Италию, где, предавшись изучению искусства и целого ряда наук, я закрепил на всю жизнь то, что было начато в тихой деревеньке пятилетним ребенком.

Мне хочется сказать для ободрения моих юных поэтических братьев, которые, конечно, где-то у меня

есть, что писатель так же не может без платы за свой труд и за проявления своего дара, как Дон-Кихот – быть добрым странствующим рыцарем. Дон-Кихоту приходилось, однако, не раз очень трудно в этом тернистом вопросе.

Что до меня, первую свою книгу я напечатал за свой счет, не получив за нее ничего, кроме обид, и сжег ее. Вторую книгу сожгла цензура. Первое, после этого напечатанное, стихотворение «Цветок» было помещено в московском журнале «Артист», и за него мне уплатили четыре рубля, извозчик же при сем случае стоил мне рубль. В этом роде гонорары мои огорчали меня долгое время.

Когда же я подумаю, что мне, на круг беря, платят ныне за мой труд и дар, я вижу, что первые мои шаги все продолжаются. Ну, и что ж? Неужели соловей и жаворонок, оттого что они серые, а не красные и не бархатно-зеленые, как попугаи, – пожалеют, что Небо велело им петь Солнце и Луну? Не думаю.

И еще я полагаю, что в самом серьезном и глубоком смысле мои первые шаги все продолжаются и ныне. Мы живем в Голубом Замке Неба и не помним, как мы вошли в эту жизнь, и не знаем, как выйдем. Но если Кальдерон верно сказал, что «Жизнь есть сон», он очень мудро говорит устами старца в этой драме, что хорошо и что нужно даже и во сне делать добро. И утолительное добро – творить Красоту.

Ланды

1929 г., 7 сентября

Народная воля

Когда мы говорим «народ», мы не разумеем под этим словом какой-нибудь отдельный класс, какой-нибудь отдельный разряд общества или народа, мы разумеем весь народ в его целом, как говоря «лес», мы не забываем сосну и ель, хотя бы лес был смешанный, а не хвойный и почти сплошь состоял из березы и осины.

Народная воля есть воля всего народа, а не крестьян только и не рабочих только. Народная жизнь есть сложное единство, и, говоря о народной воле с благим разумением, а не с желанием партийной подмены понятий, мы никак не можем не видеть, что нередко те разряды людей, которые стоят довольно далеко от так называемого народа, от так называемых рабочих, думают и поступают гораздо соответственнее с благом народным, чем сам этот народ. И отдельные люди, которые силой ума, таланта, гения, труда и самопожертвования являют действенное начало жизни, гораздо более воплощают в себе истинную народную волю, чем многотысячная народная толпа, забывшая о задачах великого народа и руководящаяся личным животным страхом и личными выгодами классовых интересов.

Когда мы говорим, что Ломоносов – отец литературы русского народа и Пушкин – краса и гордость русского народа, мы совсем забываем в эту минуту, что Ломоносов был крестьянином, а Пушкин – дворянином. Они делали общее народное дело с такой силой, с такой искренностью, с таким талантом и самозабвением, что оба одинаково дороги каждому русскому, кто их знает; и, пожалуй, Пушкин – кстати, чрезвычайно гордившийся и даже кичившийся своим дворянством, – много больше понял душу русского народа, чем Ломоносов, и стихи Пушкина, живая песнь русской народной, всенародной души, ближе и милей крестьянскому

мальчику в школе, чем стихи Ломоносова или хотя бы Кольцова.

Или же это не так? Ведь это так, воистину, ведь это точная правда.

И Кольцов, и Никитин, и Суриков вышли из простого народа, но они не сделались великими поэтами русского народа, ни один из них не стал глашатаем русского народа, каким стал несравненный, единственный Некрасов, опять-таки дворянин, а не крестьянин и не мещанин, – другой пример того, что нет крестьян и дворян, нет преимуществ и ограничений там, где делается великое дело творчества, и кажущийся близким может быть далек, и кажущийся далеким может быть близок.

Зачем же до сих пор мы не хотим понять столь очевидной лучезарной истины? Зачем в сумасшедшем ослеплении русские люди строят вражьи перегородки между собой?

Ведь все понятия перевернулись вверх дном за эти последние полгода. Не в благом смысле, не в смысле освещающей и опрокидывающей Революции, а в смысле простого бесчинства и окончательной глупости, соединенной с предательством. Мы говорим «власть», но у нас нет власти, ибо где двоевластие, там не властен ни один, ни другой. Мы все говорим и знаем это, но вот снова и снова двухголовый сиамский близнец верховодит. А вы помните, как кончилась история двух сиамских близнецов? Один из них был кроток и трезв, другой был бранчлив и любил пьянствовать. Этот другой, наконец, допьянствовался до того, что у него сделался злокачественный нарыв, и оба померли от заражения крови. Как бы и с нашими сиамскими близнецами этого не случилось, если опытный хирург вовремя не разделит их. И уже очень малых размеров стало это «вовремя».

Мы говорим «завоевания Революции». Можно радоваться, и я безмерно радуюсь, что Революция смела царизм. Но миллионы ленивых, недобросовестных и грубых царьков, которые самодурствуют во всех городах и деревнях, во всех сферах русской жизни, это, надеюсь, нельзя назвать завоеванием Революции. И к числу благодеяний Революции нельзя отнести, конечно, ни развращение нашего войска, ни ежедневную низость самосуда, ни предательство и дезертирство, ни разгром нашей промышленности, ни полный развал народного хозяйства, ни бесстыдную корысть отдельных разрядов населения, требующих себе все новых и новых приплат, ни надменную наглость в обращении человека с человеком, ни беззастенчивое разгильдяйство и лентяйничанье, ни лживость, которая овладела всеми. Да, лживость и бессовестность. Русские люди столько наговорили слов за эти полгода, что они давно говорят слова, в которые не верят.

Революция хороша, когда она сбрасывает гнет. Но не революциями, а эволюцией живет мир. Стройность порядка – вот что нужно нам как дыхание, как пища. Внутренняя и внешняя дисциплина, и сознание, что единственное понятие, которое нужно сейчас защищать всеми силами, – это понятие Родины, которое выше всех личностей, и всяких классов, и всяких отдельных задач, понятие настолько высокое и всеобъемлющее, что в нем тонет все, и нет разнствующих в нем, а только сочувствующие и слитно работающие – купец и крестьянин, рабочий и поэт, солдат и генерал.

Революция есть гроза. Гроза кончается быстро и освежает воздух, и ярче тогда жизнь, красивее цветут цветы. Но жизни нет там, где грозы происходят беспрерывно. А кто умышленно хочет длить грозу, тот явный враг строительства и благой жизни. И выражение «защищать Революцию», должен сказать, мне кажется

бессмысленным и жалким. Настоящая гроза не нуждается в защите и подпорках. Уж какая ж это гроза, если ее, как старушку, нужно закутывать в ватное одеяло.

В великой стране должно быть правительство народной воли, правительство сильных личностей, опирающихся на свой талант, на свою волю и на такое понимание всенародности, в котором нет места злобному лязганью жадных челюстей и разжиганию ненависти класса против класса. Не правительство благоусмотрения полюбим мы и будем посильно поддерживать или посильно разрушать, а правительство твердой власти, стройного порядка, людей истинного дела, людей таланта, и притом людей, которые, обвиняя кого-либо, не утаивают от всеобщего сведения обвиняющих слов другой стороны.

1917. 3. IX

Новогодняя страница

(1922, 1 января. Бретань)

I

Ветер шумит и качает сосны. Ветер проносится над обнаженными виноградниками, шелестит по стене еще нерасцветшими ветками мимозы, растущей за моим окном, летит к Морю, пенит океанскую волну, играет, теплый, шумит и поет, уводит мысль, говорит с мыслью, говорит, что только он, ветер, – правдивый и верный.

Мерный шум Океана не велит мне быть дома. Да и холодно в моем доме. Немногим теплее, чем в том московском доме, где сейчас думают обо мне дорогие мне люди, о которых я думаю и сейчас, и всегда. Океан всего в двух минутах ходьбы от меня. Я иду к волне, бросающей на прибрежные пески широкий белый веер влаги. Высоко на небе и стоит, и плывет зеленоватый серп Новой Луны.

Я иду по ровному песку, без мысли, без надежды, без отчаяния, без грусти, сознавая спокойно, что я один, что со мною нет никого, только приливной Океан, который мерно шумит, как мировой творческий станок времени и пространства, беспредельного истекающего времени, безбрежно раскинутого пространства. Океан, который плещет, поет и шепчет, говоря, что только он один верный и неизменный.

Я иду, уходя влево. Хорошо идти по ровному песку без препятствий, не смотря под ноги. Любуюсь на переливные гребни волн, слушая заплескиванья Вечности в минуту, зная, что Океан свершает творческую пряжу, ощущая, что ты никем и ничем не гоним, не тревожим, не мучим, и лишь иногда отступая на шаг, чтоб тебя не захлестнула слишком веселая взрывно-буйная волна.

Я пройду так версту, и другую, и третью и потом медленно вернусь, чтобы слушать ветер, мечущийся в соснах и в саду. Если же прилив слишком высок, я задержусь у крутого откоса, не захочу на него подниматься, и буду долго стоять на черте, разделяющей сушу и воду, и буду долго ощущать в нерушимом одиночестве, что правдиво высокое Небо с зеленоватым серпом Новой Луны, что правдив Океан, разрушающий преграды, как правдиво, высоко и неизменно нечто неназываемое в моей человеческой душе.

II

Я уношусь мыслью в Москву, к далекому Новому Году, который стал уже четырехкратно старым. Великая буря, весенняя гроза 1917 года, опрокинулась в дьявольски измышленное злое русло поддельного октябрьского переворота. К концу декабря 1917 года видящему стало совершенно ясно, какими путями пойдет русская действительность. Но чувству хотелось другого. И чувство искало другого, перебрасывая себя в напевные строки.

Я помню, накануне Нового Года, тогда я писал в своей памятной книжке:

Я сказать хотел бы: «С Новым Годом!»
Но кому, и что, и как скажу?
Не одно с родимым я народом,
Не с молитвой выйду на межу.
К честному засеянному полю
Урожай подходит и успех.
Но грабеж ведет сердца в неволю,
Но из злобы вырастет лишь грех.
Не скажу привета я насилью,
Полюбить поджог я не могу.
Знаю, что развеется он пылью,

Тот, кто с братом враг и брат врагу.
Все ж хочу еще поверить чуду,
Сила есть в пучине голубой.
Васильком, в зиме, шептать я буду:
«С Новым Годом! С новою борьбой!»

Но чувство говорило мне, что этого мало. И я написал еще:

Закурчавил Царь-Мороз,
Воздохнув дыханьем мглистым,
Целый сад из льдяных роз,
Роща встала сном ветвистым.
И гуляет по степи,
И гуляет в лесе белом.
Сердце, будь как он: скрепи
Все себя в пешенье смелом.
Слейся с тысячью сердец,
И да будут все суровы;
Из конца страны в конец
Скуйте новые основы.
У земли одна есть ось:
С Солнцем, в правде, верным ходом!
Нечисть жизни заморозь.
С Новым счастьем! С Новым Годом!

Но взметенное чувство говорило, что этого мало, и я невольно написал еще:

Дремотные с себя стряхнув отравы,
Я встал. Взглянул. Спросил: Где я? Где ты?
Везде кругом лишь красные цветы
И пламенем подернутые травы.
Иль это снова сон и бред лукавый?
Кричащие раскрыты жадно рты.
А сумрак глаз во власти слепоты.
И кажется, что все во всем не правы.
Я спрашивал ребенка моего,

Мою златоволосую малютку,
Как мне развеять злую эту шутку?
Она шепнула, глянув: Ничего.
То старый год. Скорей забудь его.
И побежим с тобой по первопутку.

III

Много прошло с тех пор. Многие из тех, кого любил, кому смотрел в глаза с нежностью, пали, сраженные пулей или замученные насмерть голодом и болезнью. Все пути четырех этих лет были полны остриями и привели бесприютное множество тех, для кого Россия дороже всего, в изгнанье, в чужие пространства, где нет нашей русской неправды, но нет и правды.

Что сулит нам этот Новый Год? Державные руки сильных царств тянутся к кровавым рукам палачей и хотят совершить преступное рукопожатие.

Мы много видели. Нас не удивит, если в воздухе душевной изношенности совершится еще новое преступление. Люди торгующие и торгующиеся должны торговать, хотя бы на весах была старинная запекшаяся кровь, хотя бы меряющий безмен много раз применялся для убийства.

Но не забудем одно. Те, принявшие человеческую личину, бесы, которые захватили всю Россию – ныне как будто готовую выскользнуть из их рук, захватили ее именно в силу того, что в общем разброде и разногласии они были крепко спаянными кольцом, были дружной дружиной и горели непримиримостью ко всему, что не они. И их кольцо распаялось. Бесовская сила их чар шатнулась. Если чем-нибудь они еще держатся, их подпора должна быть определена как мертвая сила инерции. Сила инерции не исчезает сама собой. Чтоб она распалась, ее нужно толкнуть. В чем содержание и форма толчка, это должны знать действующие.

Чтоб возникла и создалась Новая Россия, должна возникнуть благая чара дружной решимости, крепко спаянное кольцо видящих умов. Множественная воля, полная непримиримости.

Это должно быть. Это будет.

IV

Я слушаю голос Океана, свойство которого – разрушать все преграды. Великий в своем творчестве, он обещает великие судьбы великому народу. Он зовет волю, велит ей быть смелой и обещает. Он поет, шелестит, шепчет и говорит многократным перегудом, что только он один – верный и неизменный.

О книгах для детей

Заметка

Мне радостно и мне прискорбно. Передо мною две книги, предназначенные для детского чтения: «Новые поэты. Сборник избранных стихотворений современных поэтов для детей. В. Л., Москва, 1907. И «Живое слово». Книга для изучения родного языка. Часть I. Составил А. Я. Острогорский, директор Тенишевского училища в СПб, С.-Петербург, 1908. И в той и в другой книге есть мои стихи, а нарядная книга Острогорского даже так и начинается тремя «Осенями»: гр. А. К. Толстого, К.Бальмонта и А.Фета. Радостно. Приятно. И даже лестно. И для меня счастье знать, что мои слова доходят до детского сознания. Но... Но... Рассмотрим.

Лет пять тому назад с половиной был я в Крыму в гостях у Льва Николаевича Толстого. Великий старик добрым, незабываемо ласковым голосом говорил, подтрунивая: «А Вы все декадентские стихи пишете? Нехорошо, нехорошо». И попросил меня что-нибудь прочесть. Я ему прочел «Аромат Солнца», а он, тихонько покачиваясь на кресле, беззвучно посмеивался и приговаривал: «Ах, какой вздор! Аромат Солнца! Ах, какой вздор!» Я ему с почтительной иронией напомнил, что в его собственных картинах весеннего леса и утра звуки перемешиваются с ароматами и светами. Он несколько принял мой аргумент и попросил меня прочесть еще что-нибудь. Я прочел ему «Я в стране, что вечно в белое одета». Лев Толстой притворился, что и это стихотворение ему совершенно не нравится. Но оно произвело на него впечатление, и он совершенно другим тоном сказал: «Да кто Вы, собственно, такой? Расскажите мне, кто Вы?» Он, кажется, любит такие вопросы предлагать посетителям. На меня мгновенно

напало состояние художественного синтеза, и я в десять или пятнадцать минут с великим доверием рассказал ему всю свою жизнь, в главных ее чертах. Отдельные вопросы и переспросы, которыми он изредка перебивал мой торопливый рассказ, показывали мне, как он слушает. Быть может, никогда в моей жизни ни один человек так не слушал меня. За одну эту способность – так приникать душой к чужой, чуждой душе – можно бесконечно полюбить Льва Толстого, и я его люблю. От всего этого свидания с ним, длившегося несколько часов, у меня осталось единственное по ласковости очаровательное впечатление, и вот сейчас, через мглу годов, вспоминая этот ласковый крымский вечер, я чувствую в душе детскую радость, детски-сладостную признательность к Льву Толстому за каждое его слово и движение. А «Аромат Солнца» он все-таки не понял, как, при всей своей безмерной чуткости и при всем своем творческом гении, целого множества явлений он не понимает.

Ныне же, вот, раскрываю я книжечку, предназначенную для детей, и вижу, что там есть несколько моих вещей, и меж них на первом месте «Аромат Солнца». Что должно было совершиться – совершилось. Круг очертился сполна, и конечная точка слова стала начальной.

Я знаю многих детей, которые принимают «Аромат Солнца». И знаю детей, которые, раз прослушав это стихотворение, уже потом всегда, в определенный солнечный миг, во время прогулки в лесу или в саду, вдруг останавливаются и говорят: «Аромат Солнца». Для меня высокое художественное счастие – эта радость знать, что тонкие золотые струны, прозвучавшие в моей душе, звучат и звучат в утонченных детских душах. О, утонченных! Слепые думают, что детские души – простые, как они думают, что Природа есть образец

простоты. Но Природа, каждый день создающая новые закаты и каждое утро находящаяся в безбрежном творчестве, есть воплощенная сложность, а не простота. Природа бежит простоты, как бежит пустоты. И детские души сложны, утонченны, душа ребенка извилиста, детская душа – лабиринт. На берегу Балтийского моря трехлетняя светлоглазка нашла кусочек янтаря и, обращаясь ко мне, говорит: «Смотри, я нашла маленькое солнце». Эта же девочка, одетая, хочет войти в море. Няня удерживает ее. Она улучает минуту, быстро вбегает в воду по горло и победным голосом кричит: «Море – мое!» Эта же девочка, теперь, когда ей семь лет, недовольна, что наступает ночь и светит бледная луна. Без чьих-либо внушений она берет большой лист синей бумаги, рисует на нем сверху донизу множество бледных звезд, белый серп Луны вверху, а рядом с ним дотянувшийся от самой земли тонкий стебель желтого цветка, победительного, огромного, как Солнце, а внизу, на холме, маленький человек, с угрозой вздымающий к небу превеликий меч. На этом золоте в лазури – надпись: «Вызов в небо». Другая девочка, на два года ее старше, детски любя слушать мои сказочки, говорит мне: «Когда ночью я закрываю глаза, Ваши сказочки приходят ко мне на подушку». «У меня желтые волосы, говорит она.– Ведь я же овсяночка, и вы любите солнце, я всегда буду Вашей женой». Каждый день мы проходим в саду по зеленым тропинкам и песчаным дорожкам. Встретим четыре камешка, одного им взгляда не подарим. Разве что глянем, когда отшвырнем их ногой. А подойдет к этим камешкам ребенок и из четырех построит мироздание.

Вернемся, однако, к тем двум книжкам. В сборнике стихов для детей двадцать два имени. И между прочим тут есть Мережковский, у которого на счету пять-шесть хороших стихотворений, тут есть прославленный

П. Я., прославившийся чем, не ведаю, – но, что лучше всего, тут есть Ватсон, и Германов, и Фольбаум. Не прелестно ли? Детям хотят показать не только цветы именитые. Чем незабудка хуже орхидеи? Правда, чем? Вы только объясните мне? Но дело-то вот в чем. Забыли о незабудках и Ватсон и Фольбаум. Не ведают цветов ни П. Я., ни Германов. А хотел бы я спросить г-на В. Л., составлявшего сборник, – неизвестны ли ему три имени: Минский, Брюсов и Балтрушайтис? Ему неизвестно, что у Минского есть прекрасные строки о разметанном птичьем гнезде? Ему неизвестны строки Балтрушайтиса «Боярыня-Зима»? Ему неизвестны кристальные строки Валерия Брюсова о мальчике, которому ангел помогает ввезти в гору мерзлую бочку с водой? И строки Брюсова о Палочке-Выручалочке? И его строки «Вы, снежинки, вейте, нос лишь пожалейте»? И г-ну В. Л., быть может, неизвестно, что ребенок свое детское впечатление запоминает на всю жизнь и что подсунуть ребенку шелуху, когда можно дать ему драгоценные зерна, есть поступок дрянной и преступный? Издание такой книжки, как Сборник г-на В. Л., я считаю фактом литературной наглости.

Мне несколько странно переходить от ничтожной книжонки к ценному труду А. Я. Острогорского «Живое Слово». Нарядно изданный большой том, в 368 страниц, почти целиком состоит из несомненных образцов родной словесности; каждое стихотворение, каждый прозаический отрывок снабжены очень интересными синонимными истолкованиями; почти каждая страница украшена оригинальными рисунками и снимками с картин Билибина, Рериха, Кардовского, Замирайло, Левитана, Переплетчикова, Серова и многих других. Не могу не отметить также, что этот большой красивый том стоит всего девяносто копеек – эту книгу может купить и бедняк, считающий каждый

грош. При подборе образцов А. Я. Острогорский старался соединять несомненности давних времен с вещами новыми, с которых еще не стерто, в общепринятости, клеймо табу. Но и Острогорскому нельзя не предложить вопроса: почему такая робость в выборе новых имен? Почему Бальмонт и Бунин могут входить в детскую, а Брюсова и Балтрушайтиса туда не пускают? Не могу еще не указать, что в синонимных истолкованиях А. Я. Острогорский не всегда точен. Например, страница 105, «сизый – темный, черный с синеватым отливом». Сизый есть светло-серо-синеватый, а отнюдь не черный с синеватым отливом. Стр. 209, «лазурь – темно-голубая краска». Лазурь есть небесно-голубая краска, и темно-голубая и светло-голубая; стр. 236, «млеть – обмирать, приходить в забытье»; млеть значит также сладко нежиться, медлить на сладостном ощущении. Острогорский говорит также (стр. 175): «Денница – утренняя заря». Денница есть и утренняя заря и утренняя звезда, и в нашем восприятии она чаще означает утреннюю звезду. Но это, конечно, лишь частичные замечания, и в целом книга Острогорского есть подарок, который обогатит всякую детскую душу.

Детские подарки! Можно ли их позабыть! Я до сих пор четко помню, что, когда пяти лет я сам научился читать, подсматривая за старшим братом, которого учила моя мать, отец, растроганный, подарил мне маленькую книжку; это было путешествие, там были дикари, и книжка была в синем переплете, а картинки в ней были желтые. В это же время, быть может, годом позднее, я читал «Детский Мир» Ушинского, и стихи Пушкина и Никитина, и русские народные песни. Русские народные сказки. Я помню, что меня загадочно пленило словосочетанье «ах ты горе-гореваньице». И весьма поразило меня, что горе лихом подпоясано.

«Хижина дяди Тома», «Жена ямщика» Никитина, песни Кольцова, романы Жюль Верна – как их позабыть? А Майн Рид! Когда мне было одиннадцать, двенадцать лет, один офицер, приятель моей матери, каждую субботу приносил мне из офицерской библиотеки том-два, а иногда и целых три тома Майн Рида. И вряд ли древние сыны Израиля более напряженно ведали радость субботнего дня, чем я. Так наслаждаться книгой я уж не наслаждался больше никогда. Разве что в этом роде трепетал, когда года через три увлекался Тургеневым, а еще позднее Достоевским и Эдгаром По. В детстве и в ранней юности книга не есть литература, все в ней живет и входит в душу, ее смысл, ее язык, самая внешность, бумага, переплет. Три года тому назад, путешествуя в Мексике, я несколько раз вспоминал, что в романах Майн Рида, которые я читал одиннадцати лет, «Мексика» называлась «Мехика». Одно слово может стать живым другом на десятки лет, навсегда. Лет тринадцати забрался я раз в библиотеку моей матери, перерыл все книги и, перелистывая какой-то том, узнал, что «self-help» значит «самопомощь». Будучи сызмальства наклонен к самостоятельности, влюбился в это слово молниеносно, и много, много раз оно пропело мне в жизни. И все еще поет.

В детстве мы пьем свежую воду. Дайте нам в детстве свежих ключей. В детстве, среди цветов, мы – цветы. Дайте нам в детстве цветов.

1908, март. Долина Берез

О переводах

Пражские друзья моего поэтического творчества, весьма заинтересованные вопросами русско-чешского сближения и ценящие мои переводы из чешских поэтов, а в частности из Врхлицкого, прислали мне вырезку из журнала «Славия», статью преобширную профессора Евгения Ляцкого «О переводах вообще и русском переводе стихов Я.Врхлицкого в частности».

Обвинения бывают справедливые и несправедливые. Несправедливо обвинение, когда обвиняющий возводит свой личный вкус и свое личное мнение в степень безусловного закона, не доказывая, что его личное есть безусловно общее. Но, если при этом обвиняющий чистосердечен, это еще малая беда. Однако обвинения бывают также добросовестные и недобросовестные, умышленно злостные. Недобросовестно обвинение, когда обвиняющий опирается в своей доказательности на явно неверные примеры и подтасовываемые данные. Пусть же судит читатель, как надо определить обвинения, взводимые г. Ляцким. Он судит меня за вольные, слишком вольные, поэтические передачи стихов иноземных поэтов, он указывает целый ряд уклонений от текстов, считая их то ошибками, то умышленными искажениями. Как пример хороших переводчиков он противопоставляет мне разных поэтов, начиная с Лермонтова. Почему забыл он начать с общепризнанного лучшего русского поэта-переводчика и поэта создателя перепевов Жуковского? Да просто потому, что это убийственный аргумент против его аргументации. Он умышленно забыл его, ибо Жуковский как раз обращался весьма часто с подлинниками совершенно свободно, и Жуковский – довод в мою пользу, а не мне во вред. Но возьмем пример, приводимый им из Лермонтова. Он приводит по-немецки знаменитое стихотворение Гейне «Сосна», приводит русскую

его передачу Лермонтова и восклицает: «какое величайшее слияние... Лермонтов оказался конгениальным Гейне». Пусть же читатель вспомнит и слова Гейне и слова Лермонтова.

Ein Fichtenbaum steht eisam,
Im Norden auf kahler höh
Ihn schlöfert; mit weisser Decke
Umhällen ihn Eis und Schee.
Er tröumt von einer Palme
Die fern im Morgenland
Einsam und schweigend trauert
Auf brennender Felsenwand.

На севере диком растет одиноко
На голой вершине сосна.
И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим
Одета, как ризой, она.
И снится ей все, что в пустыне далекой,
В том крае, где солнца восход,
Одна и грустна, на утесе горючем,
Прекрасная пальма растет.

Я подчеркиваю те слова Лермонтова, которых в подлиннике нет. Но именно они-то и составляют всю красоту перепева Лермонтова. Если бы г. Ляцкий был последователен, он должен был бы сказать: «Неверная передача, искажение, разжижение, никуда не годный перевод». Он же восхваляет его аргументативно, но аргументация фальсифицирована. Лермонтов совершенно не конгениален с Гейне, и его перевод вольный. Но там, где Гейне говорит детски-простыми, неукрашенными, а лишь беглым рисунком означающими словами, где он говорит почти прозой, где он создает простодушную серенькую, сумеречную песенку, Лермонтов с своим могучим даром ухватывать, как барс, и вещать, как пророк Востока, создал из детской игрушки

Гейне дамасский клинок. Как перевод – это и так и сяк. Как создание – это недосягаемая высота. Но ведь речь идет о переводах вообще. Итак? Почему бы, речь заведя о Лермонтове, не привести другой уничтожительный для меня пример магистерского переводческого дара Лермонтова? Как известно, он «перевел» также еще более знаменитые строки Гёте «Горные вершины». И там, где у Гёте на всех вершинах тишина, на всех высотах покой, у Лермонтова горные вершины спят во тьме ночной, то есть, вместо глубокой философской мысли, само собою разумеющаяся, нимало не выразительная описательность. И там, где у Гёте на лесных вершинах едва уловишь хоть одно дуновение, и птички заснули в лесу, у Лермонтова не пылит дорога, о которой Гёте не упоминает, и не дрожат листы. Слабо, слабо, как перевод совсем слабо, г. Ляцкий. Но так хороши «Горные вершины» Лермонтова в то же время, что, будучи русским и будучи безмерным также почитателем Гёте, я иногда считаю, что текст Гёте лучше, иногда предпочитаю текст Лермонтова.

Г. Ляцкий приводит далее божественной красоты сонет Петрарки и, приводя совсем не совершенный перевод-пересказ его Майкова, находит, что несонетный стих Майкова лучше Петрарки. Это забавное утверждение можно пояснить одним примером, указующим, есть вкус у г. Ляцкого или его нет. Прозрачный, как хрусталь, стих Петрарки «Che lice e questa, e qual nova beltate? (dicean tra lor) Майков передает: «Кто это?» – шепотом друг друга вопрошали!» – и краткий всклик дополняет двумя длинными строками: «Не восходило к нам в сиянье чистоты // Столь строго девственной и светлой красоты». Лучше бы уж г. Ляцкий, не будучи поэтом, а тем самым и неправомочный запросто говорить о поэтах, не щеголял многочисленными цитатами и не красовался, приводя стихи

Петрарки, требующие очень тонкого восприятия, а привел бы хотя перепевы новогреческой народной песни, где Майков действительно силен.

Что бы ни захотел утверждать г. Лящкий, он неизменно опирается на такой произвольный довод, что неизбежно хочется назвать его аргумент подделкой. Говоря о русских переводчиках половины XIX века, сделавших столь много для ознакомления России с Мировой поэзией, он называет Козлова, Плещеева, Михайлова, Мея, Гербеля, Курочкина, Минаева. Он умалчивает о целом ряде других действительно несомненных имен, а в этом ряде Плещеев – и слабый поэт и слабый переводчик, Мей – хороший поэт и произвольный переводчик, Гербель – переводчик, едва владевший стихом и чаще писавший виршами, Минаев – отъявленный борзописец, вроде любого газетного стихослагателя. Зачем эта подделка перечня? Лящкий, с усладой весьма призрачной, делает изумительное заявление: «Из новейших поэтов только Валерий Брюсов справлялся с трудной задачей переводчика». Поэт, в котором на одну долю таланта было три доли бессильно тянущегося честолюбия, Брюсов никак не может оправдать эту Нобелевскую премию Лящкого. Он очень недурно, а часто даже и очень хорошо, переводил стихи Верхарна, но его переводы любимого им Верлена, которому он всегда подражал, никуда не годятся, как и другие его переводы суть лишь ученическая старательная перепись, внешний рисунок без души. Но, умышленно вознося имя Брюсова, главного соперника моего на поэтическом поприще, всегда старавшегося меня перещеголять (стремление очень похвальное), Лящкий нарочно забывает то, чего не знать как историк литературы он не имеет права: добросовестного перевода «Илиады», сделанного Минским, многочисленных переводов других греческих

классиков, сделанных с любовью Мережковским, блестящих переводов Софокла, сделанных Зелинским, отличных переводов французских, немецких и скандинавских произведений, сделанных Сологубом, Балтрушайтисом, Сергеем Поляковым, Тхоржевским и другими. Эти фигуры умолчания не украшают Ляцкого, совсем напротив. Говоря обо мне как поэте, г. Ляцкий упоевается цветами красноречия: то он сравнивает меня, то есть мой стих, «с прозрачной и легкой струёй, разбивающейся о мрамор, смеющейся солнцу мириадами брызг», то «он (т. е. я) щедро разбрасывает вокруг себя слова и звуки, играя ими, как искусный фокусник, который бросает и ловит блестящие диски»... Вот уж тут действительно является фокусничество, но только не мое. Не может г. Ляцкий не знать, что ручей или водомет, бросая всплески, звоны и светы, никогда не фокусничает, но всегда волшебствует. Зачем же, начав благочестную игру, так быстро и так явно подменивать карты? Серьезный ученый, желающий быть беспристрастным, – а не красоваться на полях литературного наездничества, подвергая рассмотрению известное явление, если даже считает это явление, в общем, отрицательным, – никогда не завлечется злостным желанием замалчивать положительные стороны явления. А г. Ляцкий, будто подвергая рассмотрению мой многолетний труд полного перевода сочинений Шелли, берет 2–3 юношеских перевода маленьких отрывков, действительно переданных вольно, и ни звуком не упоминает о таких увенчанных, думаю, справедливой славой, точных моих передачах Шелли, как «Мимоза», «Островок», положенный на музыку Рахманиновым, «Облако», 2-ая переработка, «Аластор», трагедия «Ченчи», много раз исполненная в Москве, и многое другое. Говоря о моих переводах Врхлицкого, мой обвинитель наивно предполагает, что я не знаю чешского языка, тогда как

вот уже седьмой год я читаю в подлинниках произведения чешской словесности, прочел почти всех чешских поэтов XIX и XX века и многих прозаиков. Г. Ляцкий прикидывается настолько простодушным, что говорит: «Переводчик, видимо, не знал, что чешское выражение «mit rad koho» значит только «любить». Смею уверить моего судию неправедного, что, когда я изучаю какой-нибудь новый для меня чужеземный язык, слово «любить» я запоминаю прежде всего. Вообще, как и Ляцкому вполне известно, меня во всем ведет Только Любовь. Если же в свой перевод соответственного стиха, радуясь, что в чешское слово о любви входит слово о радости, – чувство наиболее верно указующее, что данное устремление есть действительно любовь, – я ввел выражение «с тобою быть рад», так это случилось потому, что мое поэтическое чувство нашло это изящным и внутренне верным в смысле передачи чешского текста. Спорить об отдельных словах можно без конца. Но толку в этом немного. В особенности там, где один из спорящих – Ляцкий – житель Петербурга, а другой – я – житель Москвы. Преимущество московского говора над русскими говорами других частей России установлено еще Пушкиным. Пример того, как Ляцкий, похваляющийся отменным своим знанием чешского языка, выполняет легкую задачу прозаического перевода чешских стихов, он сам дает в своей статье:

J'a ptal se: «Smim to miti rad, Me dite?»
A ty jsi řekla: «Nicoli!»
Я спрашивал: «Хочешь? С тобою быть рад, Дитя мое!»
Но ты мне ответила: «Нет, никогда!»

«В чешском тексте, – говорит Ляцкий, – смысл элементарно ясен: Я спрашивал: позволишь ли любить тебя, мое дитя? Ты же ответила «нет». Крохоборно

рассекающий мои поэтические передачи, Лящкий пусть ответит, откуда в прозе, где он не был стесняем ни ритмом, ни рифмой, откуда он взял здесь вместо нежно «смею ли», «можно ли» – это тупое, совершенно бессмысленное «позволишь ли», а также почему энергичное чешское «nicoli», что значит «никак», «никоим образом» (что мы в Москве охотно заменяем выражением «никогда» или «нет, никогда») он переводит тусклым «нет»? Врачу, исцелися сам.

А как образцово Лящкий знает русский язык, он тоже дает нам пример в своем обвинении. Разбирая мой перевод поэмы Врхлицкого «Слеза», он укоризненно говорит: «Юдоль» должно обозначать у Бальмонта долину». Пусть г. Лящкий раскроет на 1543 странице «Толковый словарь живого Великорусского языка» Владимира Даля и не без пользы для себя прочтет: «Юдоль, юдолие лог, разлог, дол, долина...» Для мудрого всего этого вполне достаточно.

Г. Лящкий считает мой перевод избранных стихов Врхлицкого никуда не годным. Но поэт чешских лесов и певец Яна Гуса, Ян Рокита, он же Адольф Черни, написал к этой моей работе предисловие, начинающееся словами: «Благодаря стараниям поэта К.Бальмонта, владеющего искусной поэтической формой и неутомимого переводчика авторов мировой поэзии, русский читатель получает избранные стихи великого чешского поэта в точных переводах, исполненных с любовью, поэтическим вдохновением и действительным проникновением в тайну оригинала». Так говорит чешский поэт, являющийся знатоком всех славянских языков и литератур. Лящкому не нравятся мои переводы с болгарского. Один из первых ныне болгарских поэтов, профессор Емануил Димитров, в предисловии к изданному Министерством народного просвещения в Софии моему труду «Золотой сноп болгарской поэзии»

говорит: «В звучных простых словах, заставляющих вспомнить русскую народную песню, он (Бальмонт) перевоплотил некоторую часть неисчерпаемого сокровища болгарского песенного творчества. Он выковал золотое ожерелье, которое своим тонким мастерством пробудит удивление и в русском, и в чужеземце. Под русским покровом они найдут неподдельный дух истинной народной песни и смогут вкусить от ее самобытной прелести». Лящкому кажется, что мои переводы Шелли не больше как искажения Шелли. Но еще в 1897 году лучший тогда в Англии знаток всех славянских языков и составитель славянских грамматик, оксфордский ученый, профессор Вильям Морфилль, плененный моими переводами из Шелли, в ознаменование благодарности за этот труд пригласил меня в Оксфорд прочесть в Тейлоровском институте четыре лекции о современной русской поэзии, и лучшие представители английской науки выражали мне признательность за мою работу, а Морфилль, подаривший мне свою дружбу и переводивший мои стихи на английский язык, до конца своих дней не переставал быть почитателем моих переводов английских поэтов, чему свидетельством у меня есть множество его писем.

Итак, мнения разнствуют. Пусть они и разнствуют. Ведь люди разнствуют.

Можно ли и нужно ли переводить чужеземных поэтов? Конечно, предпочтительнее, и вне сравненья предпочтительнее, изучать самому иностранные языки и читать поэтов в подлиннике. Однако не всем это доступно, и любому языковеду доступно лишь небольшое число иностранных языков сравнительно с числом всех языков вообще. Переводы – неизбежность, и поэта, знающего много языков и любящего языки чужих стран и певучий язык Поэзии, влечет к себе искусство перевода. Это – соучастие душ, и поединок, и бег

вдвоем к одной цели. Дать в переводе художественную равноценность задача невыполнимая никогда. Произведение искусства, по существу своему, единично и единственно в своем лике. Можно дать лишь нечто приближающееся больше или меньше. Иногда даешь точный перевод, но душа исчезает, иногда даешь вольный перевод, но душа остается. Иногда перевод бывает точный, и душа остается в нем. Но, говоря вообще, поэтический перевод есть лишь отзвук, отклик, эхо, отражение. Как правило, отзвук беднее звука, эхо воспроизводит лишь частично пробудивший его голос. Но иногда, в горах, в пещерах, в сводчатых замках, эхо, возникнув, пропоет твой всклик семикратно, в семь раз отзвук бывает красивее и сильнее звука. Так бывает иногда, но очень редко, и с поэтическими переводами. И отражение есть лишь смутное воспроизведение лица. Но при высоких качествах зеркала, при нахождении удачных условий его положения и освещения красивое лицо в зеркале бывает красивей и лучезарней в своем отраженном существовании.

Эхо в лесу одно из лучших лесных очарований.

Париж, 1932

О поэзии Фета

Какой-то негою томительной волнуем,
Я слушал, как слова встречались с поцелуем.
Фет, «Муза»

Мы любим пословицы и поговорки, и они часто выразительны. Но часто также поговорка или пословица пользуется совершенно незаслуженной славой, будучи лишь приблизительной истиной. Есть опасная поговорка о поговорке: «поговорка цветочек, пословица ягодка». Точно. Но если я сам когда-то воскликнул: «Все цветы красивы» – это ведь неправда. На Суматре есть цветок раффлезия. В полсажени в поперечнике, густо-красного цвета, она могла бы быть, пожалуй, царицей сказочных цветов. Но она издает издалека слышимый, удушливый запах падали. Трудно назвать этот магический цветок радостью расцвета. Что касается ягод, назови волчью ягоду вороньим глазом, все равно она усладою не станет.

Совершенно незаслуженно знаменита латинская поговорка о том, что есть судьбы у книг, у каждой книги своя судьба. Эта поговорка не более как отмычка для каждого замка. Конечно, у каждой книги своя судьба. Но также ведь своя судьба и у каждого полководца, и у каждого портного, у каждого человека, у каждого животного, даже у каждой снежинки. Множество снежинок упадут на землю, и никто их не увидит, другие снежинки их засыплют сверху. А одну снежинку заприметит поэт и напишет прекрасное стихотворение «Снежинка».

Судьба вообще прихотлива, и почти до неизъяснимости разнствует слава поэта и поэта. Пушкин прославился сразу. Он был еще отроком, а Державин уже увидел и благословил его. Он был славен всю свою недолгую жизнь, однако же во вторую половину его

жизни почитание его стало холоднее, и, если бы он жил дольше, конечно, ему пришлось бы воочию увидеть то дикое, сумасшедшее отрицание Пушкина, которое возникло в России в 60-х годах. И после 60-х годов отношение к нему в России, до прославления его Достоевским, было довольно прохладным. Лишь в наши дни, за последние 10–15 лет, слава Пушкина наконец стала всероссийской и безусловной, стала как бы религией, и Пушкина изучают, любят и чтут как здесь, за рубежом, так и там, где все опрокинуто и изуродовано. Лермонтов, несомненно, менее яркий и менее самостоятельный поэтический гений, несмотря на то, что он звездно-прекрасен, и, однако же, его слава совсем не переживала таких колебаний и отрицаний, как слава Пушкина. И всегда был равномерно славен Жуковский, равномерно славен совершенно второстепенный поэт Алексей Толстой, а могучий Некрасов и столь не похожий на него утонченный Фет знали – и до сих пор знают – и верховную высь прославления, и предельную, крайнюю степень отрицания и глумления.

Мне сообщили радостную для меня весть. Молодая француженка, изучающая русский язык и русскую поэзию, выбрала темой для своей диссертации, которую она будет защищать в Сорбонне, поэзию Фета. Мне был поставлен вопрос, как я отношусь к Фету и имел ли он на меня влияние. Полагая, что этот частный вопрос не лишен общего интереса, постараюсь ответить на него с полной правдивостью и совершенной ясностью.

Что для меня Фет? У каждого поэта есть любовь, есть любви и пристрастия. Несколько любвей-пристрастий было у меня с детских и полудетских дней, из них на первом месте, срочно и бессрочно, ибо всегда, стоит Фет; немного позднее – еще Баратынский. Пушкин пленил меня тоже с детства. Но в юности,

пока я отыскивал и нашел свою собственную поэтическую дорогу, я и Пушкина, и Лермонтова любил скорее случайно, а не из душевной необходимости. Фет, Тютчев и Баратынский сопровождали мои детские годы, юношеские годы, более поздние годы и в данную минуту, рядом с Пушкиным, остаются моими самыми любимыми русскими поэтами. Нужно сказать, что, когда мне минуло 17 лет, на краткие месяцы любимым поэтом моим стал Лермонтов. Он мне дал тогда необыкновенно много и своим, как у Байрона, весьма односложным душевным бунтом, и теми своими песнями, которые близки по напеву к народным. Пушкин стал моей настоящей и уже навсегдашней безмерной любовью и преклонением сердца, лишь когда я потерял Россию. То есть с 20-х годов этого столетия. Здесь, в подневольном Париже, где я раньше так часто и так подолгу бывал вольным, в Бретани, где я раньше жил в счастливом добровольном изгнании, а теперь узнал, что можно разлюбить даже море, когда лишен вольности и самого заветного, самого любимого, за последние 10–13 лет я, кажется, впервые увидел Пушкина во всем его величии, детское-юношеское увлечение им вернулось, обостренное и углубленное таким преклонением и такой любовью, что чувствую и говорю без колебания: Пушкин – самый русский и самый не только гениальный, но божественный русский поэт. Столько России и столько русского, сколько запечатлелось в каждом поступке Пушкина, в каждом его восклицании, душевном движении, в каждом песнопении, столько целостно-русского не найдешь ни у одного русского писателя, будь то поэт или прозаик. Как я воскликнул в 1924 году:

В раннем часе русской речи,
В дыме дремлющих годов,

Им разосланы предтечи
В сто подвластных городов,
Чтобы праздник был готов
Нежной завязи цветов.
Самосдержанная буря,
Юным бунтом восплескав,
Просияла, взор не хмуря,
Свой постигла Божий нрав
В жизни, в песне, в сне забав,
В каждом миге Пушкин прав.

Тем не менее Фету и Баратынскому я должен отдать преклонение как истинным моим учителям в поэзии. «Фет мой крестный отец в поэзии», – не раз говорил я. Мне было лет 5–6, когда, прочтя «Печальная береза – У моего окна – И прихотью мороза – Разубрана она», – свежей детской впечатлительностью я весь зачаровался, околдовали меня тонко-узорные эти певучие, распевные строки. «Разубрана она». Эти слова – вырезные узоры навсегда связаны для меня с нашей деревенской, лесной красавицей, белоствольной березой. Лет 12–13-ти, гуляя один в зимние лунные ночи по пустынным улицам моего родного городка Шуи или катаясь под луною на коньках, я вдруг останавливался и читал себе вслух:

Чудная картина,
Как ты мне родна,
Белая равнина,
Полная луна.
Свет небес высоких,
И блестящий снег,
И саней далеких
Одинокий бег.

Две последние строки – совершенство внутренней музыки, влекущей душу вдаль. Еще более совершенен стих Фета «Скрип шагов вдоль улиц белых»:

Ветер спит, и все немеет,
Только бы уснуть;
Ясный воздух сам робеет
На мороз дохнуть.

Когда мне было 16 лет, в эти незабвенные дни первых влюбленностей, я читал самому себе и тем девушкам, с которыми желанно было мне делить свои зори, девушкам – первоутренним первоцветам: «Я пришел к тебе с приветом Рассказать, что солнце встало, – Что оно горячим светом – По листам затрепетало...» или «Облаком волнистым – Пыль встает вдали...» И хотелось мне, не однажды, читать им:

Я тебе ничего не скажу
И тебя не встревожу ничуть,
И о том, что я молча твержу,
Не решусь ни за что намекнуть.
Целый день спят ночные цветы,
Но, лишь солнце за рощу зайдет,
Распускаются тихо листы,
И я слышу, как сердце цветет.
И в больную усталую грудь
Веет влагой ночной... Я дрожу,
Я тебя не встревожу ничуть,
Я тебе ничего не скажу.

Мне хотелось читать эти строки моим первоутренним девушкам первоцветам. Но я не смел. И в застенчивой душе, захваченной первым приближением к таинству любви, зажигались далекие трепетные звезды – «и заря, заря...».

Когда в 1897 году прекрасный знаток русской поэзии и всех славянских языков и литератур оксфордский профессор Вильям Морфилль пригласил меня в Тейлоровский институт в Оксфорде прочесть четыре лекции о современной русской поэзии, одну из этих лекций я целиком посвятил творчеству Фета и Тютчева, указывая на внутреннюю пантеистическую их музыкальность в восприятии природы и в изображении различных состояний человеческого сердца. Слушавшие меня англичане, почитатели поэзии Блэка, Шелли и Теннисона, особенно отметили именно эту лекцию. (В отрывках лекции эти вошли в мою книгу «Горные вершины». Москва, 1904.)

Весь залитый светом, солнечный, первозданно влюбленный в небо и землю, Фет, бывший любимым поэтом таких двух разных гениев русского слова, как Тургенев и Лев Толстой, по закону художественного противопоставления, наряду с множеством утренних песен и зорь, наряду с нежнейшими кострами из вечерних огней, так великолепно описывает – не описывает, а музыкально воссоздает – ночь, как мало кто из поэтов.

Тихо ночью на степи;
Небо ей сказало: Спи.
И курганы спят.
Звезды ж крупные в лучах
Говорят на небесах:
Вечный – Свят, свят, свят!

Здесь поэзия, оставаясь тончайшей поэзией, восходит к величественности богослужения.

Влияние Фета на меня и на дальнейшую русскую поэзию? Я не очень ценю этот историко-литературный термин, когда речь идет об истинном художнике, владеющем собственными достоинствами. Державин и Жуковский не влияли на Пушкина, а лишний раз, еще

и еще раз, пробудили в Пушкине Пушкина. В бранной напевности и в тонком изяществе Державина и Жуковского Пушкин нашел много чисто пушкинского, именно того, чем он особенно мне мил и дорог и что мы назовем пушкинским, хотя частями это возникло в русской поэзии до Пушкина, что очень легко подтвердить примерами и сопоставлениями. Одаренный человек неизбежно вовлекается в те зачарования, в которых он угадчиво находит самого себя. Он сам находит самого себя, но выражает свои творческие силы – и вольно, и судьбинно.

Моими лучшими учителями в поэзии были – усадьба, сад, лес, ручьи, болотные озерки, шелест листвы, бабочки, птицы и зори. Но, конечно, чтобы звонко пропеть свое собственное проникновение к природе, поэт нуждается в учительстве старших поэтов. Каждый уважающий себя художник со смиренной признательностью помнит и вспомнит своих учителей. Моими учителями были русские народные песни, все русские поэты, одухотворенный английский стих, утонченный Данте, всеоглядный Гёте, упрямая скандинавская поэзия, полные самоутверждения испанцы XVI и XVII столетий, пантеистические гимны индусов и парсов.

Но сердце по-детски лепечет: «Люблю больше всех Фета».

Поэзия Фета – сама природа, зеркально глядящая через человеческую душу, поющая снежинками, перекличкою зарниц и птиц, шумом ветра в веющих, вещих узорах листьев, протяжно поющая самым молчанием.

> Хоть нельзя говорить, хоть и взор мой поник,
> У дыханья цветов есть понятный язык.

«Вечерние огни»
1934

О рифме верной и рифме неверной

Мой юный друг, я издавна с большим сочувствием и, сказал бы, с душевной созвонностью – про себя, написав скучное слово «сочувствие», слежу за еще не окрепшим, но красивым вашим поэтическим даром. Вы любите вечер, тонкий налет грусти, ощущение разлуки в самом миге свидания и находите для выражения ускользающих настроений не по-юному четкие, меткие строки. Но скажите, вы, любящая честность выражения, вы, избравшая своими водителями Пушкина и еще более Баратынского, вы, которая, не желая подчиниться моему влиянию, несмотря на любовь к моему творчеству, имели мужество в течение трех лет умышленно не читать моих стихов (боюсь, что эта жертва была для вас очень легкой), – как можете вы свои четкие, верные строки заканчивать неверными, увы, расползающимися рифмами? И притом си-сте-ма-ти-чески. Неужели срифмовать, – и притом сознательно, а иногда сознательность есть большой грех, – «слова» и «провал» или «ограда» и «сада», вместо, например, «слова» и «божества» или «ограды» и «серенады», есть какое-нибудь угаданье, есть своеобразие, а не просто звуковое безобразие и указание на нечуткость музыкального чувства? Или рифма должна быть, или не должна быть. Если должна, она должна быть верной. Что есть рифма? Наш превосходный Даль определяет: «Однозвучие конечных слогов, в стихах красный склад». Красный, т. е. красивый, воплощающий красоту. Вы знаете, во что одевается красота? В эллинский мрамор, в церковно-правильные линии, в ткани, где каждый извив – соразмерность, в строгую верность звука и отзвука, – часто и в прихотливость, но в такую прихотливость, где за кажущейся прихотью – строгая основа верного угадания. Не в ленточки, одну покороче, другую подлиннее. Не в

побрякушки, напоминающие утиные пошискивания детских игрушек.

Слово «рифма» взято нами из греческого слова «ритмос»... Слово «ритмос» значит по-гречески «такт», «ровность в движении», в применении к речи означает, кроме того, «образ», «фигура», «пропорциональность». Прекрасно. Посмотрите, сколько тут указаний нам в самом слове. Благородные, красивые эллины писали сами без рифм, а нам подарили слово «ритмос» и любовью к ритму – певунью рифму. Это как Пушкин. Он в «Обвале» создал чисто звуковую музыку стиха, тот построенный на музыке стих, который позднее создал Фет, Тютчев и – да будет дозволено сказать – я, но сам он не захотел писать этим играющим стихом, а пошел по другой дороге, тогда бывшей на очереди – необходимой. Ровность в движении стиха – это и есть верная рифма, между прочим. Ибо неверная рифма есть музыкальная неприятность, неровное движение по кочкам, умышленная нестройность, а если неумышленная, то указующая на недостаточное владение музыкальным инструментом. Неверная рифма – не образ, а гротеск, безóбразность или же безобразие, не фигура, понятие, означающее красивую правильность и законченность в сочетании линий, а фигурничанье, заборные узорчики, личина, в которой все и содержание – то, что она без склада и лада, не пропорциональность, составляющая аксиоматический закон высокой красоты, не Афродита и не Афина, а так себе, ничего себе, косоватая сухоручка, правая рука покороче, а левая подлиннее, и все с левой стороны она старается, левша, неуютное чудо-юдо.

Вы помните, как пропел наш боготворимый, всепонимающий, рифму:

Рифма – звучная подруга
Вдохновенного досуга,
Вдохновенного труда...

Вы терпеть не можете Валерия Брюсова. Вы ужасаетесь и негодуете, что он посмел – и плохая то была смелость – окончить «Египетские ночи», которые Пушкин не счел надобным кончать. Но, знаете, для последовательности, вы, не принимая Пушкинского закона правильной рифмы и полагая, что неверная рифма есть дальнейший поступательный ход стихотворчества, должны были бы улучшить три эти божественные строки. Так легко, например, сказать:

Рифма – звучная подруга,
Украшаешь ты досуги
Вдохновенного труда...

И вдохновенность, пожалуй уж, тут кончается.

Вы вздыхаете, видя мою непримиримость, и предательски-рассеянным голосом говорите мне: «Но... мне кажется, народная песня очень любит неверные рифмы?» Приветствую, что, кроме Пушкина и Баратынского, вы любите также народные наши песни. Но знаете что – вы насчет этой песни говорите что-нибудь иное. Народная Песня – не связанный никакими правилами род поэтического творчества, народная песня настолько глубинно выражается из народного сердца, что нужно быть Народом и в Народе, чтобы участвовать в создании Народной Песни. Подражать Жар-Птице нельзя. Да притом ваше утверждение неточно. Народная песня любит созвучие, а не неверную рифму. В естественном тяготении к созвучию народная песня одинаково свободно создаст и стихи без рифмы, и стихи с рифмой верной, и стихи с рифмой неверной, и стихи, похожие на прозу, зачинающую песнь, и все это

в народной песне совсем не строится систе-ма-тически, как у вас, юный друг, или у злой нашей Марфы Посадницы разбойничанья в поэзии – Марины Цветаевой, которая свой крупный план посвятила за последнее время созиданию Пугачевщины в русском стихосложении.

Мне хочется сказать еще вам, что в погоне за уловлением какой-то радостной щуки в мелководных бочажках неверной рифмы вы логически пришли к звуковой – простите – тарарабумбии. Вы прислали мне очень интересное восьмистишье, оговорившись, что оно вам не нравится. Вот оно. И заранее скажу: если вы искренни, говоря, что оно вам не нравится, а не замыслили меня в чем-то уловить, то я рукоплещу от радости. Вы скоро исцелитесь от неверной рифмы.

Вам нравится ваше восьмистишье – иначе бы вы не написали для самой себя, – но по вашему изяществу поэтическому, вашему тонкому вкусу, возлюбившему того, кто воспел Соименницу зари и Последнего поэта и Где сладкий шепот моих лесов? – как могли бы понравиться ваши собственные рифмы, когда, доводя до предельности закономерность вашей системы, вы изволили впасть в знакомые нам с детства грамматические звукосочетания, вроде «Белый, бледный, бедный бес» или «От топота копыт пыль по полю несется».

Итак, ваше восьмистишье:

С тихим вечером в разладе,
Я грустила у ограды,
И слегка тревожил гряды
Ветер в сумеречном саде,
И клонились ветви долу.
Грусть не в силах вынесть доле,
И подвластна мерной доле,
Ночь окутывала долы.

«Разладе» вы, надо думать, рифмуете с «грядЫ», а «оградЫ» с «саде». Но – природу гони в окно, она войдет в дверь, гони в дверь, влетит в окно или даже через щель проберется. Ведь вы правильно срифмовали, но только 1-ю строчку с 4-й, а 2-ю с 3-й. Допустим, однако, что вы рифмовали «по-своему» 1-ю строку с 3-й и 2-ю с 4-й. Господь с вами, наша тяжба слишком затягивается. Но это «долы-доле-долу-доле»! Зззвить, как гармошка! Как хотите, я даже народную песенку вспомнил одну. Екатеринославскую:

Крыса с мышей задралася,
Крыса в яму убралася,
Да не взялся Терешка,
Вмотал крысу в рогожку,
Да понес на базар.
Никто крысы не купает,
Никто даром не берет.

Бедная крыса. Но вот я ее беру. И говорю. Юный друг, если вы хотите, чтоб смена рифм была певучей, постарайтесь, чтоб ударная гласная в 1-й и 2-й строках была не одинаковая, не «а – а», не «о – о», а, скажем, «а – и», «о – у» и т. д. Если вы именно стремитесь к особому напевному действию монотонности, так потрудитесь одевать свою ударную гласную в нетождественные согласные... Восьмистишье ваше прелестно, хотя с краю, где рифмы, вы бедное свое детище окутали в безобразные цыганские лохмотья, совсем не романтические и не загадочные...

Ни Пушкину, ни Баратынскому, ни Тютчеву, ни Фету, ни покорному вашему слуге еще не приспела пора простонать: «Мне время тлеть, тебе цвести». Нет, ваш талант цветет и расцветает, но не сорная поросль, которая называется неверной рифмой. И от верного заполнения души высоким созерцанием, проникновенною

ощущью того строя, который чуется везде в Природе, неизбежно в душе поэта рождаются верные рифмы.

Как ни божественно воспел рифму Пушкин, Баратынский воспел ее еще божественнее. Вы помните, как кончается его гимн. Завет поэту.

...Ты, рифма, радуешь одна
Подобно голубю ковчега,
Одна ему с родного брега
Живую ветвь приносишь ты,
Одна с божественным порывом
Миришь его твоим отзывом
И признаешь его мечты.

1928, VIII

Орлиные крылья

(Лев Толстой)

Красивы орлиные крылья. Они разрезают вышний воздух. В их свисте, в их вольном шелесте слух человека, любящего простор и умеющего всходить на горные высоты, улавливает песню, и эта музыка орлиного полета часто бывает напевнее, чем сладчайшая песня певчих птиц. Не может дух человеческий долго думать о том, что орел терзает добычу, но через века, чрез многие тысячелетия он избирает орла своим знаменем и видит его в священных своих видениях, заносит его лик на стены своих храмов, ибо орел, живущий одиноко и свершающий свой полет в самом пустынном верховном воздухе, учит человека великой свободе и великому одиночеству.

И есть остроокий орел вещих преданий, который орлиным своим голосом произносит роковые пророчества.

Красива стать, и ступь, и вся зримая образность льва, его голос замиранье существ, его прыжок – свершенная судьба, его тело изваяно из силы и воли. Не увидеть льва в его пустыне и не восхититься им – значит, быть бедным, увидеть его хоть краешком глаза – это понять глубину страха и объем смелости, познать нечто неизмеримо более красноречивое, чем то, что видишь каждый день, это узнать, почему народ оспаривает у народа высокую честь взять образ льва своим знаком и знаменем.

И есть лев, который, занозив свою мощную лапу, кротко приходил к святому Иерониму, прося врачеванья, и священный этот лев, устав от львиного, утомившись звериным, умел делать странно-покорные домашние работы и различал своим львиным слухом все человеческие, мудрые и немудрые, шептанья о

Вечности, не насытив, однако, своей львиной души ни одним из этих человеческих шепотов.

Не увидеть льва и орла – не увидеть края Земли дальнейшего, – не увидеть редчайших цветов, красивейших женщин, наидостойнейшего из людей, но это было бы безумием, – говорил я самому себе ровно четверть века тому назад. Я должен увидеть Льва Толстого. Я его увижу.

И благодарение многощедрой Судьбе – я его увидел.

Я сейчас расскажу об этих двух встречах то немногое и то незабвенное, что в них было, но мне хочется раньше спросить себя: чего я искал, – тогда, когда все мне казалось достижимым, – во встрече с великим, с гениальным Львом Толстым? Я искал увидеть того, кто юношей в начальной поэме самого себя, в изумительной повести «Казаки», бросил как клич, – быть может, в своем богатстве, почти не замечая, обронил, – бессмертные слова: «...Но Оленин слишком сильно сознавал в себе присутствие этого всемогущего бога молодости, эту способность превратиться в одно желание, в одну мысль, способность захотеть и сделать – броситься головой вниз в бездонную пропасть, не зная зачем. Он носил в себе это сознание, был горд им, и, сам не зная этого, был счастлив им». Неисчерпаемо-прекрасные слова. Вся мудрость сердца в них, вся честность зрящего ума.

Осенью 1901 года я был в Крыму, в Ялте, и довольно дружил с Чеховым, с тихим, добрым, потихоньку насмешливым Чеховым. Раз он сказал мне: «А вы знаете, в Гаспре Лев Николаевич Толстой. Хотите, свезу вас к нему?» Всегда суеверный, я вздрогнул от радостного чувства: и не искал еще желанного случая, а вот он тут. Конечно, конечно, я хочу. И на другой день втроем, Чехов, я и Горький, мы ехали к Толстому.

Очарованием сияют и дышат Крымские горы. Не тем могучим, которым поразил Оленина Кавказ и заставил во все мечты вплетать восклицанье: «А горы...». Но нежно-фиолетовая горная стена, оплотом хранящая дорогу от Ялты к Гаспре, тоже единственна в своем чаровании. Чехов и Горький все время возбужденно говорили друг с другом. Я молчал. Я чувствовал застенчивое счастье: «Я сейчас увижу – Его». Так идут к исповеднику, так едут к венцу. Но мы должны были проехать какое-то царское владение. Не сразу нас пропустили, и все же достаточно быстро и учтиво. Но Горький после этого бахвалился: «Я, мол, да мы, мол, вот что будет сделано. Я прав. Я...» Мне казалось это неуместным. Чехов посмеивался, трунил надо всем и надо всеми и рассказывал невероятные случаи удалой лихости Льва Толстого в юности, да и только ли в юности. Мне казалось это странным и неуместным. Ехать к Толстому – и так думать, и так говорить. В цельной наивности захватившего меня чувства я внутренне рисовал себе, как мы сейчас будем у единственного, и спрашивал себя: «Какие стихи я ему прочту? Конечно, такие, где горы, где высоты...

Взойди на высоту,
Побудь, как луч заката,
Уйди за ту черту,
Откуда нет возврата».

Когда мы приехали и нас ввели в комнату Льва Николаевича, – когда, увидев Чехова, он воскликнул: «А, это вы!» – я узнал, что в одном звуке голоса того человека, пред которым велико твое душевное преклонение, гораздо больше выразительности, чем в самых красноречивых словах. Этот голос я слышу сейчас, и в напевной его мягкости – внутренняя озаренность просветленного, переливная красота души человеческой,

обрадованной встречею с душой человеческой. Простота, но простота Природы, где в действительности ничего нет простого, но все неизмеримо-сложно.

Разговор был путаный и чисто литературный. Лев Николаевич с увлечением говорил о французских романистах и, к моему безмолвному недоумению, весьма восхвалял книгу Мирбо «Дневник горничной». Мы скоро поехали обратно, и после этой первой встречи я возвращался глубоко несчастный. Не потому, разумеется, что мне не пришлось прочесть Льву Толстому никаких стихов. Нет, кроме ласкового голоса и тонкости черт гениального лица, не было душе моей никакой добычи, и когда Чехов с Горьким говорили, что Лев Николаевич в речи употребляет слишком много иностранных слов, я с горечью думал, что это правда, но тут же с упрямством испытывал непримиримую неприязнь к Чехову и Горькому и мысленно давал себе клятву, что, если, увидев Толстого, я не увидел его, я увижу его, когда я увижу его один.

Через несколько дней я совершил на дом Толстого бесстыдный набег. Бесстыдный ли? Нет, я должен был вскоре уехать за границу, так как был выслан из Петербурга и Москвы за мятежные стихи, и не знал, удастся ли мне еще когда-нибудь быть в близости от Избранника. Не бесстыдство это было, а отчаянная жажда увидеть настоящее лицо любимого. Знакомый татарин на быстрых и звонких лошадях привез меня к заветному крыльцу. Служитель вежливо-отклоняюще сказал мне, что Льва Николаевича нет, что он ушел гулять. Совершенно нелогически, но весьма убежденно я сказал решительным голосом, что я приехал для серьезного разговора и буду ждать, пока Лев Николаевич не вернется. Служитель недоуменно проводил меня в приемную комнату, и, совершенно похолодев от того, что я только что с такою для себя самого неожиданною и

непривычною решительностью сделал, я сидел как приговоренный к некоторой очень ощутительной каре. Совсем вскоре я услышал, что кто-то вошел снаружи дома в прихожую, тихий говор двух голосов, освеженный прогулкой, вошел Лев Николаевич, а я вскочил и как школьник, застигнутый над запретной книгой, воскликнул: «Лев Николаевич, я хочу с вами говорить, простите, я хочу, я должен».

«Да это-то хорошо, – сказал он мягко, – только не вовремя вы пришли, мне нужно сейчас отдохнуть».

С мольбою в голосе я воскликнул: «Я уйду и буду гулять. Позвольте мне прийти к вам, когда вы отдохнете».

«Ну, вот и хорошо, – сказал он совсем родным голосом, – подите погуляйте, а через час приходите».

Ответив самым признательным взглядом, я ушел.

Нет, так только ждут свиданья, как я ждал, чтоб эти шестьдесят минут прошли... И в этот час моей жизни я не находил, что природа Крыма полна очарования, я не находил себе в ней места.

Снова я в той же комнате и один. Лев Николаевич еще отдыхает. Я низко опустил голову и думал, что самое желанное только кажется совершенно доступным. Я думал о странной притягательной силе этого великого человека, влагающего свою особую выразительность во все, что с ним связано. Я не слыхал, как он бесшумно подошел ко мне и приветливо сказал: «Ну вот, пойдемте теперь ко мне». И мы вошли в его комнату. Мы были вдвоем.

Кто не был в Египте, кто не видел, какого цвета Тихий океан вокруг коралловых островов, кто не следил долгими днями и ночами, как летит седой альбатрос, – тому всех этих откровений не расскажешь, хоть напиши об этом пребольшую книгу с полной осведомленностью и с наилучшими картинками. Великий дух

нерассказуем, когда он приоткрывает свой единственный лик. И, побыв близ него хоть мгновенье, не разлюбишь его никогда.

Только час я побыл вдвоем с великим да еще лишь минутку последнюю, когда с ним прощался, но духовная значительность этого часа и этой минутки протянула полосу света на десятки лет. Почему Лев Толстой не прогнал меня, а принял меня как родного? Почему он оставил меня обедать и говорил со мной еще целый вечер в окруженье своей семьи? Почему он начал беседу, посмеиваясь надо мной и над моими стихами и дразня во мне задор, а потом, вдруг меняясь совершенно, голосом ласково-строгим спросил в упор: «Да кто вы такой! Расскажите мне о себе». И, внезапно почувствовав в сердце магнетический толчок, я вдруг приобрел ваяющую силу власти над повествующим словом и в полчаса рассказал Толстому всю свою жизнь так сжато и ярко, как никогда никому не рассказывал ни до ни после. Почему разъятой душе, игравшей своими пламенями и дымами, было так радостно-легко пред этим умудренным исповедником, не обременявшим колеблющегося своею найденной властью, своей обретенной тишиной?

Этого рассказать нельзя.

В ту последнюю минуту, когда волею Судьбы я был опять вдвоем в комнате с Великим Избранником, он, видя мою искреннюю устремленность к нему и чувствуя правдивую пронзенность и разорванность той моей минуты, приподнял руку и сказал: «Вы скоро переменитесь. Это все в вас пройдет».

Это все и доселе еще не прошло. Но через полгода после этой встречи я переменился. В моей душе возник голос, какого не было до того среди всех звучавших мне голосов, и новый этот голос – он самый сильный и уже не уйдет.

Когда я вспоминаю подобное благословению подъятие той бессмертной благороднейшей руки, написавшей бессмертные светящиеся страницы, я думаю, что я видел Первосвященника. И в бездорожье мне чуждых дорог, и в диком бешенстве всех враждебно скрещивающихся ветров – иной руки указующей мне не надо.

Париж. 1826, январь

Острый час

Посвящаю художнику Архипову

Я люблю опасности полета,
Я лечу – хотя б на истязанье.
Дар Земле

Бывают дни, бывают часы, бывают мгновенья особой выразительности. Яснее видишь и уходишь дальше – обогащенный. Но в ряду выразительных полос времени случается иногда острый час, и только тогда видишь все с изумительной ясностью и уходишь дальше – обогащенный кладом неповторимым и нетеряемым.

И много встречается в жизни, много, много влекущих лиц, что-нибудь говорящих душе. У одного глубокие глаза, у другого ворожащий голос, мудрость особенная, насмешка, шутка, напоминание другому о том, что другой хочет выразить, но никак еще не может, и неизъяснимая неожиданность. Да что пересчитывать? Сочтешь ли все солнечные лучи, и красноречие древесных шорохов, и нежный стук в дверцу сердца, исходящий из полевого цветка, и волнующие внушения, исходящие из человеческого лица и говорящие не о человеческом, а поющие о просторе степи, или о тигрином прыжке, или о забвенном полете сокола по голубому небу?

Среди русских художников, – а я их видел много, когда мне было лет двадцать пять и поздней, – я запомнил много таких, что они мне были милы, и они мне говорили не только словами, а просто одним своим видом. Коренастый Суриков – не вся ли эта мощь казака и раскольника и просторов Азии, где реки широкие и леса дремучие и рука человеческая умеет свершать великое дело? И нежный, шутливый Левитан – не

очарование ли русского лесного затона, над чьей водой любо задуматься и усмехнуться влюбленной девушке? А Врубель? Это тонкое лицо волшебника.

Врубель – пламень, лебедь, демон,
Врубель – бешеная скачка
Четырех копыт коня.

И весело хохочущий, торжествующий Ярило, Константин Коровин. И зоркий, всегда себе на уме, Серов. И просветленный, как мартовские уходящие дали, Аполлинарий Васнецов. И старший Васнецов, истовый иконописец, сам весь подобный иконе. И заплутавшийся в трех разных своих талантах, полуизменивший живописи для стихов и женолюбия, Модест Дурнов, человек ума четкого. И много еще других.

В лице каждого из названных меня поражала какая-нибудь одна черта, складка – незримая для обладателя, но зримая мне, вся повесть вот этого человека творящего, весь его сказ и судьба.

И еще не знал я в точности, кто такой в действительности Архипов, увидеть две-три картины художника не значит еще знать его, только его дар видишь, сильное живописание, – и еще среди других своих сверстников он все больше помалкивал, когда кругом говорили словоохотливые, лишь иногда усмехался коротким смешком и ронял срывчатым голосом немногословное, меткое соображение, – а юный и молчаливо-зоркий, бывая среди художников, я почему-то отметил сердцем именно его, Архипова. Сразу стал он мне люб своей умною скромностью, отдельностью от других, внутренней упрямой силой и неуловимо-народным, простонародным крестьянским складом лица, и усмешки, и своего говорка. В деревне, в детстве, видел я такие лица, и на меня от них всегда веяло грустною силой

полей, тихим разлитием зорь, первородною прелестью ивы, гибкой, неломкой, к воде наклоненной, в звездную воду глядящей, будто бы вовсе не могучей, а на деле непобедимо-сильной, вербные цветы дающей ивы.

Мы подружились, и я у него бывал. Мое влечение к нему лишь усилилось, конечно, когда он мне рассказал, как поздно и с какими невероятными трудностями он вступил на славный путь художественного делания. Россия – не Италия. Много суровее. И в России, в Москве, подросток, продающий на улице спички и делающийся одним из самых достойных художников своей Родины, – эта легенда были, эта творческая сказка действительности – мне кажется, с примесью горечи, красивой и сладкой – как итальянский язык.

Дальность времени и полная завершенность прошлого дозволяют мне рассказать – не в тесном кружке друзей, а просто вслух – о том, как я однажды пережил острый час и как этот решительный, острый час был внешне и внутренне связан с Архиповым.

Это было в Москве незабвенных 90-х годов. Я ждал окончания зимы, только что еще начавшейся и размашисто игравшей своими белыми метелями. Морозные дни, морозные ночи и тоска в сердце. Почему тоска? По окончании зимы меня должна была обласкать, наконец, долгожданная радость. Я был женихом той красивой девушки, которая стала моей Беатриче и вовлекла меня в изучение Данте и сокровищ мировой живописи, и это в ее благословенной близости я написал ряд книг, начиная с торжествующей «В безбрежности» и стройной «Тишины». Меня ждало такое несказанное счастье, а в сердце была тоска. Почему же?

Глупые, столь часто лгущие, столь несчастно ошибающиеся врачи сказали мне, что мои легкие не в добром порядке, что меня ждет чахотка. И я не знаю, смею ли я взять свое счастье. Я закутил.

Работа, кутеж. Кутеж, работа. Работа, свидание, счастье, сомнения, пытка. Кутеж, работа. Работа, кутеж. Так длиться больше не могло. Надо было принять какое-то решение, надо было что-то сделать.

Раз вечером я снова сидел у своего близкого приятеля, сына известного художника, Александра Трутовского. Милый человек, хлебосольный хозяин, адвокат-говорун, любитель-музыкант, первостепенный мастер кутежей. Я часто проводил у него вечера, которые нередко затягивались до утра. Этот раз, после двух суток весьма условного или, точнее, вполне безусловного времяпрепровождения, в душе моей была грусть и тишина, кутить мне более вовсе не хотелось. В мыслях стоял дорогой, прекрасный призрак и, мнилось мне, молча смотрел на меня с укоризной. Стенные часы пробили восемь. Во мне вставала сперва неясная мысль, потом она приняла совсем четкие очертания и превратилась в магнетическое желание, в волевой толчок, в негнущуюся волю. Минуты отзвенели новый танец шестидесяти. Пробило девять. Пора.

Я встал и ничего не говоря никому, ни хозяину, ни гостям, ни прислуге, прошел незаметно в прихожую, взглянул с усмешкой на свою шапку, шубу и калоши, открыл выходную дверь, тихонько закрыл ее за собой, американский замок щелкнул, дверь заперлась, я был на свободе, один со своим решением.

Она была простая, эта мысль, и оно было неуклонно, это решение. Проверять врачами врачей – занятие долгое и бесполезное. Я решил проверить Судьбу сам. Был я всю жизнь достаточно сильный и не хворал никогда никакой болезнью, – ну так что ж – если утверждают, что путь к счастью мне закрыт или же надо на него вступить с раздвоенною совестью, я проверю, так ли это в действительности. Я решил: в одном сюртуке, без верхней одежды, в лютом холоде, пройти от

Трутовского, который жил на Спиридоновке, недалеко от Никитских ворот, до Архипова, до ласкового Архипова, который жил на Мясницкой.

Что было магнитом, повлекшим меня в такое безумное или такое высокое предприятие? Безумство честной мысли и честной решимости. Если мне суждена чахотка, конечно, на полдороге я упаду и у меня будет воспаление легких, которое все разрешит. Если я дойду до того, кого я душою своею чтил и любил, – и за его всегдашнюю внимательную ласковость ко мне, и за то, что он сумел из уличной действительности вступить, взнестись в лучезарную сказку искусства, – тогда, – если я дойду и выдержу этот искус, – о, тогда путь к счастью и целой лучезарной жизни для меня открыт.

Как весело было пройти со Спиридоновки до Никитских ворот и быстро пройти длинный верстовой Тверской бульвар. Однако уже на Страстном бульваре на меня напала слабость и сомнение, верно ли то, что я задумал. Еще так легко вернуться. Взять извозчика и быстро вернуться в теплую комнату, где звучит музыка и поют молодые голоса. Я присел на обледеневшую лавку, и голова моя упала на мою грудь. Жалко жизни, если она уйдет. В душе моей была нестерпимая борьба. Минуты длились, и я вернее бы погубил себя колебанием и неподвижностью. Меня спасли метельщики, самый последний и самый юный из них.

Мимо меня проходили прохожие, но никто не обращал на меня внимания, хотя человек без шубы и шапки, сидящий на бульварной лавочке в этот час и в этот мороз, казалось, должен был бы возбудить недоуменное внимание. Москва давно привыкла ко всему. Но, пересекая Страстной бульвар, мимо меня прошел гуськом целый караван метельщиков. Куда они шли? Откуда они шли? Разгребали снег? Не знаю. Разгребать снег? Но первый посмотрел на меня, задержался на

минуточку и, покачав головой, с сожалением сказал: «Э-эх, барин!» И пошел своей дорогой дальше. И за ним все другие. Точно в сказке или в театре. А самый последний, мальчонка лет пятнадцати, остановился и добрым голосом убедительно промолвил: «Не сиди, барин. Замерзнешь». И он тоже пошел своей дорогой. Тут я не колеблясь встал и тоже пошел своей дорогой.

Долгая линия бульваров до Мясницкой. Я шел. На минутку садился отдохнуть – и шел дальше. Так пройти пять-шесть верст, это, пожалуй, можно счесть и за несколько десятков верст правильного пути. Но вот она, Мясницкая, ход с переулка. После всех пыток, только что мною пережитых, я стоял и звонил к Архипову, и, если б грешник стоял и стучал в ворота Рая, верно, он испытывал бы нечто подобное тому, что испытывал я.

Увидев меня обмерзшего, с обледеневшим лицом, покрытого инеем и снегом, без шубы и шапки, Архипов всплеснул руками и пришел прямо в ужас. Впрочем, нет, совсем не в ужас, а только в крайнее беспокойство и озабоченность. В нем всегда было достаточно веской уравновешенности, чтоб, не предаваясь бесполезным чувствиям, что-нибудь сделать, что нужно сделать.

В две-три минуты узнав, в чем дело, он велел прислуге поставить самовар. Или самовар уже шипел на его столе? Этого в точности не помню. Ясно лишь помню, что через какие-то минуты после моего морозного пути, к концу которого все стало казаться мне состоящим из снега и отделяющим меня от жизни, я сидел за уютным столом у Архипова, он с ласковой настойчивостью заставил меня выпить две-три рюмки английской горькой и усиленно поил меня горячим, крепким чаем. Мы говорили, он слушал, он говорил, больше слушал, а в общем, вел себя как старший брат,

хоть и не знаю, старше ли он меня, и вскоре уложил меня спать.

Какое это было счастье. Что будет завтра, я не думал. Я дошел туда, куда шел. Главное было сделано. И милый Архипов, зайдя проститься со мной перед сном, укрыл меня поверх одеял еще чем-то теплым. Так ласково укрыть мог бы только брат. Или няня. Или мать.

На другой день я проснулся счастливый и здоровый. Ни малейшей простуды. Царь-Мороз меня пощадил, он любит причуды. Ни знака, ни следа, одна бодрость и ощущение силы.

И позднее та, кого я любил, та, кого я люблю и сейчас, кто любит меня и сейчас, стала моей, а с нею – и ею – мне открылся мир.

Через преграды пространства и времени, Архипов, я шлю вам мой братский поцелуй, – вам, с кем в красивые годы я пережил мой острый час.

Париж. 1926, 25 февраля

Ответ на анкету «Война и творчество»

Начало войны застало меня во Франции, на Атлантическом побережье, в городке Soulac-sur-Mer. Там, в Париже, я провел весь первый год войны, ибо неустранимые обстоятельства мешали моему приезду в Россию.

Находясь на чужбине, хотя и в светлой Франции, я, таким образом, вдвойне ощущал войну, но ощущение войны не только не помешало мне работать, а напротив – умножило способности работы.

Первый год войны я верил в чудо возрождения славянства, в давно уже сердцем жданное чудо братского слияния России с Польшей, – и продолжал свои давнишние изучения польской литературы и польской истории.

Я написал также книгу сонетов, терцин и поэм «Ясень, Видение Древа». Я перевел также три лучшие драмы индусского театра, драмы Калидасы.

Вернувшись прошлой весной в Россию, я продолжал жить среди работы.

Несмотря на то, что дважды я проехал в течение года всю Россию со своими выступлениями, от Москвы до Тифлиса и Кутаиса и от Питера до Владивостока, я написал за этот год новую книгу стихов «Сонеты солнца, меда и луны», перевел древнегрузинскую поэму Шота Руставели «Носящий барсову шкуру», в которой 6000 строк и которая своею роскошью картин и возвышенностью настроений живописует боевой благородный дух красивого грузинского народа. Я сделал также ряд других работ.

Указывая на все это, я хочу лишь сказать, что, будучи лишен возможности принять в войне непосредственное участие, я в своей области поэзия и художественное слово – чувствовал себя мобилизованным и работал не менее, а более, с большей напряженностью, чем в мирное время. Прямого отражения в

моем творчестве война, однако, почти не нашла. В начале войны, когда я представлял себе ход войны совершенно иным, – каким он мог быть, каким он был в действительности и перестал быть благодаря темным бесчестиям тыла, – я еще писал какие-то стихи, непосредственно связанные с войной. Некоторые из них можно найти в «Ясени». Но когда сердце было обмануто, – но после того, как самые дорогие заветные представления были опозорены десятикратно и более, – я не могу и не хочу говорить о войне ничего, – во всяком случае, та благородная музыка, которая называется стихом, не примет больше этого слова в себя.

Я не думаю, чтоб, вообще говоря, война доселе оказала какое-либо особенное влияние на русскую литературу. На темы, связанные с войной, появилось около десятка хороших стихотворений и несколько сотен несносно плохих, бессмысленных, пошлых.

То же надо сказать и о беллетристике. Но это все не имеет решительно никакого значения. Влияние войны на письменное слово и слово вообще скажется, когда пройдет несколько лет по окончании войны. Кровавые зерна войны падают в глубь земли и прорастают медленно.

Когда же драконовы зубы, исторгнутые из хищной пасти, падут в землю, уже негодующую за осквернение и обесчещение, из них вырастут красивые и страшные чудовища, которые затенят еще более жуткие игры огня, железа, тлетворных дыханий, полета по небу, подземного и подводного разбоя, – до нового гнева Земли и новой гибели Атлантиды.

1916, декабрь

Письмо в редакцию газеты «Русь»

М. Г. В No 46-м вашей уважаемой газеты я прочел: «В газете «Русь» нет больше никаких сумм для безработных». Мысль моя говорит мне, что четыре есть воистину страшные проклятия, которые могут постичь отдельного человека.

Презирать самого себя; увидеть близкого человека изменником; желать помочь близкому человеку и не иметь к тому возможностей; желать работать и не иметь возможности получить работу. Первое проклятие, если не развеется, приводит к самоубийству или к утрате человеческого лика; второе проклятие может растерзать сердце, во всяком случае, навсегда оставить его раненым; третье причиняет острую боль и может вызвать отчаяние; четвертое же, быть может, всех страшнее, ибо в нем, в возможности, существует и три первые. Если я, работник, не имею работы, я могу проникнуться, пусть незаслуженным, а все ж беспощадным презрением к себе. И я могу сам сделаться изменником. И я не смогу помочь своим близким. Тут, раз эта пытка длительна, я – на границе самоубийства, преступления и помешательства. Куда же я пойду с своими руками, которые хотят работать, а вот работы нет? Так больше нельзя. Так больше нельзя.

Мысль моя говорит мне еще, что в новой эре русской жизни, начавшейся давно, 9 января 1905 года, никто не сыграл такой благородной, красивой, самоотверженной роли, как петербургский рабочий люд. Имя петербургского пролетариата тяжким свинцом и красным золотом записано в страшной летописи Русской истории. И что ж: теперь мы, пользующиеся свободами, пусть урезанными, но все же свободами, предоставляем этому самому петербургскому рабочему люду нести на себе тяжесть уродливого понятия, которое называется безработный рабочий. Я считаю

позорным и взываю к слышащим: придите, придемте на помощь, ибо два эти слова – безработный рабочий – как клеймо каторжника, выжженное каленым железом.

Я посылаю от себя в пользу безработных петербургских рабочих 100 франков (40 рублей) и говорю: я человек небогатый, 40 рублей для меня деньги. Если, однако же, я их выделяю из своего литературного заработка, неужели те из друзей моего поэтического творчества, которые богаты, – а таковые, я знаю, существуют, – неужели они не услышат сейчас мой голос? Я говорю вам, вы, неведомые мне, но меня слышащие, вы, с которыми я тайно соединяюсь золотыми и серебряными своими напевностями, – услышьте мой призыв и умножьте эту цифру 40.

Умножьте ее: вы поможете мне чувствовать радость жизни – я создам для вас новые созвучия. А что будут чувствовать те, до которых дойдут величественные следствия нашей тайной беседы, – этого знать нельзя, но знаю только, что им хоть на минуту будут светить звезды, которые часто, о, часто, светят нам.

1908

Поэзия как волшебство. (1915 г.)

Зеркало в зеркало, сопоставь две зеркальности, и между ними поставь свечу. Две глубины без дна, расцвеченные пламенем свечи, самоуглубятся, взаимно углубят одна другую, обогатят пламя свечи и соединятся им в одно.

Это образ стиха.

Две строки наивно уходят в неопределенность и бесцельность, друг с другом несвязанные, но расцвеченные одною рифмой, и глянув друг в друга, самоуглубляются, связуются, и образуют одно, лучистопевучее, целое. Этот закон триады, соединение двух через третье, есть основной закон нашей Вселенной. Глянув глубоко, направивши зеркало в зеркало, мы везде найдем поющую рифму.

Мир есть всегласная музыка. Весь мир есть изваянный Стих.

Правое и левое, верх и низ, высота и глубина, Небо вверху и Море внизу, Солнце днем и Луна ночью, звезды на небе и цветы на лугу, громовые тучи и громады гор, неоглядность равнины и беспредельность мысли, грозы в воздухе и бури в душе, оглушительный гром и чуть слышный ручей, жуткий колодец и глубокий взгляд, – весь мир есть соответствие, строй, лад, основанный на двойственности, то растекающейся на бесконечность голосов и красок, то сливающейся в один внутренний гимн души, в единичность отдельного гармонического созерцания, во всеобъемлющую симфонию одного Я, принявшего в себя безграничное разнообразие правого и левого, верха и низа, вышины и пропасти.

Наши сутки распадаются на две половины, в них день и ночь. В нашем дне две яркие зари, утренняя и

вечерняя, мы знаем в ночи двойственность сумерек, сгущающихся и разрежающихся, и, всегда опираясь в своем бытии на двойственность начала, смешанного с концом, от зари до зари мы уходим в четкость, яркость, раздельность, ширь, в ощущение множественности жизни и различности отдельных частей мироздания, а от сумерек до сумерек, по черной бархатной дороге, усыпанной серебряными звездами, мы идем и входим в великий храм безмолвия, в глубину созерцания, в сознание единого хора, всеединого Лада. В этом мире, играя в день и ночь, мы сливаем два в одно, мы всегда превращаем двойственность в единство, сцепляющее своею мыслью, творческим ее прикосновением, несколько струн мы соединяем в один звучащий инструмент, два великие извечные пути расхождения мы сливаем в одно устремление, как два отдельные стиха, поцеловавшись в рифме, соединяются в одну неразрывную звучность.

Звуки и отзвуки, чувства и призраки их,
Таинство творчества, только что созданный стих.

Давно было сказано, что в начале было Слово. Было сказано, что в начале был Пол. И в том и в другом догмате нам дана часть правды. В начале, если было начало, было Безмолвие, из которого родилось Слово по закону дополнения, соответствия и двойственности. Из безгласности – голос, из молчания – песня, из тишины – целый взрыв звуков, неизмеримый циклон шумов, криков, воплей, шепотов, грохотов, лепетов, жужжаний струны, зорь из Хаоса, красных цветов из черной Ночи, рубиновых пожаров творческого Дня, звезд, разбросанных всемирной мятелью, бесконечность вьюжных дорог, соединившихся в единый Млечный Путь.

В начале, когда возникло начало, единый Пол, не знавший ни меры, ни времени, залюбовался на себя, и, в единичной своей залюбованности испытав безмерность блаженства, в силу этой безмерности захотел большего, и сила жажды создала двойственность, единое стало двойным, цельное – множественным, одно стало два, а два стало три, четыре и бесконечность, ибо двое должны быть в мире, чтобы возник поцелуй, – ибо он и она должны быть в мире, чтобы озвездилась Любовь, со множественностью всех своих сияний, дробление звуков, переклички их и воссоединения в один напев, – две должны быть строки, чтобы между ними пела рифма, и должно быть их не две, а более, – три в трехстрочии, и четыре в строфе, и восемь в октаве, и четырнадцать в сонете, и много, несосчитано много, в поэме.

Одна гора красива и вздымается к небу как бы застывшим костром, пламя которого заострилось и замерло, – восходит к небу как бы безглагольным гимном, что начался широким вещанием, кончился лезвием мысли, постепенно суживающимся, равномерно заостренным, призывом, уводящим в лазурь. Одна гора красива, но когда две высокие вершины, но когда две вершины в известной отдаленности и в известной близости, связаны друг с другом – некоторым соответствием размера, некоторой линейной зеркальностью, и высятся как бы повторяя друг друга, не в однозвучной тождественности, а в дружном ладе сродства, – в душе глядящего вырастает напевное настроение, в нем как бы льнет строка к строке, в нем возникает целая песня, где строки различны, но образуют одно целое, как различные горы, слагаясь в целое, образуют одну горную цепь.

Горное озеро огромным зеркалом серебрится внизу. Высокая горная вершина смотрится в ровные воды.

Силой тайного соответствия, два эти разные явления сочетаются в одно. Исполинский непроницаемый камень отражается в прозрачной влаге. Высокая гора смотрится в глубокую воду. А человеческая душа, которая видит это, встает третьим звеном, и, как рифма соединяет две строки в одну напевность, душа связует безгласную гору и зеркальную воду в одну певучую мысль, в один звенящий стих. И снежную гору, которая смотрится в воды, человек назовет Юною Девой, а это отражающее озеро он назовет Розой Пяти Ветров.

Из малого желудя продвигается зеленый росток. Зеленый побег превращается в деревцо. Деревцо вырастает в огромный дуб. Дуб разрастается в рощу – широкошумная дубрава, зеленый гай. Первичный ум человека глядит и видит, полное высокой поэзии, соответствие в двойственности лика древесных существ. Есть напевная чара в том, что из плоской земли вырвался возносящий ствол. Горизонтальная и вертикальная линия, своим пересечением и своим соединением, ведут мысль по двум путям расхождения, и в то же время задерживают ее в чаре созерцания единого чуда, которое называется говорящим дубом, где ветка соответствует ветке, и каждый узорный лист соответствует тысяче вырезных листьев, и все это зеленое множество шуршит, шелестит, колдует, внушает песню. Два начала соединились в одно, из одного родилась множественность, множества образовали единое целое, дуб разросся в священную рощу, и друиды соберутся в ней, чтобы петь свои молитвы и напевным голосом произносить заклинание.

Человеческая мысль черпает отовсюду незримое вещество очарования, призрачную основу колдовства, чтобы пропеть красивый стих, – как солнечная сила везде вышивает капли росы и плавучесть влаги, – чтобы легкая дымка чуть-чуть забелелась над изумрудом

лугов, – чтобы белое облачко скользило в лазури, – чтобы сложным драконом распространилась по небу туча, – чтобы два стали одно, – чтобы разные два огня, противоставленные, соприкоснувшись в туче, прорвали ее водоем и освободили ливень.

Древний Перуанец, создатель языка, нежного, как журчанье струй, и нежного, как щебет птиц, слушает небо и слушает грозу, в грозовом небе он видит Владычицу Влаги, таящую в урне текучие алмазы, и влюбленного в нее брата, Владыку Огня.

Прислушиваясь к музыке всех голосов Природы, первобытный ум качает их в себе. Постепенно входя в узорную многослитность, он слагает из них музыку внутреннюю и внешне выражает ее – напевным словом, сказкой, волшебством, заклинанием.

Поэзия есть внутренняя Музыка, внешне выраженная размерною речью.

Как вся внушающая красота морского гула заключается в размерности прибоя и прилива, в правильном ладе звуковых сил, пришедших из безгласности внутренних глубин, и в смене этой правильности своенравными переплесками, так стих, идущий за стихом, струи-строки, встречающиеся в переплеске рифм, говорят душе не только прямым смыслом непосредственной своей музыки, но и тайным напоминанием ей о том, что эта звуковая смена прилива и отлива взята нами из довременных ритмов Миротворчества. Стих напоминает человеку о том, что он бессмертный сын Солнца и Океана.

Далеко на юге Земного Шара, овеянный внушающими ропотами моря, лежит сказочный остров, который был назван Terra Australis, Земля Южная. Этот остров не остров, это остаток неведомого потопшего материка. Причудливые оазисы Моря, избранные места необыкновенных легенд, внушенных Океаном,

Солнцем и Луной, очаги таких богатых и певучих языков, что во всех сочетаниях слов здесь слышится текучий переплеск и сладостно-нежное разлитие светлой влаги. Благоуханные эвкалипты и голубые каучуковые деревья, более прочные, чем дуб, наша стройная акация, имеющая здесь извращенный лик и ползущая по земле уродливым кустом, тонкое кружево казуаровых деревьев, исполинские желтосмолки, сталактитовые пещеры и голубые горы, всегда таинственные степи и пустыни, бескрылые птицы, звери с клювом, человекоподобные кенгуру, – все необычно в пределах Земли Южной, по всем побережьям которой шумит всеокружный Океан.

Первобытный человек черного цвета, живущий здесь, запечатлел в напевных своих сказаниях ту степень проникновения в жизнь Природы, ту лучистую ступень Мироощущения, когда отдельное человеческое Я без конца тонет и вновь возникает в слитном сновидении Миротворчества. Оно в том всепоэмном бытии, когда говорят птицы и травы, и каждое животное есть человек, а каждый человек есть зверь.

Мир нуждается в образовании ликов, – в Мире есть чародеи, которые магическою своею волей и напевным словом расширяют и обогащают круг существования. Природа дает лишь зачатки бытия, создаст недоделанных уродцев, – чародеи своим словом и магическими своими действиями совершенствуют Природу и дают жизни красивый лик.

Но если Черные жители Земли Южной являют лик человека вполне первобытного, Мексиканцы и Майи, не утратив первобытности и самобытности, достигли высокой утонченности, и печатью художественного совершенства отмечены их напевы и заклинания. Они любят музыкальность мысли и звон музыкальных инструментов, а музыка – колдовство, всегда колеблющее в

нашей душе первозданную нашу основу, незримый ручей наших песен, водомет, что течет в себя из себя. Когда на высоких теокалли, в роковую ночь, жрецы Витцтлипохтли, бога Войны, призывали Ацтеков Теноктитлана напасть на испанцев Кортеса, они ударяли в барабаны, сделанные из кожи исполинских Змей, и зловещее гудение этих барабанов было так же угрожающе, как клекот хищных птиц, живущих в именах Мексиканских богов – Цигуакоатль, Женщина-Змея, бог Песни и Пляски, Макуиль-Ксочитль, Царь Цветов, Ксочипилли, Желтоликое Пламя, Куэтцальтцин. Бог Тецкатлипока, который так любил сражение, что сразу был дразнителем двух разных сторон, выстроил в то же время Радугу, чтобы с Неба на Землю к людям сошла Музыка.

Самый гениальный поэт девятнадцатого века, Эдгар По, владевший как никто колдовством слова и странно совпадающий иногда с вещими речениями древних народов, Египтян, Китайцев, Индусов, в философской сказке «Могущество Слов», написал замечательные строки о творческой магии слова. Агатос и Ойнос беседуют. Как духи, они пролетают меж звезд. «Истинная философия издавна научила нас, что источник всякого движения – есть мысль, а источник всякой мысли – есть Бог. Я говорил с тобой, Ойнос, как с ребенком красивой Земли, и пока я говорил, не мелькнула ли в твоей голове какая-нибудь мысль о физическом могуществе слов? Не является ли каждое слово побуждением, влияющим на воздух? – Но почему же ты плачешь, Агатос – и почему, о, почему твои крылья слабеют, когда мы парим над этой красивой звездой – самой зеленой и самой страшной изо всех, встреченных нами в нашем полете? Блестящие цветы ее подобны фейному сну, но свирепые ее вулканы подобны страстям мятежного сердца. – Это так, это так! Они то, что ты видишь

в действительности. Эту безумную звезду – вот уже три столетия тому назад, я, стиснув руки, и с глазами полными слез, у ног моей возлюбленной – сказал ее – несколькими страстными словами – дал ей рождение. Ее блестящие цветы воистину суть самый заветный из всех невоплотившихся снов, и беснующиеся ее вулканы воистину суть страсти самого бурного и самого оскорбленного из всех сердец».

Древние Индусы поют в священных «Ведах»: «Из всеприносящей жертвы родились звери воздуха, лесов и деревень. Из всеприносящей жертвы возникли песни, загорелось размерное слово. Прачеловек есть огонь, раскрытый его рот – горящие головни, дыхание – дым, речь его – пламя, глаза – угли, слух – искры, в этом пламени – жертва Богов. Первоосновная сила разогрела миры. Из разогретых миров произошло троякое знание. Она разогрела это троякое знание, – из него вышли магические слова».

Творческая магия слова и бесконечность многоцветных его оттенков изваяна Майями в причудливых иероглифах на храмовой стене в Паленке, где до сих пор, затерянные между Табаско и Усумасинтой, как предельный оплот Кордильерских высот, знающих полет кондора, находятся памятные руины – Великий Храм Креста, Малый Храм Солнца и Дворец Четырех Сторон. Овеянные океанскими шепотами Майи, эти ловцы жемчугов, составили свои иероглифы из прибрежных камешков Моря, из морских тростников, из жемчужин, из спиралей извилистых раковин, из раковин схожих с звенящими трубами, из раковин круглых и длинных, из дуг, из овалов, из эллипсов, из кругов, пересеченных четырехугольником и сложным узором, как мы это видим на спинах морских медуз, что первые учили людей живописи. Майский Ваятель, запечатлевший слово о Слове, говорит, чувствуя себя

окруженным врагами, которых зовет птицеликами, ибо они клювоносы и когти у них захватисты. Берегись!

Такое же высокое представление о магической силе напевного слова, и слова вообще, мы видим в двух странах, овеянных морем нашего Севера, в Норвегии, где глубокие долины и глубокие фьорды, и в озерной многососенной стране Финнов.

Бог воинств, Один, на плечах у которого сидят вороны, усыпил валькирию Сигурдрифу, уколов ее сонным терном. Как женщина, эта валькирия стала прославленной по всей земле Брингильд. Замок ее окружен стеной из огня. Лишь тот, кто прорвется через пламенный оплот, может овладеть ею. Смелый Сигурд, испивший кровь дракона Фафнира и понимающий язык орлов, проскакал на коне, чрез огонь, нашел спящую Брингильд, снял с нее воинский шлем и мечом разрубил приставшую к ней броню. Они беседуют, и гордая валькирия, обреченная стать женщиной, говорит Сигурду о рунах и дает ему добрые советы.

Если кому-нибудь нужна заклинательная сила слова, это именно человеку сурового Севера, где по существу своему Природа так часто ему враждебна своими морозами и болотами, необъятными силами Моря и препоной непроходимых лесов. Но дикие звери учат человека необходимой мудрости в борьбе за бытие. Волк зря не нападает на волка, если же вздумает напасть – он встретит другого волка не врасплох, а готовым к бою. И орел, хоть могучий и когтистый, как ни одна из воздушных птиц, не залетает в чужое орлиное гнездо с разбойными целями, раз у него есть свое. Эта первобытная, звериная, но и божеская, необходимость цепко держаться за свое – глубоко выражена в рунах и советах Брингильд. Хочешь быть сильным, – будь твердым и метким как сталь. Твердым, но и гибким. В заклинательном слове валькирия учит быть соразмерным,

зорко взвешивающим достоинство поведения человека в Мире. Через заговорное слово научает она душу владеть Миром, но, научивши быть сильным, первый совет она дает сильному не злоупотреблять силой, ибо в этом высшая сила и есть, – и велит, протягивая руку, протягивать руку врачующую или направляющую верный удар, там где этот удар должен возникнуть. Певучая и страшная сила эта мудрость валькирии – когти медведя и когти волка, орлиные крылья и клюв совы, и руны начертаны на ногте Норны, в чьих пальцах прядется нить Бытия. Но их также мчит на своих копытах огненный Конь Солнца, а Солнце мчит нас всех в сонме звезд. Вещим, высоким, стремительным, звездным учит нас быть в заклинательном слове длинноволосая ночь Норвегии, женщина-валькирия, Брингильд.

Если руны достойно воспеты в Скандинавской «Эдде», власть заклинания еще более заполняет поэму Финнов, «Калевалу». Здесь мысль сначала до конца не выходит из чар заговора, как никогда не расстаться нам на Севере со снегами и туманами, и лишь на отдельные мгновенья прозрения Солнце разрывает самый густой туман, буря разметывает самые темные тучи, – заговорное слово побеждает самое грозное зло и вызывает к жизни самые желанные сочетания творческой мечты.

В «Калевале» все время колдует Вэйнемэйнен. Вэйно по-фински значит страстное желанье. Из настоящего хочу родится весь Мир, создаются звезды и Моря, цветы и вулканы. Рождается Песня, возникает Музыка, от одного сердца тянутся лучи к миллиону сердец, единый человеческий дух, заклинающий напевным словом, становится как бы основным светилом целого сплетения звезд и планет.

Силой слова, Дочь Воздуха, мать Вэйнемэйнена, воздвигает мысы, вырывает рыбам ямы, возносит утесы, ваяет страны, строит столбы ветров, обогащает бездны

Моря, и между Небом и Морем, в циклах веков, дает жизнь человеку, и велит ему быть певцом и заклинателем. Пески и камни Вэйнемэйнен превращает в древесное царство. Знающим словом зачаровав Природу, он рассыпал по земле семена. Все, что мы любим, посеял он: сосны и ели, иву и березы, вереск и черемуху, можжевельник и красную рябину. Спрятав в куньем и беличьем мехе шесть-семь зернышек, он засеял ячмень и овес. Там, где нужно, вырубил деревья, но пощадил березу, чтобы было где куковать кукушке. Благой, он умеет однако быть грозным, и когда заносчивый Юкагайнен, неподросший певец заклинаний, вызывает его на состязание, Вэйнемэйнен запел заговор, на дуге у Юкагайнена выросли ветки, на хомут его лошади навалилась ива, кнут превратился в осоку, меч стал молнией, раскрашенный лук встал радугой, рукавицы стали цветами, а сам Юкагайнен потонул до рта в зыбучих песках, в трясине, и потонул бы вовсе, если бы Вэйнемэйнен не пропел заговор обратного действия и не расчаровал свою чару.

Из костей щуки, которая плавает в Море и знает морские тайны, сделал Вэйнемэйнен свои певучие гусли, кантеле, и под эту музыку поет заклинательные песни. Струны он сделал из волос стихийного духа Хииси, который живет в глубокой пропасти на раскаленных углях, но также он и водный царь, и горный дух, и лесовик, и быстрый конь.

Дева Месяца и дочь Солнца, которые пряли золотую ткань и серебряную, услышав кантеле, забыли прясть, и оборвалась золотая и серебряная нить Неба при звуках земного инструмента, игравшего заклинательную песню. Позднее Море поглотило это кантеле, Вэйнемэйнен сделал другое, из дерева березы и тонких волос девушки. В этом слиянии природного и человеческого, стихийного и человечного, заключается

звуковая тайна Поэзии как Волшебства, в котором вопли ветра, звериные клики, пенье птиц, и шелесты листьев говорят, через человеческие слова, придавая им двойное выражение, и поселяясь в заклинательных словах и буквах, как домовые и лешие живут в наших лесах и домах.

Если вся Мировая жизнь есть непостижное чудо, возникшее силою творческого слова из небытия, наше человеческое слово, которым мы меряем Вселенную и царим над стихиями, есть самое волшебное чудо из всего, что есть ценного в нашей человеческой жизни. Нам трудно припомнить, несовершенною нашей памятью, как оно вырвалось впервые из человеческого нашего горла, но поистине великая должна была это быть радость, или великая боль, или такая минута, где блаженство неразличимо перемешалось с болью, и немота должна была разверзнуться, и мы должны были заговорить. А так как в Чуде волшебны все части его составляющие, все то, что делает его именно чудом, несомненно, что каждая буква нашего алфавита, каждый звук человеческой нашей речи, будь она Русская или Эллинская, Китайская или Перуанская, есть малый колдующий эльф и гном, каждая буква есть волшебство, имеющее свою отдельную чару, и мы это выражаем в отдельных словах, и мы это чувствуем в особых их сочетаниях, нам только легче чувствовать, ощущать действительность словесного чуда, нежели точно определить и проверить разумом, в чем именно состоит наше буквенное и словесное угадание, а через сплетение слогов и слов, угадание душевное, когда понимающее наше сердце вдруг заставит нас пропеть вещую песню, которая пронесется как ветер по целой стране. Или сказать одно слово, которое будет так верно, что перекинется от народа к народу, и перебросится из века в век.

Древний Египтянин говорил, что заклинания нужно произносить верным голосом, только тогда и Духи и Боги подчинятся человеческой воле. Египетское выражение Ма-Хроу значит Голосом Творящий, Словом Воплощающий, Верным Голосом Волю Свою Совершающий. Древнейший памятник человеческого слова – стенная надпись Великой Пирамиды Сахары, в погребальном покое фараона, чье имя Упас. Размерною речью Египетский царь повелевает Богам, он властен над жизнью и смертью, он говорит самому себе: – «О, у нас, ты существуешь, живешь, ты еси. Твой скипетр в руке твоей. Ты даешь повеления – тем, чьи сокрыты жилища. Ты омываешься свежей водою, влагою звезд. Путями железными сходишь ты вниз. Гении света встречают тебя восклицая...»

Гераклит сказал, что слова суть тени вещей, звуковые их образы. Демокрит противоборствует, говоря, что слова суть живые изваяния. В сущности тут даже нет противоборства. Безмолвный пруд ваяет иву, отражая ее тень в своей воде. И ребенок или дикарь, без долгих размышлений, лишь проникнутый силой виденья, дает в иссеченном из дерева или камня идоле более верную тень вещей, чем он сам это может подозревать. Каждое слово – есть тень первомысли, одна из граней мысли, ибо ощущение и мысль человека всегда многогранны, – и каждое слово есть говорящая статуя Египетского храма, только нужно понять эту статую и уметь поколдовать над ней, чтоб она перестала быть безмолвной. Дабы звуковое изваяние, которое называется Словом, явило сокровенный свой голос и заговорило с нами волшебно, нужно, чтобы в нас самих была первичная заревая сила чарования. Исполин Египта, каменный Мешнон, обычно был безмолвным, но, когда его касалось восходящее Солнце, он пел.

Фет сказал:

Лишь у тебя, Поэт, крылатый слова звук
Хватает налету и закрепляет вдруг.

Первичный человек всегда Поэт, и Поэт тот бог его, который создает для него Вселенную. Египетский бог Ночного Солнца, Атум, пропел богов, они вышли из его рта. Египетский бог возрождения, Озирис, блуждая среди полузвериных человеческих существ, силой напевного внушающего слова научил их быть людьми воистину, любящими животворящий хмель и питающее зерно. Силой напевных магических заклинаний дневное Светило побеждает все ужасы Ночи, возрождая бесконечность яркого дня, – и умерший человек властью заговорного слова проходит все чистилища, чтобы жить возрожденным среди беспечальных полей.

Слово есть чудо, а в чуде волшебно все, что его составляет. Если мы будем пристально вглядываться слухом понимающим в каждый отдельный звук нашей родной речи, человеческой речи вообще, речи звериных голосов, речи существующей в пенье и криках птиц, речи шелестящих деревьев и тех природных сущностей, которые принято считать неодушевленными, как ручей, река, ветер, буря, гром, – мы увидим, что есть отдельные звуки, отдельные поющие буквы, которые имеют такой объемлющий нрав, что повторяются не только в речи говорящего человека, но и в голосах Природы, оттеняя таким образом нашу человеческую речь переброшенной в нее из Природы звуковою чарой. Прежде чем говорить об этой усложненной звуковой чаре, подойдем вплоть к отдельным звукам нашей речи. Вслушиваясь долго и пристально в разные звуки, всматриваясь любовно в отдельные буквы, я не могу не подходить к известным угадываниям, я строю из звуков, слогов и слов родной своей речи заветную часовню, где все исполнено углубленного смысла и проникновения.

Я знаю, что, строя такую часовню, я исхожу из Русского словесного начала, и следовательно мои угадания по необходимости частичны, – подобно тому как не идет в Христианский Храм тот, кто строит Индийские Пагоды, – и громады Карпака или Теокалли Мехико неравноценны Мечети, – но есть, однако, кристальные мгновения, где сходятся души всех народов, и есть Обряды, есть напевности, есть движения, телодвижения души, которые повторяются во всех Храмах всего Земного Шара.

Я беру свою детскую азбуку, малый букварь, что был моим первым вожатым, который ввел меня еще ребенком в бесконечные лабиринты человеческой мысли. Я с смиренной любовью смотрю на все буквы, и каждая смотрит на меня приветливо, обещаясь говорить со мной отдельно. Но, прежде чем услышать их отдельные голоса, я сам стараюсь определить их в общем их лике. Эти буквы называются – гласные и согласные. Легче произносить гласные, согласными овладеешь лишь с борьбой.

Гласные это женщины, согласные это мужчины. Гласные это самый нага голос, матери нас родившие, сестры нас целовавшие, первоисток, откуда, как капли и взрывные струи, мы истекли в словесном своем лике. Но если бы в речи нашей были только гласные, мы не умели бы говорить, – гласными лишь голосили бы в текучей бесформенной влажности, как плещущие воды разлива.

А согласные, мужскою своей твердою силой, упорядочили, согласовали разлившееся изобилие, встали дамбой, плотиной, длинным молом, отрезающим полосу Моря, четким прошли руслом, направляющим воды к сознательной работе. Все же, хоть властелины согласные, и распоряжаются они, считая себя настоящими хозяевами слова, не на согласной, а на гласной

бывает ударение в каждом слове. Тут не поможет даже большое и наибольшее количество самых выразительных согласных. Скажите Русалка. Здесь семь звуков. Согласных больше. Но я слышу только одно вкрадчивое А.Много ли звуков, более выразительно-слышных чем Щ или Ц, и таких препоной встающих как П.Но скажите слово Плакальщица. Я опять лишь слышу рыдающее А.

Вот, едва я начал говорить о буквах, – с чисто женской вкрадчивостью мной овладели гласные. Каждая буква хочет говорить отдельно.

Первая – А.Азбука наша начинается с А. А – самый ясный, легко ускользающий, самый гласный звук, без всякой преграды исходящий из рта. Раскройте рот и, мысленно проверив себя, попробуйте произнести любую гласную, для каждой нужно сделать малое усилие, лишь эта лада, А, вылетает сама. Недаром Индусы приказывали, желая благозвучия, давать женщинам такие имена, где часто встречается А – Анасуйя, Сакунтала. А – первый звук произносимый ребенком, – последний звук, произносимый человеком, что под влиянием паралича мало-помалу теряет дар речи. А – первый основной звук раскрытого человеческого рта, как М – закрытого. М – мучительный звук глухонемого, стон сдержанной, скомканной муки. А – вопль крайнего терзания истязуемого. Два первоначала в одном слове, повторяющемся чуть не у всех народов – Мама. Два первоначала в латинском Amo – Люблю. Восторженное детское восклицание А, и в глубь безмолвия идущее немеющее М.Мягкое М, влажное А, смутное М, прозрачное А.Медовое М, и А как пчела. В М – мертвый шум зим, в А властная весна. М сожмет и тьмой и дном, А взбивающий вал. Ласковый сад наслаждения страстью, пугающий страшный мрак наказания, от Рая до Ада, их два в нашей саге Бытия, А – начала,

А – конца. А – властно: – Аз семь, самоутверждающийся шаг говорящего Адама. В Музыке А, или Ля, предпоследний из семи звуков гаммы, это как бы звуковой предзавершающий огляд, пред тем как просвирелить заключительный клич, пронзительное Си. В тайной алгебре страстных внушающих слов А, как веянье Мая, поет и вещает: – «Ласки мне дай, целовать тебя дай, ясный мой сокол, малая ласточка, красное Солнце, моя, ты моя, желанный, желанная». Как камень, А не алый рубин, а в лунной чаре опал, иногда, – чаще же, днем играющий алмаз, вся гамма красок. Как гласит угаданье народное, Алмаз – ангельская слеза. Слава полногласному А, это наша Славянская буква.

Другая основная наша гласная есть О. О это горло. О это рот. О – звук восторга, торжествующее пространство есть О: Поле, Море, Простор. Почему говорим мы Оргия? Потому что в Оргии много воплей восторга. Но все огромное определяется через О, хотя бы и темное: – Стон, горе, гроб, похороны, сон, полночь. Большое, как долы и горы, остров, озеро, облако. Долгое, как скорбная доля. Огромное как Солнце, как Море. Грозное, как осыпь, оползень, гром. Строгое, как угроза, как приговор, брошенный Роком. Вместе с грубым У порочит в слове Урод. Ловко и злобно куснет острым дротиком. Заноет, заноет как колокол. Вздохом шепнет как осока. Глубоким раскроется рвом. Воз за возом громоздким, точно слон за слоном, полным объемом сонно стонет обоз. В многоствольном хоре лесном многолиственном или в хвойном боре, вольно, как волны в своем переплеске, повторным намеком и ощупью бродит. Знойное лоно земное, и холод морозных гор, водоворотное дно, омут и жернов упорный, огнь плоти и хоти. Зоркое око ворога волка, – и око слепое бездомной полночи. Извои суровые воли. Высокий свод взнесенного собора. Бездонное О.

У – музыка шумов, и У – всклик ужаса. Звук грузный, как туча и гуд медных труб. Часто У – грубое, по веществу своему: Стук, бунт, тупо, круто, рупор. В глухом лесу плутает – А у. Слух ловит уханье филина. Упругое У, многострунное. Гул на морском берегу. Угрюмая дума смутных медноокруглых лун. В текучем мире гласных, где нужна скрепа, У вдруг встает, как упор, как угол, упреждающий разлитие бури.

Как противоположность грузному У, И – тонкая линия. Пронзительная вытянутая длинная былинка. Крик, свист, визг. Птица, чей всклик весной, после ливня, особливо слышен среди птичьих вскликов, зовется Иволга. И – звуковой лик изумления, испуга: – Тигр, Кит. Наивно искреннее: – Ишь ты какой. Острое, быстрое: – Иглы, чирк. Листья, вихримые ветром, иногда своим шелестом внушают имя дерева: Липа, Ива. И – вилы, пронзающий винт. Когда быстро крутится вода, про эту взвихренную пучину говорят: Вир. Крик, Французское Cri, Испанское Crito, в самом слове кричит, беспокоит, томит, – как целые игрища воинств живут в выразительном сильном и слитном клике победительных полчищ: – Латинское Vivat.

Е – самая неверная, трудно определяемая гласная. Недаром мы различаем – Е, ѣ, Э.Этого еще мало – у нас есть Ё. Безумцы борются с ѣ и Э.Но желание обеднить наш алфавит есть напрасное желание просыпать из полной пригоршни, медлящие на ней, золотые блестки песчинок. Тщетно. Песчинки пристают. Скажите – Мелкий, скажите – Лѣс. Вы увидите тотчас, что первое слово вы произносите быстро, второе медленно. Е и ѣ вполне уместны, как обозначение легкого и увесистого, краткого и долгого. Тройная, четверная эта буква есть какая-то недоуменная, прерывистая, полная

плеска и переплеска, звуковая весть. То это – светлое благовестив, как в веющих словах – Вешняя верба, то задержанное зловестие, как в словах – Сѣрый, Мѣра, Тѣнь, то это отзвук пения в вогнутости свода, как в слове – Эхо. И если Е есть смягченное О, в половину перегнувшееся, то каким же странным ёжиком, быстрым ёршиком, вдруг мелькнет, в четвертую долю существующее, смягченное Е, которое есть Ё.

Я, Ю, Ё, И суть заостренные, истонченные А, У, О, Ы. Я – явное, ясное, яркое. Я это Ярь. Ю – вьющееся, как плющ, и льющееся в струю. Ё – таящий легкий мёд, цветик – лён. И – извив рытвины Ы, рытвины непроходимой, ибо и выговорить Ы невозможно, без твердой помощи согласного звука. Смягченные звуковести Я, Ю, Ё, И всегда имеют лик извившегося змия, или изломанной линии струи, или яркой ящерки, или это ребёнок, котёнок, соколёнок, или это юркая рыбка вьюн.

Как в мире живых существ, населяющих Землю, есть не только существа женские и мужские, но и неуловимо двойственные существа андрогинные, переменчиво в себе качающие оба начала, так и между гласными и согласными зыбится несколько неуловимых звуков, которые в сущности не суть ни гласные, ни согласные, но взяли свою чару и из согласных и из гласных. Самое причудливое звуковое существо есть звук В. В Русском языке, так же как в Английском, В легко переходит в мягкое У. В наречиях Мексиканских В перемешивается с легким Г. И вот два такие разные звука, как В и Г, недаром стоят в нашей азбуке рядом, и не случайно мы говорим – Голос, а Латинянин скажет – Vox. Голос Ветра слышен здесь.

Лепет волны слышен в Л, что-то влажное, влюбленное, – Лютик, Лиана, Лилея. Переливное слово

Люблю. Отделившийся от волны волос своевольный локон. Благовольный лик в лучах лампады. Светлоглазая льнущая ласка, взгляд просветленный, шелест листьев, наклоненье над люлькой.

Послушайте внимательно, как говорит с нами Влага.

С лодки скользнуло весло.
Ласково млеет прохлада.
«Милый! Мой милый!» Светло,
Сладко от белого взгляда.
Лебедь уплыл в полумглу,
Вдаль, под луною белея.
Ластятся волны к веслу.
Ластится к влаге лилея.
Слухом невольно ловлю
Лепет зеркального лона.
«Милый! Мой милый! Люблю!» –
Полночь глядит с небосклона.

Л – ласковый звук не только в нашей Славянской речи. Посмотрите, как совпадают с нами Перуанцы, далекие Перуанцы, отделенные от нас громадами Океанов и принадлежащие к совершенно другой группе народов. Люлю по-Перуански Любимка, Люлюй – Лелеять, Льянльяй – Вновь зеленеть, Льохлья – Ливень, Льюльяй – Улещать, Льюскай – Скользить, Льюлью – Ласковый. Я беру другую страну, затерянную в Морях: Самоа. Ни с нами Самоанцы не связаны, ни с Перуанцами, и однако, чтобы сказать Солнце, они говорят Ла, Небо у них Ланги, Петь – Лянги, Голос – Оле-лео, Мелководье – Ваилялёа, Лист Пальмы – Ляоаи, Зеленеть – Леляу, Молвить – Ляляу, Красивый – Лелей. Ласковое требует Л.

В самой природе Л имеет определенный смысл, так же как параллельное, рядом стоящее Р.Рядом стоящее – и противоположное. Два брата, но один светлый,

другой черный, Р – скорое, узорное, угрозное, спорное, взрывное. Разорванность гор. В розе – румяное, в громе – рокочущее, пророческое – в рунах, распростертое – в равнине и в радуге. Рокотание разума, рекущий рот, дробь барабана, срывы ветра, рев бури, взрыв урагана, рокоты струн, красные, рыжие вихри пожаров разразившихся гроз, прорычавших громом. Р – взоры гор, где хранится руда – разных самородков. Не одно там Солнце в зернах. Не одни игры украшающего серебра, – тут ворчанье иных металлов, в их скрытости.

Кровью тронутая медь,
Топорами ей греметь,
Чтоб размашисто убить,
И железу уступить.
Под железом – О, руда –
Кровь струится, как вода,
И в стальной замкнут убор
Горный черный разговор.

Р – один из тех вещих звуков, что участвуют означительно и в языке самых разных народов, и в рокотах всей природы. Как З, С и Ш слышны – ив человеческой речи, и в шипении змеи, и в шелесте листьев, и в свисте ветров, так Р участвует и в речи нашего рта и горла, и в ворчанье тигра, и в ворковании горлицы, и в карканье ворона, и в ропоте вод, текущих громадами, и в рокотаниях грома. Не напрасно мы, Русские, сказали Гром, и недаром Германцы его назвали Donner, Англичане – Thunder, Французы – Tonnerre, Скандинавы назвали бога Громовника Тор, Древние Славяне – Перун, Литовцы – Перкунас, а в Халдеи – Раман. Не напрасно также нашу речь мы определяем глаголом Говорить, что звучит по-Немецки – Sprechen, по-Итальянски – Parlare, по-Санскритски – Бру, по-Перуански – Римай.

Я говорил, что некоторые звуки особенно дороги нашему чувству, нашему бессознательному, мудро понимающему, чувству, ибо они основные, первородные, так что даже внешнее их начертание странно волнует нас, мы им залюбовываемся. В старинном счислении А – 1: А, обведенное тонким кругом, означает Тьму или 10.000; А, обведенное более плотным кругом, означает Легион или 100.000; А, обведенное причудливым кругом, состоящим из крючьев, означает Леодор или Тысячу Тысяч, 1.000.000. Поистине много оттенков в красивой букве А, и тысяча тысяч это вовсе не такое уж неисчислимое богатство, ибо человеческая речь есть непрерывно текущий Океан, а сосчитано, что в одном Арабском языке – 80 слов для обозначения Меда, 200 – для Змеи, 1000 – для Меча, и 4.000 для Несчастия.

А – первый звук нашего открытого рта, у закрытого же рта первый звук – М, второй – Н. И вот мы видим, что во всех древнейших нам известных религиях звуки А и Н выступают как яркое знамя. Священный город Солнца в Египте, любимый богами Солнцеград, есть Ану. Халдейский бог Неба есть Анна. Халдейская богиня Любви зовется Нана. По-санскритски Анна значит Пища. Индусский дух радости – Ананданатха. Индусский мировой змей – Ананта. Сестра Мирового Кузнеца Ильмаринэна зовется в «Калевале» Анники. Жена Скандинавского Солнечного бога Бальдэра зовется Нанна. Это все не заимствования и не случайные совпадения. Это проявление закона, действующего неукоснительно, – только действия закона мало нами изучены.

Участвуя в самом высоком – в первичном взрыве человеческого, восхотевшего речи, – А участвует и в самом смиренном, что есть – звериный крик. А есть в лае собаки, А есть в ржании лошади. Так и таинственное В. Я не тело, а дух. А дух есть Ветер. А Ветер есть

В.Вайю и Ваата по-Санскритски, Вейяс у Литовцев, Ventus у Римлян, Viento у Испанцев, Wind у Германцев, Wind /Уинд/ и стихотворное Wind /Уайнд/ у Англичан, Wiatr у Поляков, – Ветер, живущий и в человеческом духе и в духе Божием, что носился над бесформенными водами, водоворот мчащийся в циклоне и забвенно веющий в листве ивы над ручьем. Ветер шаловливо уронил малый звуковой иероглиф свой – В – в хрустальное горлышко певчих птиц: Виит поет малиновка, Циви зовет трясогузка, Тиивить – десятый высший звук соловья. Эта рулада Тии-вить, как говорит Тургенев, у хорошего нотного соловья имеет наивысшее значение, делающее его верховным маэстро.

Зная, что звуки нашей речи участвуют, не равно и с неопределимой долей посвященности, в сокровенных голосах Природы, мы бессильны в точности определить, почему тот или иной звук действует на нас всем очарованием воспоминания или всею чарою новизны. Прикасаясь к музыке слова сознанием, мы ухватываем часть разорванного ее богатства, но только мудрым чувством ощущаем мы музыку слова сполна и, радостно искупавшись в ее звенящих волнах и глухих глубинах, властны создавать, освеженные, новую гармонию. Красноцветные дикие Северной Америки, силой магического пения и особых плясок, как и представители дикой Мексики, заклинающие нисхождение дождя и огненную музыку грома, говорят о наших Европейских песнях, что мы слишком много болтаем, – сами же они в священном порядке расставляют определенные слова определенных строк, необъяснимо повторяя в них известные припевы и перепевы, ибо слово для них священно по существу. Заклинательное слово есть Музыка, а Музыка сама по себе есть заклинание, заставляющее неподвижность нашего бессознательно-

го всколыхнуться и засветиться фосфорическим светом.

Но стих вообще магичен по существу своему, и каждая буква в нем – магия. Слово есть чудо, Стих – волшебство. Музыка, правящая Миром и нашей душой, есть Стих. Проза есть линия, и проза есть плоскость, в ней два лишь измерения. Одно или два. В стихе всегда три измерения. Стих – пирамида, колодец или башня. А в редкостном стихе редкого поэта не три, а четыре измерения, – и столько, сколько их есть у мечты.

Говоря о стихе, самый волшебный поэт XIX века, Эдгар По, сказал: «На рифму стали смотреть как на принадлежащую по праву концу стиха – и тут мы сожалеем, что это так окончательно укрепилось. Ясно, что здесь нужно было иметь в виду гораздо больше. Одно чувство равенства входило в эффект. Рифмы всегда были предвидены. Великий элемент неожиданности не снился еще, а как говорит Лорд Бэкон – нет изысканной красоты без некоторой странности в соразмерности». Эдгар По, заставивший говорить Ворона и звенеть в стихах колокольчики и колокола, и перебросивший в перепевный свой стих полночную магию Моря и тишины, и сорвавший с неба для рифм и созвучий несколько ярких звезд, первый из Европейцев четко понял, что каждый звук есть живое существо и каждая буква есть вестница. Одной строкой он взрывает глубь души, показывая нам звенящие ключи наши, и в четырех строках замыкает целый приговор Судьбы.

Напев с баюканьем дремотным,
С крылом лениво-беззаботным,
Средь трепета листов зеленых,
Что тени стелят на затонах,
Ты был мне пестрым попугаем,
Той птицею, что с детства знаем,
Тобой я азбуке учился.

С тобою в первом слове слился,
Когда лежал в лесистой дали,
Ребенок, чьи глаза – уж знали.

Но в то самое время, когда юный кудесник, Эдгар По, переходя от юности к молодости, созидал символизм напевной выразительно- звуковой поэзии, в области Русского стиха, из первоистоков Русской речи, возник совершенно самостоятельно, в первоначатках, символический стих. Поэт, который знаменит и, однако, по существу, мало известен, описывая в 1844 году впечатление от музыки на реке, говорит, точно играя по нотам:

Струйки вьются, песни льются,
Вторит эхо вдалеке.

Еще на два года ранее, описывая гадание, он говорит:

Зеркало в зеркало с трепетным лепетом
Я при свечах навела.

В том же 1842 году он пропел:

Буря на Море вечернем,
Моря сердитого шум,
Буря на Море и думы,
Много мучительных дум.

Буря на Море и думы,
Хор возрастающих дум.
Черная туча за тучей,
Моря сердитого шум.

Это магическое песнопение так же построено все на Б, Р, и в особенности на немеющем М, как первый

зачев «Рейнского Золота», где волшебник северного Моря, Вагнер, угадывает голос влаги, построенный на В...

Русский волшебник стиха, который одновременно с Эдгаром По, слушая нашу мятель, понял колдовство каждого отдельного звука в стихе, и у Музы которого –

> Отрывистая речь была полна печали,
> И женской прихоти, и серебристых грез, –

волшебник, говорящий о ней –

> Какой-то негою томительной волнуем,
> Я слушал, как слова встречались с поцелуем,
> И долго без нее душа была больна, –

этот волшебник, сладостный чародей стиха, был Фет, чье имя, как вешний сад, наполненный кликами радостных птиц. Это светлое имя я возношу как имя первосоздателя, как имя провозвестника тех звуковых гаданий и угаданий стиха, которые через десятки лет воплотились в книгах «Тишина», «Горящие здания», «Будем как Солнце» и будут длиться через «Зарево Зорь».

Еще раньше, чем Фет, другой чарователь нашего стиха, создал звуковую руну, равной которой нет у нас ни одной, я говорю о Пушкине, и при звуке этого имени мне кажется, что я слушаю ветер, и мне хочется повторить то, что записал я о нем для себя в минуту взнесенную.

Все, что связано с вольной игрою чувства, все, что хмельно, винно-завлекательно, это есть Пушкин. Он научит нас светлому смеху, этот величавый и шутливый, этот легкий как запах цветущей вишни, и грозный временами, как воющая вьюга, волшебник Русского стиха, смелый, внук Белеса. Все журчанье воды, все

дыхание ветра, весь прерывистый ритм упорного желанья, которое в безгласном рабстве росло и рвалось на волю, и вырвалось, и распространило свое влияние на версты и версты, все это есть в пушкинском «Обвале», в этом пляшущем празднике Л, Р, В.

Оттоль сорвался раз обвал
И с тяжким грохотом упал.
И всю теснину между скал
Загородил,
И Терека могучий вал
Остановил.
Вдруг истощась и присмирев,
О Терек, ты прервал свой рев,
Но задних стен упорный гнев
Прошиб снега...
Ты затопил, освирепев,
Свои брега...

Краткость строк и повторность звуков, строгая размерность этой словесной бури, проникновение в вещательную тайну отдельных вскриков человеческого горла – не превзойдены. Здесь ведун-рудокоп работал и узрел под землей текучие колодцы драгоценных камней и, властной рукой зачерпнув полный ковш, выплеснул нам говорящую влагу. Русский крестьянин выносил в душе своей множество заговоров, самых причудливых вплоть до Заговора на тридцать три тоски. Неуловимый в своих неожиданностях, ветролетный Пушкин создал в «Обвале» бессмертный и действенный «Заговор на вещие буквы», «Заговор на вызывание звуковой вести-повести».

Современный стих, принявший в себя колдовское начало Музыки, стал многогранным и угадчивым. Особое состояние стихий и прикосновение души к первоистокам жизни выражены современным стихом ведовски. Не называя имен, которые конечно у всех в памяти, как прославленные, я беру две напевности из

двух разных поэтов, независимо от соображений общей оценки, историко-литературной, лишь в прямом применении примера чаровнической поэзии: «Печать» Вячеслава Иванова, где внутренняя музыка основана на Ч, П и немотствующем М, и «Венчание» Юргиса Балтрушайтиса, где взрывно-мятелистое буйное Б, вместе с веющим В дает мелодию смертного снежного вихря.

Неизгладимая печать
На два чела легла.
И двум – один удел: – Молчать
О том, что ночь спряла, –
Что из ночей одна спряла,
Спряла и распряла.
Двоих сопряг одним ярмом
Водырь глухонемой.
Двоих клеймил одним клеймом,
И метил знаком: Мой,
И стал один другому – Мой...
Молчи. Навеки – Мой.

В этом страшном напеве, где поэт изобличает не только магическое понимание звука М, но и мудрость сердца, что в ужасе немеет, все душно, тесно, тускло, мертво, любовь – проклятие, любовь – препона. В напеве Балтрушайтиса, широком и вольном, – не теснота комнаты, а простор солнечного зрения, не любовь – как проклятие и смерть, а смерть – как благословение и любовь.

Венчальный час! Лучистая Зима
Хрустальные раскрыла терема.
Белеет лебедь в небе голубом.
И белый хмель взметается столбом.
Лихой гонец, взрывая белый дым,
Певучим вихрем мчится к молодым.
Дымит и скачет, трубит в белый рог.

Роняет щедро жемчуг вдоль дорог.
В венчальном поле дикая Мятель
Прядет – свивает белую кудель.
Поют ее прислужницы и ткут,
Тебя в свой бархат белый облекут, –
И будешь ты на вечность темных лет,
Мой бледный княжич, щеголем одет.
Твоих кудрей веселых нежный лен
Венцом из лилий будет убелен.
И в тайный час твоих венчальных грез
Поникнешь ты средь белых-белых роз.
И трижды краше будешь ты средь них,
Красавец бледный, белый мой жених!

Магия знания может таить в себе магию проклятия. Опираясь на понимание точного закона, мы можем впасть в цепенящее царство убивающего сознания. Есть ценная истина, хорошо формулированная певцом Ветра, Моря и человеческих глубин, Шелли: «Человек не может сказать – я хочу написать создание Поэзии. Даже величайший поэт не может этого сказать, потому что ум в состоянии творчества является как бы потухающим углем, который действием невидимого влияния, подобно изменчивому ветру, пробуждается для преходящего блеска. Эта сила возникает из недр души, подобно краскам цветка».

Современный стих легко забывает, слишком часто не помнит, что нужно быть как цветок, для того чтобы чаровать, корнями быть в темных глубинах внесознательного, долго быть в испытующих недрах Молчания, прежде чем, раскрыв свою чашу, быть влюбленником Луны, и главное, главное, пламенником Солнца. Лишь тогда оправдывается вещее сказание Скандинавов, что творческий напиток, делающий человека скальдом, состоит из крови полубога и пьянящего меда.

Поэт внутренней музыки

(Иннокентий Анненский)

Несколько лет назад, вернувшись из Египта, где храмы божески прекрасны и где камни, отточенные творческой рукой человека, окружены почитанием тысячелетий, я поселился в местечке Жиан, в Провансе. Это горная возвышенность над морем. Высота не большая, но все же она отделена от вольного моря, которое ее сомкнуло с разных сторон, давая ощущение красоты – недостижимой, очарования – дальнего, изящной тюрьмы в великом океане свободы, которая манит, но не дается.

Я любил там две дороги, две прогулки. Одна – среди сосен, растущих на срыве над глубоким морем внизу, среди красноватых стволов сосен, в цвете которых чувствуется овоздушенная кровь и медные мерцания увядшего заката, а в ветвях, в их странном ведовском шорохе, слышится призрачный звон, воздушная жалоба мелодического Марсия, что состязался своею свирелью с кифарой Аполлона, и, говорят, был побежден, и, говорят, был победителем, но победил ли или был побежден, а кару узнал, был скальпирован с ног до головы, и живая его кожа была повешена на сосну, где и доселе слышен тревожный шелест и призрачный звон. Другая дорога проходила вдоль тянущихся по склону полей, сплошь засеянных душистыми крупными фиалками, а изгородью для этих полей служат ряды исполинских тростников, высоких, мощных камышей, в два человеческие роста.

Однажды в холодный вечер, когда резкий носился ветер, я шел по дороге фиалок, около шуршавших камышей, и думал о бесприютности своего «я» и всего мира, умеющего создать жизнь разнообразную и цветистую, но не умеющего сделать эту жизнь счастливой.

В густо-синем ночном небе были редкие звезды. И вдруг я увидел то, что, не знаю, удастся ли мне увидеть в жизни дважды, так это было прекрасно, жутко и неожиданно. Огромная луна, увеличившаяся вдвое против своих обычных размеров, быстро покатилась по небу, совсем, чудилось, близко от меня, и взорвалась, и упала в далекое море. В эту секунду или в эти несколько секунд я подумал, что мир кончился; со сжавшимся сердцем я быстро пробежал несколько шагов вперед – нагнать луну! Нагнать падающую звезду исполинскую! – Но тотчас же остановился и невольно ухватился за гигантские тростники.

Это был болид, не луна, это была – мгновение жившая для меня, земного, весть из иных миров, и лучезарная эта повесть мига рассыпалась искрами и вся потонула в море. Я стоял зачарованный, и пока я думал, жалел, мечтал, допевал душою виденное, в первый раз в жизни я четко услышал Рождение музыки. В нескольких высоких камышах, близ которых я стоял, выветрились отверстия. И ветер, залетая в эти отверстия и вновь вылетая из них, создавал правильную смену разных звуков неодинаковой силы, высоты, емкости. И я понял, как когда-то в судорожной руке человека тростник запел.

Эта быль, похожая на сказку, это маленькое видение из дней скитаний, всегда припоминается мне, когда я думаю о такой творческой душе, как Скрябин, сумевший рассыпать в своей музыке пение падающих лун. Этот образ припомнился мне и сегодня, когда я стал думать об изысканном художнике «Кипарисового ларца» и «Фамиры Кифарэда», о неведомом толпе поэте внутренней музыки, Иннокентии Анненском.

Сопоставляя имена Скрябина и Анненского, не степень величия их я сопоставляю, не размеры достижений, а родство досягновения – братскую близость двух

душ в направлении их духовного взгляда, устремленного не сюда, а туда, не вовне, а внутрь. Тонкое перемещение самых элементов творчества в порядке их художественного применения. Музыка света, живопись музыки, красноречие молчания и недоговоренности, говорение сразу о двух мирах, о трех, о Бесконечности.

Если я возьму сборник стихов Анненского, и не сборник, а книгу, «Кипарисовый ларец», и просто перечислю перечень оглавления – не весь, конечно, это длинно, но хоть часть, – я достигну этим ощущения музыкальности души; он, поэт, достигает музыкального ясновидения в моей душе. Весь первый отдел книги распадается на группы по три песнопения, и каждые три называются именем Трилистника. Вот некоторые из них: Трилистник Сумеречный, Трилистник Соблазна, Трилистник Лунный, Трилистник Обреченности, Трилистник Огненный, Трилистник Проклятия, Трилистник Тоски, Трилистник Дождевой, Трилистник Замирания.

Три стихотворения Трилистника зовутся «Сиреневая мгла», «Тоска мимолетности», «Свечку внесли». В этих трех звенящая поэма всей души Анненского. Его мечта медлит в «Сиреневой мгле» и хотела бы быть в ней если не всегда, то долго. Но преданная небесному цвету и духу всепоющая мечта каждую секунду дрожит и качается на тонком острие, называющемся тоской мимолетности. И чуть в сумеречную мглу мечтания ворвется чуждый свет, – а он должен ворваться – чуть внесут ранящую глаз свечку, богатство внутреннего созерцания кончается, начинается точная предельность пониманья, зренья, размещенья предметов и существ, и чувств, и помыслов. Предметы перестают переходить один в другой, сущности не обогащают более одна другую заплескиванием вольного, нового, чужого,

мгновенно родного, души убегают врозь, размыкается поцелуй.

Вот этот стих «Свечку внесли»:
Не мерещится ль вам иногда,
Когда сумерки ходят по дому,
Тут же, возле, иная среда,
Где живем мы совсем по-другому?
С тенью тень там так мягко слилась,
Там бывает такая минута,
Что лучами незримыми глаз
Мы уходим друг в друга как будто.
И движеньем спугнуть этот миг
Мы боимся, иль словом нарушить,
Точно ухом кто возле приник,
Заставляя далекое слушать.
Но едва запылает свеча,
Чуткий мир уступает без боя,
Лишь из глаз по наклонам луча
Тени в пламя сбегут голубое.

Это тот сумеречный мир внутреннего понимания и духовно-музыкального ясновидения, о котором говорил Шелли, заставляя любимую Джен играть на гитаре, чтобы музыка, лунный и свет, и чувство были одно. О нем говорил наш Тютчев в своем знаменитом «Тени сизые смешались», символическую красоту которого, в переводе, мне посчастливилось раз в жизни, даже через преграду чуждого языка, дать почувствовать избранным французам и англичанам. Ибо в таком мироощущении, в таком художественном играний символами начинается торжество сокровенного начала музыки, а музыка говорит языком богов и, понятная вполне только богам, так богата, так понятна, в отдельных волнах своих, всем, даже зверям, даже людям.

Одно из песнопений такого порядка в книге Анненского должно считать поистине надлежащим к

миру тайноведения. Это «Смычок и струны». Не знаю, знал ли его Скрябин, но он должен был бы ему радоваться.

Какой тяжелый, темный бред!
Как эти выси мутно-лунны!
Касаться скрипки столько лет
И не узнать при свете струны!
Кому ж нас надо? Кто зажег
Два желтых лика, два унылых...
И вдруг почувствовал смычок,
Что кто-то взял и кто-то слил их.
«О, как давно! Сквозь эту тьму
Скажи одно: ты та ли, та ли?»
И струны ластились к нему,
Звеня, но ластясь трепетали.
«Не правда ль, больше никогда
Мы не расстанемся? Довольно...»
И скрипка отвечала: «Да»,
Но сердцу скрипки было больно.
Смычок все понял, он затих,
А в скрипке эхо все держалось...
И было мукою для них,
Что людям музыкой казалось.
Но человек не погасил
До утра свеч... И струны пели...
Лишь солнце их нашло без сил
На черном бархате постели.

Мы любим в слепоте, мы живем в слепоте. Только музыка, прорезав нашу душу своим кристальным лучом, на миг, иногда, уведет нас в нездешний мир лелейного постигания, – музыка чувства, музыка солнца, музыка теней и соответствий, музыка Музыки. Но, на миг показав нам нас, музыка дает нам видеть, что мы не слепые, что наши крылья бьются о стены Голубой тюрьмы.

«Человек, вот мыслящий тростник», – сказал страстотерпец мысли. Тростник сгибается под ветром, и мыслит, и тоскует, и поет. Чтобы победил мир с его ужасами и тайнами, нужно его пропеть. Этот мир тогда возникнет в Преображении.

Мировая бесприютность человека звенящей тоской и жутким угаданием поет в строках Анненского «Октябрьский миф».

Мне тоскливо. Мне невмочь,
Я шаги слепого слышу:
Надо мною он всю ночь
Оступается о крышу.
И мои ль, не знаю, жгут
Сердце слезы, или это
Те, которые бегут
У слепого без ответа.
Что бегут из мутных глаз
По щекам его поблеклым,
И в глухой полночный час
Растекаются по стеклам.

Отвергающий весь мир, даже мир любви, любящий только в горах седые камни, которым чуждо человеческое, да звезды недоступные и дрожанья струны, обломок звезды, человеческую приявший ипостась, «Фамира Кифарэд», говорящий нимфей:

Оставь мой дом. Я – нищий кифарэд:
Дверями ты ошиблась. Тут без флейты
И без венков пируют. Голодна,
Так поищи в корзине хлеба; женам
Я не играю, я играю звездам.

Не сам ли это он, творец «Кипарисового ларца», малого вместилища великих драгоценностей, из древа душистого и возлюбленного в веках?

В моей судьбе
Ни матери, ни сестрам, ни отцу
Нет места, сладкозвучная: живу я
Для черно-звездных высей; лишь они
На языке замедленном и нежном,
Как вечера струисто-светлый воздух,
Мне иногда поют. И тот язык,
Как будто уловив его созвучья,
Я передать пытаюсь, но тоской,
Одной моей тоскою полны струны.
Ты не нужна мне, женщина, и нет
Прошедшего меж нас. А эта повесть
Твоя – ее я буду слышать ритмы
И, может быть, любить – не ближе мне,
Чем в заводи на лунной зыби всплески
От рыбок разыгравшихся. Душа
Моя открыта миру, а не нимфе,
Пускай она страдала. И прости!

«Живет в мечтах, и музыкой он болен», – говорит о Кифарэде нимфа Силену.

Как «молоко кормилицы мутится от соседства с отравой лозы», так душа звездного поэта не терпит и малейшего прикосновения мира страстей.

Поцелуи
Волнуют кровь, и сладко, но от них
Гармония бледнеет, и в досаде
Она ломает руки и бежит
В дремучие леса – к косматым корням
И филинам глухим...

Кифарэд запутался сам в себе, отвергая человеческое и в то же время человеческий имея лик. Он не узнал своих пределов, а человеческая мудрость, эллинская во всяком случае, стремясь к беспредельному, не посягает на пределы. Он перестал слышать свою музыку. Он хотел бы отдать забвенью и тени, которые манят куда-то. Он убегает от всех, восклицая:

Прикосновенья
Не надо – нет. Лучей, одних лучей...
Там музыка...

Убежав от всего человеческого, от каждого лика страсти и живого вещества, Фамира Кифарэд выжег себе оба глаза, и только птичка с красной шейкой поведет его по миру, то сидя на его плече, то улетая за живою влагой для слепца.

Гордый Кифарэд, доведя все до острия, сломал острия.

Есть эллинская легенда, гласящая, что прекрасная богиня Афина признала кифару, но отвергла флейту, ибо при игре на первой человеческий лик сохраняет свое богоподобие, а при игре на флейте рот закрыт для слова и весь лик играющего искажен. Я не променяю флейту на кифару, свирель на струнный инструмент. Мне нравится безбрежность, в которую ведет свирель. Но нет ли глубочайшего смысла в эллинской легенде?

Струнный инструмент ведет к стройным снам души, он устанавливает гармонию в мысли, он не дозволяет душе, сорвавшись с своих осей, низринуться в хаос. Гармонию устанавливает струна, как высшее начало бытия. Жалоба флейты и ее ликование, разлив свирели и ее бескрайность, уводят мечту в бесконечное, возвращают чадо хаоса отцу его, причудливо-страшному. Свирель поет в степях, флейта журчит в торжествующем вопле слитного хора, а струны, сколько б их ни было, сто скрипок, сто алмазных разбитых сияний, возвращающихся к своей радуге, должны возвратиться к радуге, сладчайшую бурю создают, а не свежительный вихрь грозы.

Будем же верить в свирель, ибо мир освободит лишь гроза.

1916, октябрь

Привет Москве

31 декабря 1905 года я уехал из Москвы в Париж, ибо точно предвидел дальнейшее течение событий, и сердце требовало, чтобы я оставил на время Россию. Участвовать так или иначе в безвозвратно осуществившихся исторических событиях я, по самому свойству своей природы, не мог, а оставаться в России и сохранять душевное равновесие, сохранять умственную зоркость было также невозможностью. Покидать Россию на неопределенное время было, конечно, тягостно, но оставаться в ней, участвуя – не участвуя в той жестокой, мучительной борьбе, было для меня не тягостным, а физически невозможным.

Но я не предвидел тогда, что разлука с Россией продлится семь лет, и больше, чем семь долгих лет.

Мне делается неловко, когда обо мне говорят как об изгнаннике. Как я сказал, отвечая одному из ораторов Общества свободной эстетики, в жизни моей вдали от России было много красивого, была мысль, было творчество, были встречи с интересными людьми, были неожиданные страны, полные сказочного очарования, были внимательные сердца, полные созвучия со мной, то самое, что делает человека сильным и смелым. Если были и страдания – в чьей же нет их человеческой жизни? Но останавливаться мыслью на том, что составляет одно из самых неотъемлемых, хотя бы и самых горьких, свойств этой жизни – совершенно для меня чуждо. Когда светит день, я не думаю о том, что настанет ночь, но когда вокруг меня замкнулась холодная ночь, я твердо помню, что настанет новый день.

И однако, однако... Сколько пытки и боли, сколько безысходной тоски возникает в душе, когда на семь лет оторван от родного. Можно жить в стране, где люди говорят на таком изящном, красивом языке, как французский, или еще более красивый язык испанский, но

по истечении известного времени что́ мне все эти красоты, – я хочу своей родной красоты, я хочу русского языка, который мне кажется красивейшим в мире. Я хочу, чтобы он звучал мне отовсюду, как птичий гомон в весеннем лесу, как всеохватная мировая музыка 9-й симфонии Бетховена, как гул пасхальных колоколов священной древней русской, воистину русской, Москвы. Я хочу слышать русскую плавную речь, я задыхаюсь от жажды без этих серебряных волн... Я хочу, я хочу... Меня понимает тот, кто знал свиданья жажду.

И когда прошло какое-то роковое число недель, месяцев и годов, когда замкнулся недобрым колдующий, магический круг, – что-то, простонав, погасло в душе, жизнь и природа потеряли свою ценность. Я смотрю на море, и что́ мне море – оно не русское; я смотрю на всех людей кругом и чувствую, что если бы они были русскими, я мог бы сейчас сказать и тому, и другому, и той, и вон той: «Я прошу вас», «Вижу вас», «Слышу вас», «Люблю вас», – а вот с этими, с умными и красивыми, но чужими людьми я связан лишь внешне, мне нечего им сказать, они ничего не поймут из моих слов, и вся эта окружающая меня толпа мучительно превращается в кошмар: это люди, но не люди, это живые заводные куклы, – я в тяжелом сне, я в неоглядной пустыне, населенной призраками.

Последний год невозможно было более оставаться в Париже. Я уехал в кругосветное плавание. Помню нечаянную радость. Точно в грезе. Русские, польские и французские мои друзья устроили в честь двадцатипятилетия моей литературной деятельности банкет. В большом зале одного кафе собралось человек полтораста. Среди участвовавших были французские поэты: Рене Гиль, Поль Фор, Гюстав Кан, польский поэт Болеслав Лесьмян и другие.

Отвечая на одно из приветствий, я произнес стихотворение, которое мне захотелось припомнить несколько дней назад, на вечере в Обществе свободной эстетики:

Неужели четверть века
Что-нибудь
Для такого человека,
Пред которым дальний путь?
О, неправда! Это шутка.
Разве я работник? Нет.
Я лишь сердцем, вне рассудка,
Жил как птица, как поэт,
Я по снегу первопутка
Разбросал везде свой след.
Я порою тоже строю
Скрепы нежного гнезда,
Но всегда лечу мечтою
В неизвестное Туда.
Все же, милых покидая,
Милых в сердце я храню,
Сердцем им не изменю,
Память – горлица златая,
Верь крылатым – и Огню.

И вот я уехал в Южную Африку, в Тасманию, в Австралию, в Новую Зеландию, на острова Тонга, Самоа, Фиджи, Новую Гвинею, Яву, Целебес, Суматру, Цейлон, в южную и северную Индию, – один перечень этих имен есть зачарованная строка из красивой сказки, – но если очаровательны эти блаженные острова счастливых – Самоа, Тонга, Ява – самое очаровательное в моих последних блужданиях то, что я приехал в Москву. Мне кажется, что семь лет мое сердце где-то бродило и вот, наконец, вернулось ко мне. Здравствуй, сердце мое, как я рад тебе! Мое зрение обострилось, мой слух утончился, я весь пробужденный, во мне

поют звоны, я овеян ветром, я овеян светом, взнесен, унесен. Взоры женщин и юношей мне блеснули зарницами, я горю, я лечу и пою.

И вот настало первое мое утро в России. Я смотрел в окно вагона, как медленно разливается по небу заря. Но хотя это был рассвет, мне чудилось, что это заря закатная, и вспоминался стих Каспровича «Почему ты не гаснешь, заря?». Почему ты не гаснешь, горячее сердце, а бьешься, дрожишь и горишь и к новой, так долгожданной радости, тотчас примешиваешь боль? Почему сердце не засмеялось, а заплакало, увидев эти родные равнины и леса, почему эта щемящая беспричинная печаль?

Белым плывущим саваном скользят туманы. Точно зябнет и дрогнет вся природа. Ушедшее, грустное, схороненное, мертвое. Умер отец, мать умерла, пока ты бродил далеко. И не успел сказать им перед смертью ласкового слова, и уж не скажешь здесь никогда, никогда больше. И сам точно идешь чужой к чужим. Точно это не вольная воля. Точно это в тюрьме.

Все время, все время скорбно грущу,
Все время, все время.
В саду я посеял заветное семя,
Расцветов напрасно ищу
Все время, все время.
Так капают капли на темя, на темя.
Холодною влагой, жестокой, как лед,
Пытают, и холод терзает и жжет
Все время, все время.
Быть может, на воле уж новое племя
Возникло, смеется, не помнит меня.
Я дал им огня!
Им солнце зажег я – сам, темный, стеня
Все время, все время.

Что-то сцепилось в душе. Уходили часы, а я был как мертвый, вовсе безучастный. И лишь на станции Кубинка я точно проснулся, точно завеса упала с глаз. Я сказал себе: да, ведь я же в России. И в сердце заплясала радость. Я покупал цветы у какой-то бледной девочки с печальными глазами и у лихого оборванного мальчишки, мне хотелось говорить с какими-то бабами, хотелось обнимать каких-то мужиков. Как все красочно, выпукло, узорно! Как не похожа эта толпа, где каждый индивидуален, каждый сам по себе, на однообразную банализированную европейскую толпу, где все перенумерованы и кажутся сборищем манекенов с ярлыками.

И вот Москва. Великое сердце России. Родная Москва. Я был здесь студентом, я был здесь в тюрьме, хоть всего три дня, и мне было там очень весело. Здесь началась моя жизненная борьба. Здесь знал я месяцы настоящего голода и годы битвы с переменным успехом. И знал любовь, и ведал восторг достиженья. И укрепился навсегда в одном ясном сознании, которое владеет всем моим творчеством. «Ярко только Солнце, вечен только Бог».

В Москве под звон ее колоколов незримые волшебницы сплели мне звездный наряд, и знаю, он сияет через строки, радуя меня и других. И если семь долгих лет образуют тяжелый венец, все тонет в сознанье высокой радости. Это солнечное утро приезда в Москву – точно утро любви. Эти юные лица встречавших были как ясное утро апреля. Эти цветы, что бросали мне, будут цвести всегда. Родная Москва, ее радушие – как широкая полоса солнечного света. Я люблю тебя, Москва, и хотел бы, чтоб в каждой душе, как сейчас в моей, пели звонкие песни весеннего жаворонка.

1913, 11 мая

Прихоть природы

Были жаркие, точно летние, дни, когда я приехал на побережье Океана 17 апреля. Часы прилива, эти ежедневные и еженощные праздники вздымающегося влажного сапфира, в преломленье рассыпающего аквамарин и зеленчак и бросающего на желтоватый песок разорванное белое кружево, сразу утолили душу, уставшую и потускневшую за полуторагодовое кружение на торжищах парижской жизни. Магическая власть Океана – исцелить в несколько часов. Вчера и третьего дня, проходя, как шаткая тень, по бульвару Пастер или по аллеям Люксембургского сада, чувствовал себя ненужным и беспригодным, без русла и вне гармонического совпадения с чем-нибудь большим, где был бы частью желанного мною. Сегодня, вдыхая бодрящую свежесть морского духа и слушая зачарованно, слушая ненасытно широкий шелест волны и далекие гулы вскипающих валов, идешь упругим, веселым шагом, чувствуешь самого себя внезапно окрыленным; вернулась молодость, вернулась свежесть жизни, манит и близь и даль, и размерный говор Океана вводит мысль и мечту в емкое русло мирового бытия, говорит о благотворном единстве Солнца, Звезд, Воды и Земли, и человеческой души, ткущей свою пряжу, чтоб новыми и новыми узорами сверкал неумирающий ткацкий станок Времени и Пространства.

Цвело Божье дерево, тамариск. Истинно Божье дерево. Цвел тамариск и в мае и в июне, красовался душистыми розоватыми гроздьями и в июле и в августе, цвел в сентябре, неутомимый цветет и в прихотливом, явившем новое красное лето, октябре. Шателей – он царство цветов. От апреля и по сегодня то тут, то там, то в одну неделю, то в другую желтели, синели, белели, золотились, багрянились, красками пели глазам – сирени, каштаны, акации, гранатовые деревья, бузина,

боярышник, липы, клены, тополя, цвел испанский дрок, цвели сосны, кроме белой и желтой акации, цвели огромные деревья акации розовой, какой я не видал даже на Яве, в лучшем ботаническом саду Земного Шара, в Бейтензорге; по многочисленным канавам и рвам, разделяющим частные владения, умиротворяющий знак единенья, лазурились ирисы; в разных виллах, разные и по-разному узорные, цвели розы, маленькие алые – целой стеной, крупные красные – отдельными чашами, они же – целыми кустами, по темным стенам и крышам ветхих, полузабытых сараюшек, и высокие кусты целомудренно-прохладных белых роз, и из всех наилучшие, пленительно воспетые нашей страстной поэтессой, Миррой Лохвицкой, чайные розы, желтизны нежной и с запахом заколдовывающим; и краса наших садов, настурции; и гордые мальвы, растущие выше здешних домов; и наши подсолнечники, много-много подсолнечников; идешь по полям, слушаешь весеннего жаворонка, поющего и летом, долго – и сияет тебе издали радость горячего золота, затягиваясь дымкой в душе, дымным налетом грусти, потому что и грустно, не только радостно, эти золотые бубны подсолнечников издали гласят о родном, о потонувшем, невозвратном.

Соловьи и жаворонки сполна пропели свои концерты, дневные и ночные, исчерпывающую песню весны, которая влюбляет и дает заглянуть в великолепную мастерскую природы, гонящей от корней к вершине веселящий сок изумруда и многокрасочное торжество цветения. О приходе природы, своевольно приказавшей всему живому быть радостным и всему раздельному стремиться к соединению, жужжали пестрые мухи, не отставшие от ос, пчел и шмелей, танцевавших по гроздьям цветов и по светлому воздуху, особливо отягощенному благовониями возле золотых

чашечек, голубых бокалов и красных кубков, которые только того и желали, чтоб к ним прильнули эти крылатые и разнесли окрест оплодотворяющий поцелуй.

Лето продвигалось, и все душистее цвела козья жимолость, на берегу Атлантического океана пряное напоминание далеких дней Алупки и Олеиза, когда любил по-весеннему, когда любовь была июньской, и эту русскую любовь обрамлял поэмами Эдгара По.

Лето проходило, но оно не приходило и не пришло. Были пасмурные, холодные дни, и одно лишь в этом было достоинство – это что дождливая погода и нескончающийся холодный ветер разгоняли приезжих людей, и не слишком они могли превращать океанское прибрежье в манежный зал. Все же людей было больше чем достаточно, и мне часто казалось, что людей вообще слишком много на Земном шаре и что в дни Каменного века, когда Природа была сильнее, а человеки малочисленнее, жизнь была много красивее, а Земля больше, чем теперь, походила на планету.

Редкие жаркие дни сгущали водяные пары, и по ночам, от Запада к Востоку, перебрасывались огненными гиероглифами зарницы, небесный огонь разделял всю ночную высь на два неба – от неба до неба, световым взаимотроплением, тщилась раздвоенная гроза сойтись в громовое единство, перекликались раскаты, пересвечивались зеркально огневицы, весь Океан в их вспышках казался вздымающимся полом безмерного ночного храма рвущихся пламеней. Но так и не было ни разу настоящей грозы.

Неуютное было лето. И в него можно было поверить лишь иногда, когда Солнце в виде исключения светило достаточно и согревало после дождя. В остальные дни – их было много – верил в лето лишь потому, что ежедневно читал газеты, а в каждой газете стояло сверху – такого-то июля. Такого-то августа.

Когда совсем несвоевременно завернули настоящие холода, я стал расспрашивать старожилов-рыбаков, не предвещает ли здесь холодное и дождливое лето особливо ясную и теплую осень. Нет, отвечали старожилы, лето было все-таки, несколько обглоданное, но было, и лето не имеет привычки возвращаться ранее следующего года. Как хорошо, что старожилы везде и всегда никак не запомнят чего-то и ошибаются еще аккуратнее, чем барометр и игроки в рулетку. Они ошиблись и этот раз, уютные старожилы. Кончился август, не принеся обычных своих очарований. Всегда и везде прозрачный и золотой сентябрь лишь на несколько дней захотел быть достойным себя и подарил празднество позлащенного леса, торжественно-тихого, с узывчивым стрекотаньем сорок и хрустальным свистом перепархивающих синиц. И вот октябрь. Зазимье. У нас, в России, октябрь ни колеса, ни полоза не любит, и, если зовут его свадебник, зовут его также и грязник. Здесь, между всеми осенними месяцами, преимущественно он грязник. Покупай деревянные гремучие сабо, а то, пожалуй, утонешь в грязи.

Так вот нет же. По прихоти раскаявшейся Природы, обычно-серый, привычно-холодный и скучный октябрь пришел торжествующе-светлым, увенчан Солнцем, теплый, жаркий, в свите летом невиданных мелькающих бабочек и многочисленных стрекоз, чуть-чуть шелестящих стекловидными крыльями. Куда ни глянь, вьются бабочки. Час их приласкал, и, дети мгновенья, отзывчиво-быстро начали они свой воздушный танец. Утром проснешься и долго нежишься в постели у раскрытого окна, в которое, гудя, залетают шмели и смотрится нежно-сапфировый Океан, ровный, гладкий как озеро, отдыхающий от беспрерывного полугодового ветра и вкрадчиво шелестящий приливной волной.

И нет людей. Какое счастье. Никого. Только синее Небо да зеленовато-голубое Море. Два зеркала Вечности. Глядись в них, душа, увидишь только красоту и никакой помехи.

Я иду купаться. Вода немного жжет, она студеная. Тем живее бежит потом кровь по жилам и позванивают в мысли стихи. Идешь. Согреваешься. Жарко.

А ночью много-много светляков. Им приснилось в теплых травяных келейках, что настала Иванова ночь. Недолго, однако, светили они. Тепло не изменило, но Новолунный Серп превратился в вескую ладью и пролил слишком много магнетического света. Светляки не любят соперничества и в лунную ночь угашают свои фонарики.

Долго ли будет длиться октябрьское лето – тем более желанное, что оно неожиданное и неправдоподобное, – этого я не знаю. Но, поняв, что я прожил на побережье Океана ровно полгода, я решаюсь остаться с Прихотницей-Природой еще полгода для завершения круга – ведь круг в начертании фигура совершенная, а также и потому, что воистину я осуществляю такою жизнью мудрость. Меня подтвердит сын старой Японии Каибара Экикенн. В своей книге «Раккун» («Философское удовольствие», XVII век) он говорит: «Тот, кто склонен к удовольствиям внутренним и чьи уши и глаза суть посредники, доставляющие ему удовольствия внешние, тот получает усладу безмерную от красоты зримого в Природе и от тысячи вещей, что находятся между небом и землею. Этот разряд наслаждения очаровывает глаза наши всячески, утром и вечером. Те, что любят на это смотреть, делаются владыками гор, вод, Луны и цветов. С ветром поют они, с птицами они состязаются».

1924, 17 октября. Chatelaillon

Революционер я или нет

Спроси белого лебедя, птица ли он и умеет ли он летать. Ничего не ответив, лебедь взмахнет своими белыми крыльями, содружными по цвету с облаками неба, и улетит от докучного к отъединенному лесному затону, и в голубом водном зеркале будут проплывать отражения белого призрака, любящего вольность, крылатого призрака, содружного по цвету с облаками неба и с белизною нагорных снегов.

Спроси цветок, умеет ли он любить Солнце. Он ответит тебе молчаливо он слегка качнется от твоего дуновения, он слегка отшатнется от тебя и сильней дохнет своим воздушным ароматом, который есть благоговейная молитва к Солнцу.

О, спроси ветер, волну, спроси колос и верховного жаворонка – все стройно и правдиво в Природе, и, ответят ли они тебе или не ответят, в их движенье, в их красках, в их шорохе, в их пении каждый, кто истинно ищет ответа, найдет полнозвучный ответ.

Но в мире людей, где лгут, все не то. Здесь умываются кровью, здесь утираются жестокостью, и улыбаются убийству, и обнимают грабеж. А все это вместе лживо называют правдой. Сидят на цепи, как дворовые псы, которым не каждый день бросят корку хлеба. Цепь разбивают их пожалевшие, снимают с них тесный ошейник, и вот уж не псы они больше – они волки, они бешеные собаки, рвущие своими обрызганными слюной зубами ту руку, которая их освободила. Оборотни, притворяющиеся пред собой и пред миром, начинающим их ненавидеть мировою ненавистью, говорят о свободе – и замыкают своих братьев в тюрьму. Говорят: «Мы преобразуем», а только разрушают красивое созданное, бессильные в своем уродстве что-нибудь создать. Зовут себя освободителями и удушают вольность человеческого слова. Называют себя

неимущими, а сами, беря плату за кровь, беря плату за лень, оценивая на монету свои убеждения, утопают в ростовщичестве, вымогательствах и взятках. И говорят о братстве, а в это время режут чужое горло. И будучи маленькими летучими мышами и косокрылыми тяжелыми вампирами, говорят: «Это мы умеем летать, мы – птицы».

Но нет. Ни прыгающая по воздуху, приплясывающая в пустоте и дурно пахнущая летучая мышь, ни поднимающийся на некоторую высоту для ночного мародерства косокрылый вампир не завоюют воздух и не станут птицами. Не им царствовать в синеве, какие бы полчища их ни сгромоздились волею исторического Апокалипсиса, – их грязно-серые тени пройдут, как проходят все тени, а белый лебедь будет жив, неприкосновенный, в своем лесном затоне, и солнечный жаворонок будет звенеть, взлетая к Небесному Костру все выше и выше. Вот придет весна.

Если Революцию понимать как освободительную грозу, как слитную симфонию ветра, грома, молнии и дождя, после ошеломительного явления которых воздух неба освежен, а зеленые покровы земли обогащены новой силой и все живые существа исполнены умноженной радости жизни, тогда нет, в сущности, ни одного гения, ни одного крупного таланта, который по природе своей не был бы революционным. Гений и крупный талант почти всегда ломает старое и создает новое. Если же в силу каких-либо частичных условий личности или исторических обстоятельств гений выступает защитником старого, самая выразительность всех его движений и проявлений возбуждает вокруг него такую бурю, что он обостряет и усиливает возникшую борьбу за новое, и в этом случае не прямо, но косвенно все равно является революционной силой.

Четыре наиболее крупных русских поэта, – крупные не только свежею первичностью своего творческого дара, но и силою своей личности, и первородной удачей минуты, которая была им дарована Судьбой, – Ломоносов, Пушкин, Лермонтов и Некрасов – глубоко революционны. Только революционность каждого из них оказывается в особой форме, и, чтоб видеть ее четко, нужен не кротовий глаз партийного человека, а вольное зрение человека с свободной душой. Слепец, привыкший к ограниченному мышлению подпольно-кружкового образца, искренно убежден, что маленький стихотворец Якубович есть революционный поэт. Тот, кто непредубежденно и зорко оценивает человеческую личность и ее судьбы, видит, что слово «революционный» гораздо более, без сравнения больше, приложимо к Ломоносову. Этот сын Белого моря, холмогорский мужик, сумевший добиться всеобнимающей учености, столь же великий в исторической русской перспективе, как велик был в перспективе итальянской Леонардо да Винчи и в германской – Гёте, первотворец нашей поэзии, которая до него умела лепетать, а с ним начала говорить и петь, химик, физик, геолог, географ, предвосхитивший научные точки зрения на 150 лет, ученый, которому в летописях славы надлежит первое место там, где Лавуазье занимает второе, мудрец, проникший в тайны вещества, не был ли он революционером и не был ли он на каторге в те самые минуты, когда он писал оду Елизавете Петровне, и когда он шесть лет преподавал химию, не имея лаборатории, и когда он должен был тратить свои драгоценные силы на бесславную борьбу с подлым немцем Миллером и с подлым немцем Шумахером, и когда все, чего он достигал и чего он достиг, он должен был проводить через борение и вражду, всегда опираясь лишь на себя, на

силу своего гения, долженствующего опрокидывать, для того чтобы творить.

Что революционны были и Пушкин, и Лермонтов, это запечатлено уже самою судьбою их, явно мученической. Но, к прискорбию, должно признать, что русские люди, даже и сегодняшнего дня, склонны видеть их революционность разве в том, что Пушкин был дружен с декабристами и написал несколько политических стихотворений, а Лермонтов написал строки о палачах свободы и гения, стоящих у трона, – строки, за которые он был сослан на Кавказ. Николай Первый своим жандармским умом был умнее русского общества и видел ясно, что Пушкин революционен и опасен всей своей личностью, что каждая песня, которая вырвется из горла такого редкостного соловья, настолько овеяна воздухом свободы, что соловья этого нужно держать в клетке и позволять ему петь под надзором, хотя бы он пел о розе или весне.

Некрасов, стихи которого дошли и до народа, стоит особняком среди русских поэтов XIX века. Огромный его талант, сопряженный с особенностями его судьбы, дал ему возможность создать для себя новую поэтику, вне так называемого поэтического. То, что считалось фактически невозможным вводить в область поэтического изображения, он сделал как раз любимым, главным элементом своего творчества, и, опираясь на эту отдельную свою черту, он развернул такую широкую картину русской жизни и русской души, что должен считаться поистине наилучшим знатоком и изобразителем русского народа. Он показал воочию то, что, увидав, нельзя уже не желать изменить Россию и дать ей новый лик.

От высокой души падает свет, а свет рождает тысячу отсветов, а отсветы эти, поблуждав в мире, воссоединяются в новом единстве, ищущем выхода, и рождают

новую грозу в свете вихрей, молнии и грома и в алмазно-жемчужных ожерельях дождя.

Когда я вспоминаю свою юношескую любовь к революционному лику вообще и свое пристрастие к отдельным лицам, таким как декабристы, и более яркие София Перовская и Желябов, я думаю теперь, что в пределах русской истории наиболее революционные лики не Посошков, не Радищев, не Рылеев, не Перовская и не Желябов. Это все малые волны, но никто из них не девятый вал. Самые революционные лики для меня, полные освободительной красоты, это княгиня Древней Руси Ольга, мученица веры боярыня Морозова, таинственный царевич и царь Димитрий и могучий исполин Петр. Ольга на рубеже двух миросозерцаний, языческого и христианского, поняла провидчески, что грядущее Славянство принадлежит Христианскому слову, и закрепила узел веков. Боярыня Морозова в рабском обществе Московии, привыкшей холопствовать, среди московитов, настолько созданных для трусливого рабства, что они и сегодня еще все охают о рабстве и насилии, но не свергают его смелой рукой, она, женщина, она, привыкшая к роскоши и почету, бесстрашно отбросила все от себя, чем дорожат богатые и бедные, и накликала на себя царский гнев, и душой своей обняла заточение в земляной тюрьме. Димитрий, доселе еще не разгаданный и не исчерпанный, навсегда шатнул преступный царский трон, показав, что смелый самовенчанный человек, если он хочет, может быть увенчан целым народом. Петр, возненавидевший своей орлино-огненной душой прохладных лентяев Московского царства, этих трусов, умеющих бормотать, но отступающих от смелости деяния, дланью гиганта ударил так по всей Русской земле, что отклики этого удара слышны и поныне, он с такою творческою безоглядностью принялся за сомнительное

животное, которое было не то чахлой клячей, но то заевшимся битюгом, что возник совсем добрый конь, спорый и огнедышащий, и он вздернул этого коня на дыбы, и он заставил его скакать, и он заставил его проскакать в краткие часы такие пробеги, что вот ни один Европейский конь не мог совершить ничего равноценного в такую краткость времени с тех самых пор, как Европа стала называться Европой.

Революция есть гроза преображающая. Когда она перестает являть и выявлять преображение, она становится Сатанинским вихрем слепого разрушения, Дьявольским театром, где все ходят в личинах. И тогда правда становится безгласной или превращается в ложь. Толпами овладевает стихийное безумие, подражательное сумасшествие, все слова утрачивают свое содержание и свою убедительность. Если такая беда овладеет народом, он неизбежно возвращается к притче о бесах, вошедших в стадо свиней.

Я хочу говорить о себе, рассказать что-то из своей жизни, показать что-то из своей души, просто и искренно, – как будто я говорю в кругу самых близких людей, – как будто я говорю с любимым другом, – как будто я говорю с собственной душой, когда наедине с самим собою сердце не боится говорить до конца, любить, негодовать, ненавидеть, растрогаться, гореть, быть малым, быть большим. Мал я или велик, этого я не знаю, но я знаю, что, когда вся страна в чрезвычайной беде, голос того, в чьей жизни было большое счастье и большое несчастье, не прозвучит напрасно.

Кто я? Русский. Один из полутораста миллионов русских, живущих на Земном Шаре. По крещению православный христианин, по происхождению сын помещика и дворянин, по роду занятий писатель, по судьбе своей прославленный поэт, имя которого известно не только в России, но и в Европе, и дальше, в

Японии, где у меня есть верные почитатели и преданные друзья. Полудетская моя мечта, приснившаяся мне наяву, когда мне было лет 13, исполнилась. Но, оглядываясь на свою жизнь, если я чему-нибудь радуюсь особенно глубоко, это не тому, что имя мое стало озаренным, и даже не тому, что Судьба даровала мне истинный поэтический дар и что мне сладко петь, как сладко петь весенней птице, а тому, что, поняв в 13 лет одно слово, я всей душой полюбил исследование и умственную работу и с тех пор неустанно работаю, не щадя своих сил, упиваясь работой, как упиваются вином, и буду работать до конца своих дней, зная, что работа приближает меня к Богу, чья сущность есть созидание, и что только в оправе работы Божий дар становится драгоценным камнем. Я глубоко радуюсь также тому, что мой отец и моя мать даровали мне счастливое детство и что всю свою жизнь я встречаю людей, которых я люблю и которые любят меня.

Какое слово оказало на меня в детстве исключительное влияние? Я скажу. Однажды без всякого позволения я забрался в книжный шкаф моей матери и в одной книге прочел английское слово self-help, в скобках перевод «самопомощь». Это причудливое слово, нерусского лика, притянуло все мое внимание, как будто это был необычайный зверек или невиданный талисман. Самопомощь. Если что-нибудь нужно тебе, если что-нибудь манит, – не прибегая к другим, самому помочь себе во всем. И в этом мощь, сила. И в этом полная свобода, гордая воля, отъединенность без вражды, но и без стеснительного сочетания с другими людьми, целый сад, который принадлежит тебе, целый лес, в котором весело идти одному к неожиданному, к манящему, к открытию, к чуду. О, это благородное английское слово стало моим дорожным посохом, моим тайным цветком, и мечом, и молотом. Когда поздней

мне захотелось проникнуть в душу русского народа, мне ничьего не нужно было указания, чтоб приблизиться к тем, к кому я хотел стать близко, и чтоб прочесть столько книг, сколько хватит и на нескольких человек. Когда я захотел прикоснуться к творчеству чужих и для мысли близких великих исторических народов, я сумел овладеть немецким и шведским языком, французским и испанским, я победил преграду многих чужестранных языков и научился полнотою души жить в разных эпохах и с самыми различными народами.

Но много раньше, чем пришло ко мне это магическое слово, другие слова, русские, напевные, определили во многом движение детской мысли. Я родился и вырос в деревне и в маленьком провинциальном городке. Деревня Гумнищи, Шуйского уезда, Владимирской губернии. Она еще жива, эта деревушка, в которой всего лишь с десяток крестьянских домов и небольшая усадьба. Что в ней теперь, я не знаю. Я отказался от своей доли наследства и давно оттуда уехал. Но тогда, в далеких далях времени, это было красивым малым царством уюта и тишины. Мужики были не бедны. Отец мой, небогатый помещик, был воплощением душевного благородства, и за всю жизнь его я не помню, чтобы он хоть раз на кого-нибудь закричал. Он был безупречным земским деятелем, и как председатель Шуйской земской управы, основанием сельских школ много содействовал распространению грамотности среди окрестного населения. Моя мать, исключительная, умная, просвещенная женщина, которая была бы заметна и в любой столице, учила и лечила мужиков и баб, и целые их вереницы беспрестанно тянулись к серому дому, окруженному садом. Если я много в детстве видел цветов и бабочек, я видел также и лица, исполненные такой выразительности, что они поздней, припоминаясь,

неотступно стали требовать разрешенья вопроса о страдающих и нуждающихся в том, чтоб им помогли.

Мне хочется еще сказать, что, когда мне было лет пять, мать прочла мне в саду стихи Никитина, начинающиеся строками:

Ясно утро. Тихо веет
Теплый ветерок...

стихи о подкидыше, приемыше, гонимой девочке, – и мне навсегда стало знакомо ощущенье созвучной боли.

Малая усадьба была малым раем, или казалась ребенку таким, но в памяти живших в ней и около нее были призраки, скорее, надлежащие к Преисподней. Если отец мой был кроткий и справедливый человек, его мать, которой уже не было тогда в живых, жила в моем детском сознании как страшный знак того бесчеловечного ужаса, который был в старину и назывался крепостным правом. Я знал из рассказов близких, что однажды, рассердившись на своего крепостного столяра, который запьянствовал и вообще любил испить, она велела приковать его к столу, и так он существовал целых два года, а потом сбежал и пропал. Другой крепостной, в чем-то провинившись, был по ее желанию внезапно разбужен ночью, и ему сказали: «Вставай. В город тебя повезут. В солдаты забреют». Полусонный парень в перепуге рухнулся на пол и забился в припадке. С тех пор у него открылась падучая. Эти жуткие призраки вошли в полудетскую душу и заставили ее задуматься глубоко, а такие писатели, как Никитин, Некрасов, Гоголь, Глеб Успенский, Решетников, Тургенев, были первыми водителями отроческих и юношеских размышлений о русском народе и неправде мира.

Позднее, в гимназические дни, приготовляя кое-как постылые уроки и предаваясь все время чтению

исследований по истории общественных движений, изучая раскол и сектантство, артель и общину, основы политической экономии, я хотел добиться для самого себя полного выяснения правды о людях и разрешения вопроса, как сделать так, чтобы все были счастливы. Потому что я был счастлив, и мне хотелось, чтобы всем было так же хорошо. Мне казалось, что, если хорошо лишь мне и немногим, это безобразно. Я не хочу, конечно, сказать, что я только об этом думал. Я лишь говорю, что такая мысль всегда была мне не чужда. И когда по ночам, засидевшись над завлекательной книгой, я слышал, как гудят на фабриках свистки, и ощущал, что я сейчас пойду в долины сна и буду в мягкой теплой постели, а в это время сотни и тысячи людей стоят за станками в душных и скучных фабричных зданиях, я не мог не думать о неправде мира.

Да, мир стоит на неправде. Это слишком очевидно. Те, кто работает над землей, имеют скудное количество земли, и последний достаток у них еще норовят отнять, а те, кто не работает над землей, имеют ее сколько угодно или, во всяком случае, более чем достаточно. В этом нет правды, и это должно быть устранено. И те, которые днем и ночью работают в рудниках, на фабриках и заводах, обогащают других, не обогащаясь сами, и не пользуются высокими благами просвещения, умственной жизни, удовольствиями искусства, путешествиями, всем тем, что только и делает жизнь привлекательной и человека воистину человеком. В этом нет правды, и это должно быть устранено. Все должны пользоваться благами жизни и приникать к красоте мира. Быть может, в неодинаковой степени, ибо личности людей различны. Но красота мира не должна быть уделом лишь немногих, каждому должен быть открыт к ней путь.

Среди книг, которые я читал в юности, помню, на меня произвела впечатление книга бельгийского ученого Лавэле о социализме. Социализм показался мне скучным, уродливым, он показался мне убогою выдумкой, противоречащей всем основным свойствам человеческой души, совершенным нарушением свободы личности. Но на одной из страниц книги Лавэле был краткий очерк о Кропоткине и русских революционерах. Если социализм показался мне скучным и противоестественным, Кропоткин и другие русские революционеры показались мне чрезвычайно привлекательными. Я и теперь так думаю. Я нахожу, что Кропоткин интересен, а социализм есть убогая выдумка человеческого ума, которой, быть может, суждено на краткий исторический час воплотиться в действительность, чтоб человечество, всегда в своей исторической жизни создающее новые ходы и попытки, убедившись, что принудительное обобщение труда есть наихудший вид духовной каторги и наиболее полное осквернение свободы личности и неприкосновенности отдельной души, прониклось наконец предельным отвращением к своему грубому пленению внешним веществом и, возжаждав духовной основы личного и общего жития, создало такие формы жизни, где все души были бы обвенчаны некоей как бы брачной любовью, но каждая душа, пользуясь благами внешними, оставалась бы совершенно независимой от человечества как целого. Путей к этому много, и всеобщее разлитие знания, золотых чарований искусства и благоговейного мышления есть один из наиболее достоверных путей.

Мне хочется кратко упомянуть о нескольких маленьких событиях моей жизни, которые для меня были не маленькими, а большими. В 1884 году, когда я был в седьмом классе гимназии, в мой родной город Шую приехал некто Д., писатель, привез номера

революционных газет «Земля и Воля» и «Народная Воля», несколько революционных брошюр, и на зов его собрались в одном доме, в небольшом количестве, несколько мысливших гимназистов и несколько взрослых людей, настроенных революционно. Д. сообщил нам, что Революция разразится в России не нынче-завтра, и что для этого лишь нужно покрыть Россию сетью революционных кружков. Я помню, как один из любимых моих товарищей, сын городского головы, привыкший устраивать с товарищами охотничьи походы на уток и вальдшнепов, сидел на окне и, разводя руками, говорил, что, конечно, Россия совершенно готова для Революции и нужно только ее организовать, а это совершенно просто. Я молча полагал, что все это не просто, а очень сложно, предприятие же глупо. Но я сочувствовал мысли о распространении саморазвития, согласился вступить в революционный кружок и взялся хранить у себя революционную литературу. Весьма быстро последовали в городе обыски, но в те патриархальные времена жандармский офицер не посмел сделать обыск в домах двух главных лиц города – городского головы и председателя земской управы. Таким образом ни я, ни мой товарищ не попали в тюрьму, а лишь были исключены из гимназии, вместе с еще несколькими. Нас вскоре приняли в другие гимназии, где мы оканчивали ученье под надзором. Один же член кружка не избег тюрьмы и через год умер в заключении от чахотки. Что касается Д., он тоже вскоре был арестован и на допросе вел себя как предатель. Первый вестник русской революции в моей жизни был не более как жалкий провокатор – слово, тогда еще не возникавшее в русской речи, а теперь в революционной летописи играющее столь почетную роль.

Я поступил в Московский университет, на юридический факультет, но изучал не столько юридические

науки, сколько немецкую поэзию и историю Великой Французской Революции. Через год, как один из организаторов первых университетских беспорядков против нового устава, я был посажен на несколько дней в тюрьму и выслан на родину. Еще за год перед этим ко мне однажды пришел рабочий, гравер, Александр Бердников, образ которого я навсегда сохраню как красивый мученический лик. Он искал правды и не знал, в каких книгах ее найти. Начав с Некрасова, я постепенно дал ему главнейшие произведения русской и европейской литературы, потом разные книги по политической экономии и по истории освободительных движений. Вскоре хозяин лишил его места за то, что он смущал других рабочих. В Шуе разразилась крупная забастовка. Найдены были воззвания, писанные рукою Бердникова, он был схвачен и заключен на три года в «Кресты». За два месяца до окончания срока он угас от чахотки.

Приблизительно в это время, в 1888 году, я сблизился во Владимире-губернском с кружком политических ссыльных, вернувшихся из Сибири. Считая, что Революция в России невозможна, что освобождение придет частью через медленное развитие отдельных личностей и отдельных слоев народа, частью через истребление проклятого рода самодержавных царей, я предложил одному ссыльному, говорившему мне, что у него есть связи с какой-то народовольческой организацией, – предложил ему себя для свершения жуткого подвига, кровавой и благой жертвы. Ничего не вышло, кроме разговоров. Или никакой организации не было, или мой приятель солгал мне, или такая жертва была сочтена ненужной. С тех пор, и навсегда, я отошел от каких-либо партий. Мне глубоко неприятны всякие партийные люди, когда они говорят как партийные. Я думаю, что так и должно быть. Поэт выше всяких

партий. Выше или ниже, это там всячески бывает, но, во всяком случае, – вне. У поэта свои пути, своя судьба, он всегда, скорей, комета, чем планета, если он истинный поэт, то есть не только пишет стихи, а и переживает их, живет поэтически, горит и дышит поэзией.

Я весь отдался своим изучениям. В 1890 году я напечатал книгу стихотворений, после того как несколько лет ни один журнал не хотел печатать моих стихов. Книга была частию не замечена, частию встречена враждебно, и в печати и среди моих близких. Это сочеталось с тяжелой личной драмой, которая разъединила меня с моей родной семьей и показала мне любовь в демоническом лике, даже дьявольском. С юношеской прямотой и страстностью я решил, что мне нет места на земле. Несколько недель я обдумывал, как убить себя, и 13 марта, когда выставлено было первое окно в той гостинице, где я жил, когда ворвались в комнатную духоту с волной свежего воздуха первые весенние звуки, я признал в этом тайный знак освобождения, которое зовет. Я бросился с третьего этажа на камни. О, я благословляю теперь это 13 марта – никого не зову сделать так, – но в моей судьбе это был первый и лучезарный день новой жизни. Смерть не взяла меня, я лишь весь был разбит и переломан. Но бывают чудеса. Я пролежал в постели целый год, и из двух воль, которые всегда живут в человеческой душе, – воля к тоске и воля к радости, воля к недвижности и воля к действию – одну волю я убил в себе навсегда. Лишь воля к радости и к действию ведет меня и будет вести. И увидев смерть лицом к лицу, я узнал, что смерти нет, что человек бесконечен в своих путях и через смерть он идет лишь к новому воплощению, где опять впервые он полюбит Солнце и Луну и узнает радость первой любви.

Погрузиться душою в восторг изучения, это я знаю. Долгими, сложными, трудными путями сделать так, что в Индии ты индус, что в Египте ты египтянин и мусульманин с арабом, и жадный испанец в морях, по которым бежит к неизвестному вольный корабль, – это я знаю. Не признавать никаких рамок и ограничений, верить только в святыню своего бесконечного самоутверждения в мире, знать, что каждый день может быть первым днем миросоздания, – не в этом ли высшее достоинство человеческой души?

Только в этом. Через любовь и исследование к бесконечности завоевания.

Не потому ли, что в стихах моих запечатлелась полная правда, а не только нарядная красота, полный звук человеческой души, жаждущей радости и воли, их так любят девушки, дети, узники и смелые люди подвига? Я встречал детей, которые приникают ко мне, и я встречал борцов, бежавших из тюрьмы и из Сибири, которые говорили мне, что там, в тюрьме, случайно попавшая им в руки книга моих стихов была для них раскрытым окном освобождения, дверью, с которой сорван замок. Я знаю, что благородный герой Каляев, в жутком подвиге не утративший нежности души, любил мои стихи и считал их родными себе. Я знаю, что Савинков мои стихи любит. Я благословляю такую степень самоотъединения, которая от души бросает мост к душам.

1917

Родная тень

Видение

Любовь к умершему брату сделалась манией моей жизни. Я никак не мог забыть его. Чем больше проходило лет со дня его смерти, тем яснее выступали в душе моей черты его лица, тем отчетливее понимал я, какие блаженные минуты духовного единения исчезли для меня безвозвратно. А эти падения, унижения – их не было бы, если бы меня поддерживала его твердая рука.

Да, я слабый человек. Моя любовь к нему коренится в чувстве эгоизма. И, однако же, никто никогда не мечтал об утраченной любимой женщине с такой страшной напряженностью, с какою дни и ночи я мечтал о моем погибшем брате. Где бы я ни был, я видел его глубокие серые глаза, его черные курчавые волосы, его улыбку, исполненную печального значения, я слышал его слова, которые звучали необычно.

Я ушел из города. Меня мучил этот ненавистный грохот. Меня ужасало бездушие этих каменных глыб.

Сельское кладбище было окутано безмолвием и все напоено сиянием заходящего солнца. Я долго плакал над могильной плитой. Как ребенок припадает к коленям матери, я судорожно прижимался губами к этому холодному камню. Но сила моих безумных рыданий не могла мне вернуть того, на чем давно уже лежала рука всепобеждающей смерти.

Наконец, устав от рыданий, я уснул. Не знаю, долго ли я спал. Мне показалось, что я проснулся тотчас же, пробужденный легким толчком. Действительно, плита слегка приподнялась, и из-под нее постепенно и бесшумно выросла бледная тень. Кладбища больше не было видно, не было видно и села с его ветхой желтой церковью, с его серыми покосившимися избами. Кругом, куда только мог достичь взор, везде простиралась

гигантская равнина, сплошь покрытая высокими-высокими цветами. Голубое и глубокое небо было безоблачно, и над дальней гранью горизонта слабо обрисовывался золотистый полумесяц.

Бледная тень беспумно прошла мимо меня, а я, опершись на локоть, стал смотреть ей вслед, не испытывая никакого изумления, а только чувствуя странную признательность за то, что она вышла из могилы. И тень пошла по равнине, и она слегка наклонялась над каждым стеблем, над каждым цветком, и я видел, что вслед за этим в каждом из цветков, мимо которых проходила тень, загоралась лучистая капля.

И уходя, тень скрылась наконец на самом далеком месте горизонта, где едва обрисовывался золотистый полумесяц. И тогда все цветы этой гигантской равнины ярко заблистали, и они стали вырастать, и они все росли, и тянулись, и они доросли до самого неба, и мгновенно растаяли, и небо вспыхнуло дрожащими бесчисленными звездами, которые своим безмолвным языком говорили друг с другом о красоте и благородстве любви.

1894–1895

Русский язык.
(Воля как основа творчества)

Из всех слов могучего и первородного русского языка, полногласного, кроткого и грозного, бросающего звуки взрывным водопадом, журчащего неуловимым ручейком, исполненного говоров дремучего леса, шуршащего степными ковылями, поющего ветром, что носится и мечется и уманивает сердце далеко за степь, пересветно сияющего серебряными разливами полноводных рек, втекающих в синее море, – из всех несосчитанных самоцветов этой неисчерпаемой сокровищницы, языка живого, сотворенного и, однако же, без устали творящего, больше всего я люблю слово – воля. Так было в детстве, так и теперь. Это слово – самое дорогое и всеобъемлющее.

Уже один его внешний вид пленителен. Веющее в, долгое, как зов далекого хора, о, ласкающее л, в мягкости твердое утверждающее я. А смысл этого слова – двойной, как сокровища в старинном ларце, в котором два дна. Воля есть воля-хотение, и воля есть воля-свобода. В таком ларце легко устраняется разделяющая преграда двойного дна, и сокровища соединяются, взаимно обогащаясь переливаниями цветов. Один смысл слова воля, в самом простом, изначальном словоупотреблении, светит другому смыслу, в меру отягощает содержательностью и значительностью его живую существенность. Говоря – воля, русская речь вполне отдает себе отчет, что и воля-свобода и воля-хотение два талисмана, беспредельно желанные, но неизбежно нуждающиеся в точно определенных пределах, – будь то строгий устав правильно обоснованной жизни или же великий искус и подвиг личного внутреннего самоограничения. И русская няня ласково скажет детям: «Ишь распалились. Вольница. Спать пора». А русский

народ, кроме того, звал вольницей всех уходивших к волжскому раздолью от московской тесноты. И зовет вольницей разгулявшихся весельчаков. И зовет вольницей разбойников. А ярославец, сказавши – вольный, разумеет – леший. Что же касается этого изумрудного самодура лесов, любящего кружить прямолинейных людей, о нем существует народное слово, являющееся обворожительным и красноречивым противоречием: «Леший нем, но голосист».

Художественное противоречие, восхищающее вкус верный и изысканный, вовсе не есть противоречие, но особенный путь души достигать красоты. Когда ребенок, захваченный глубоким чувством, лепечет своей матери: «Я люблю тебя больше всех на свете», а отец, услыхав его лепет, спросит: «А меня?» – ребенок, не колеблясь, ответит: «И тебя больше всех на свете». Эти божески-верные слова покажутся противоречием лишь тому, кто тусклыми своими глазами не умеет читать слова человеческие и божеские. Пока мы говорим и рассуждаем о воле, вокруг этого слова ткется мгла жути. Но марево исчезает сразу, когда смелый скажет: «Волей свершаются подвиги», когда мудрец скажет:

«Мир как воля», когда няня скажет ребенку: «Солнышко светит. Пойдем-ка на волю!», когда ребенок, радуясь весне и проникаясь мудростью, наклонной к щедрости, выпустит из клетки на волю своего любимого щегленка, а позднее, сознав эту великую радость освобождения, роднящую ребенка с великим итальянцем, обнявшим все стихии мира, будет читать с восторгом в детской книжке западающие навсегда в память стихи:

Вчера я растворил темницу
Воздушной пленницы моей:
Я рощам возвратил певицу,
Я возвратил свободу ей.

Она исчезла, утопая
В сиянье голубого дня,
И так запела, улетая,
Как бы молилась на меня.
/Туманский/

Улетела в небо или в лес. Туда, где правит леший, а леший нем, но голосист. Немота, которая имеет голос, молчание – говорящее, безмолвие – исполненное красноречия. Русский народ так определил лес, что в этом определении есть и указание на основную тайну мира. Немой мир ищет голоса и веяньем ветра, плеском волн, перекличкой птиц, жужжанием жуков, ревом зверя, шорохом листьев, шепотом травинок, разрывающим все небо гимном грома дает своей внутренней ищущей воле вырваться на волю. Раскроем забытую книгу забытого великого русского писателя, которого теперь не читает почти никто и слава которого, в сознательные десятилетия русской жизни, всегда была затенена славами других наших великих писателей. Я говорю о любимце моего детства, вновь ставшем моим любимцем теперь, Сергее Тимофеевиче Аксакове.

Любовно приникая к многоликой иконе бытия, Аксаков говорит как родной брат индуса, которому любы все живые существа: «На ветках деревьев, в чаще зеленых листьев и вообще лесу, живут пестрые, красивые, разноголосые, бесконечно разнообразные породы птиц: токуют глухие и простые тетерева, пищат рябчики, хрипят на тягах вальдшнепы, воркуют, каждая по-своему, все породы диких голубей, взвизгивают и чокают дрозды, заунывно, мелодически перекликаются иволги, стонут рябые кукушки, постукивают, долбя деревья, разноперые дятлы, трубят желны, трещат сойки, свиристели, лесные жаворонки, дубоноски, и все многочисленное, крылатое, мелкое певчее племя наполняет воздух разными голосами и оживляет тишину лесов; на

сучьях и дуплах деревьев птицы вьют свои гнезда и выводят детей; для той же цели поселяются в дуплах куницы и белки, враждебные птицам, и шумные рои диких пчел».

Вот полнота великорусской, чистой, медлительной речи, в меру вводящей и чувство тревоги, где слова коротки и ударенье – на последнем слове словосочетаний, – «шумные рои диких пчел», – и чувство созерцательного спокойствия, где слова равномерно вырастают и ударенье в последнем слове – на втором слоге от конца, как в стихе, что называется хорей, – «кукушкины слезки, тальник и березка», – и чувство замедленной напевности, как в стихе, что называется дактиль, с ударением на третьем слоге от конца, – «изменяются в лесу, звучат другими, странными звуками». Этот дактилизм, перемежаемый хореизмом, или, чтобы избегнуть иностранных слов, мне ненавистных и мне навязанных, эта трехслоговая замедленность, перемежаемая замедленностью двухслоговой, является ключом свода. Это ключ истинной, исконной, чистой, превосходнейшей русской речи, языка великой России, один из главных талисманов, обусловливающих его певучее чарование. Ключ – не самый замок, не дверь, не вход; красота терема – внутри терема.

Но я забегаю вперед. Слово уводит, и не всегда его нужно слушаться. Я хочу вернуться к моему любимцу. Меня дивит и восхищает великий русский писатель, который через сто лет говорит со мной живым голосом и являет своей речью, – неподдельной, как степь, как сад, как болото, как лес, как река, – что он один из всех любит природу во всем ее божеском объеме и, как художник, как охотник, как рыболов, как следопыт, знает все. Слушавший целую жизнь свою голос материземли знает все. Верное слово расскажет, как красив любимец русской старины белый лебедь, начнет ли он

купаться, начнет ли потом охорашиваться, распустит ли крыло по воздуху, как будто длинный косой парус.

Расскажет, как сторожевой гусь подает тревогу, а если шум умолк, говорит совсем другим голосом, и вся стая засыпает; как страстно любит жадный селезень, чья голова и шея точно из зеленого бархата с золотым отливом, как, взлетая, срывается с земли стрепет, встрепенется, взлетит и трепещет в воздухе, как будто на одном месте, а сам быстро летит вперед; как с вышины, недоступной иногда глазу человеческому, падает крик отлетных журавлей, похожий на отдаленные звуки витых медных труб; как, влюбленный, кричит, точно бешеный, с неистовством, с надсадой, коростель, быстро перебегая, так что крик его слышен сразу отовсюду; как плавает, смелыми кругами, в высоте небесной, загадочная птица, кобчик, как токует в краснолесье глухарь; как токует, – еще Державиным воспетый, тетерев, дальним глухим своим голосом давая чувствовать общую гармонию жизни в целой природе; как рябчики любят текучую воду, сядут на деревьях над лесной речкой, слушают журчанье, грезят и спят; как приятно воркует лесной голубь, вяхирь, – по зорям и по ветру слышно издалёка, – а горлинка, похожая на египетского голубя, с которым охотно понимается, воркует не так глухо и густо, а тише и нежнее; как дрозд, большой рябинник, весело закличет «чок, чок, чок»; как звонко поют в зеленых кустах соловьи на берегах Бугуруслана.

Прикасаясь к русскому языку, в малом его огляде, как глядишь в хрустальную горку, где собраны с детства любимые талисманы и памятки, – как смотришь в глубокий родник, который журчит, и его слышишь, а откуда он течет, не знаешь, – я хочу сказать лишь немногое и не как ученый исследователь. Я не анатом русского языка, я только любовник русской речи...

Возьмем ли мы духовный стих, или былину про богатырей, или народную песню недавнего времени, или «Слово о полку Игореве», или пословицы, поговорки, загадки, или отдельные места летописи, те, где сквозь дымную церковнославянскую слюду просвечивает напевное естество чистого русского языка, или тех создателей и укрепителей русской прозы, язык которых наиболее исконный и первородный, в вольности уставный, великорусский, основной, – Карамзин, Пушкин, Аксаков, Печерский, – или тех поэтов, чей поэтический язык наиболее перед другими близится к народному говору, к народному словесному пути и напевной повадке, – мы везде увидим то, что я называю пристрастием русского языка к дактилизму, перемежаемому хореизмом, или более по-русски, трехслоговой замедленностью, перемежаемой замедленностью двухслоговой. Я говорю, что напевность великорусской речи, основанной на музыкальной любви русского народа к трехслоговой замедленности, поражает меня и в простой ежедневной народной речи, и в наилучших образцах нашей литературной прозы, – литературный же стих, наилучший наш стих, как мы, люди образованные, понимаем это слово, по большей части избегает ее. Литературный стих, пушкинский, ямбичен, он коротко ударен, а не напевен, он основан на двухслоговой ударности. Былинный же стих и стих народной песни, для литературного слуха, звучит так, что часто представляется лишь певучею прозой...

Сидит в келье монах, и зовут его старым именем Нестор, медленно он выводит буквы, записывая повесть Руси рукою, привыкшей истово креститься, и не столько он являет светлое зеркало минувшего, сколько ткет паутины и затемнения, но сквозь синюю мглу ладанного воздуха, через поблескиванья церковной позолоты, через слюдяное оконце засматривая, вижу я и слышу,

что и здесь ворожит понравившаяся мне с детства трохслоговая замедленность родной моей речи, сменяемая замедленностью двухслоговой: «Изъгнаша варяги за море, и не даша им дани, и почаша сами в собь володьти, и не бе в них правды и въста родъ на родъ, и быша в них усобиць, и воевати почавша сами на ся... И мужи его /Олга/ по русскому закону кляшася оружьем своим, и Перуном, богом своим, и Волосом, скотьем богом, и утвердиша мир... и повеси щит свой в вратех показуя победу, поиде от Царяграда».

Из другого монастыря, бог весть зачем туда попавшая, не в монастыре пропетая, из рук монастырского отшельника в руки царского сановника переданная, запись-песня, сгоревшая в великом пожаре Москвы и все же сохранившаяся, песня, повитая под трубами, концом копия вскормленная, под шеломом взлелеянная, полная ржанья коней, орлиного клекота, ворчания волков и лисиц, оскалившихся на червленые щиты, вся сияя кровавыми зорями и синими молниями, Вся овеянная бранным серебром и белыми хоругвями, шумит и звенит издалече эта песня перед зорями, «Слово о полку Игореве», наша песня наших дней, и Гзак бежит серым волком, а Кончак ему след правит к Дону великому. О русская земля, ты уже за холмами, за холмом, за шеломенем. И плачет Ярославна: «О ветре, ветрило! чему, господине, насильно въеши?»

Напевность прозаической русской речи, выражающаяся в том, что русский бессознательно выбирает, подчиняясь внутреннему своему чувству, логически ударяемое, подчеркиваемое слово с ударением на третьем слоге от конца и таковое же слово, то есть звуковым ликом сродное, ставит как завершительное в словосочетании, кончает им фразу, – эта особенность нашего благозвучия сказывается не у всех наилучших наших повествователей. И, конечно, она достигает напряженности не всегда, а вызывается определенным

душевным состоянием. Я думаю, что такое состояние можно определить как мерную лиричность взнесенного чувства и умудренного сознания. Это пристрастие к трехслоговой замедленности, повторяю, ярче всего сказывается у Карамзина, Аксакова и Мельникова-Печерского.

Припомним благоговейную молитву, которую перед смертью, на чужбине, истосковавшись в безлюбье, написал Тургенев:

«Русский язык.

Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины – ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык. – Не будь тебя – как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома? – Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу».

Говоря о русском языке, я еще не ответил на два вопроса, которые сам себе поставил, в своем рассуждении: кто из русских писателей самый русский и как возникает стих?

Воплотители величайшей гармонии русского духа, его солнечной основы, его зеркальной ясности, его слияния с природой, чей волевой мирозданный станок размерно творит в веках, поставляя жужжание мошки в тот же ряд, где и дикие пропасти человеческой души, создатели самой чистой, первородной русской речи, – самый русский поэт Пушкин, самый русский прозаик Аксаков.

А как возникает стих, как куется этот золотой обруч, связующий обрученьем и святым венчаньем воленье души с таинством мира и других душ, об этом сказал почти на все вопросы отвечающий Пушкин Он говорит: «Поэзия бывает исключительной страстью немногих, родившихся поэтами: она объемлет и поглощает все наблюдения, все усилия, все впечатления их жизни».

Символизм народных поверий

Положительный разум-рассудок так называемого образованного общества можно сравнить с плоской скучной равниной, по которой тянутся монотонные проезжие дороги, правильными линиями идут железнодорожные рельсы, а там и сям на приличном расстоянии красуются дымящиеся фабрики и докучные заводы, на которых в духоте и тесноте отупевшие человеки производят для эфемерного бытия фальшиво-реальные ценности, элементарные полезности тусклых существований.

Народный разум-воображение, фантазия простолюдина, не порвавшего священных уз, соединяющих человека с Землей, представляет из себя не равнину, где все очевидно, а запутанный смутный красивый лес, где деревья могучи, где в кустарниках слышатся шепоты, где змеится под ветром и солнцем болотная осока, и протекают освежительные реки, и серебрятся озера, и цветут цветы, и блуждают стихийные духи.

Этим свежим дыханием богатой народной фантазии очаровательно веет со страниц недавно вышедшей превосходной книги С. В. Максимова «Нечистая, неведомая и крестная сила» (СПб., 1903). Царь-Огонь, Вода-Царица, Матъ-Сыра-Земля – как первобытно-радостно звучат эти слова, как сразу здесь чувствуется что-то пышное, живое, царственное, ритуальное, поэзия мировых стихий, поэзия двойственных намеков, заключающихся во всем, что относится к миру Природы, играющей нашими душами и телами и дающей нам чрез посредство нашего всевоспринимающего мозга играть ею, так что вместе мы составляем великую вселенскую поэму, окруженную лучами и мраками, лесами и перекличками эха.

В красочных существенных строках Максимова, владевшего как никто великорусской народной речью,

перед нами встает наша «лесная и деревянная Русь, представляющая собою как бы неугасимый костер», эта страна, взлелеянная пожарами и освященная огнем. «По междуречьям, в дремучих непочатых лесах врубился топор... проложил дороги и отвоевал места... на срубленном и спаленном лесе объявились огнища или пожоги, они же новины, или кулиги – места, пригодные для распашки». Русский человек выжигал дремучие леса, чтобы можно было выточить о землю соху и сложить золотые колосья в снопы. Он выжигал ранней весной или осенью все пастбища и покосы, чтобы старая умершая трава, «ветошь», не смела мешать расти молодой и чтоб сгорали вместе с ветошью зародыши прожорливых насекомых, вплоть до плебейски многолюдной и мещански неразборчивой саранчи.

Огонь очистительный,
Огонь роковой,
Красивый, властительный,
Блестящий, живой.

Этот многоликий Змей становится эпически-безмерным и экстатически-страшным, когда ему вздумается развернуться во всю многоцветную ширину своих звеньев. Летописи истории хранят воспоминание об одном из таких зловещих праздников Огня, разыгравшемся в 1839 году в знаменитых костромских лесах. Написавший книгу о Неведомой Силе видел этот праздник сам. Солнце потускнело на безоблачном небе – это в знойную пору июля, называемую «верхушкою лета». Воздух превратился в закопченное стекло, сквозь которое светил кружок из красной фольги. Лучи не преломлялись. В ста верстах от пожарища носились перегоревшие листья, затлевший мох и хвойные иглы. Пляска пепла на версты и версты. Цвета предметов изменились. Трава была зеленовато-голубой. Красные

гвоздики стали желтыми. Все, что было перед этим ликующе-красным, покрылось желтизной. Дождевые капли, пролетая по воздуху, полному пепла, принимали кровавый оттенок. «Кровавый дождь», говорил народ. По лесным деревням проходил ужас. Женщины шили себе саваны, мужчины надевали белые рубахи, при звуках молитв и при шепотах страха исступленным глазам чудился лик Антихриста. Вой урагана. Движенье раскаленных огненных стен, плотная рать с метким огненным боем. Скрученные жаром пылающие лапы, оторванные бурей от вспыхнувших елей. Синие, красные, мглистые волны дыма. Завыванье волков, рокотанье грома, перекличка захмелевшего Огня, воспламененный диалог Неба и Земли. А после, когда пир этот кончился? Залпы и взрывы, зубчатые строи лесных великанов крутимыми жаром ветвями, мгновенно исчезающие смерчи пламени, которое взметется – и нет его, – все это явило свою многокрасочность, и новую картину создает творческая безжалостность Природы. Пламя садится, и смрад, несжигаемый им, гадит, ест глаза, стелется, ластится низом во мраке. Только еще пламенеют, долго и чадно горят исполинские груды ветроломных костров, вероломных костров, что были такими сейчас еще светлыми, а теперь оседаются, рушатся, выбрасывают вверх искряные снопы и, умирая, опрокидываются.

Русские крестьяне издавна привыкли почитать «небесный огонь», снисшедший на землю не раз в виде молнии. Но они почитают также и земной «живой огонь», «из дерева вытертый, свободный, чистый и природный». На севере, там, где часты падежи скота, этот огонь добывают всем миром, среди всеобщего упорного молчания, пока не вспыхнет пламя. Всякий огонь таинственен, он возбуждает благоговение, и при наступлении сумерек огонь зажигают с молитвой.

Черта, заставляющая вспомнить о парсах-огнепоклонниках, ясно ощущавших мировую связь земного огня с огнем многозвездных небесных светильников. «Освященный огонь» воплощается в свечах. Венчальная свеча, пасхальная, богоявленская, четверговая, даже всякая свеча, побывавшая в храме и там купленная, обладают магической силой: они уменьшают муки страдающих, убивают силу недугов, они – врачующие и спасающие.

Многосложно и благоговейно отношение народа и к другой мировой стихии, парной с Огнем, Воде. Много рассеяно по широкой Руси целебных родников и святых колодцев, порученных особому покровительству таинственной святой Пятницы. Вода целебна и очистительна. В этом славяне сходятся с индийцами, христиане сходятся с магометанами. Вода притягивает к себе тела и души своею освежающею глубиной. Первый дождь весны обладает особыми чарами, и целой толпою, с непокрытыми головами, с босыми ногами, выбегает деревенский люд под свежие потоки, когда впервые после зимнего сна и зимней мглы небо прольет светоносную влагу. Есть чары и в речной воде, только что освободившейся ото льда. Старики, и дети, и взрослые спешат соприкоснуться с ней. Вода помогает при домашних несчастьях: нужно только просить «прощения у воды». Вода является магическим зеркалом на Святках, и девушка может увидать в ней свое будущее. Через воду колдуны могут послать на недруга порчу. Стихии властны, многообразны, многосложны и многоцветны. Поговорка гласит: «воде и огню Бог волю дал».

Что наиболее возбуждает народную фантазию из всего, находящегося на земле, на Матери-Земле, это, конечно, таинственный лес, как бы символизирующий все наше земное существование сложной своей

запутанностью. Крайне любопытна эта способность народного воображения индивидуализировать растения, усматривать в них совершенно разнородные лики. Как есть священные деревья, исполненные целительной силы, есть также деревья, прозванные «буйными». Они исполнены силы разрушительной. С корня срубленное и попавшее между другими бревнами в стены избы, такое дерево беспричинно рушит все строение и обломками давит насмерть хозяев. Как не вспомнить слова одного из героев Ибсена: «Есть месть в лесах». «Стоят леса темные от земли и до неба», – поют слепые старцы по ярмаркам. Да, от земли и до неба мы видим сплошной дремучий лес, и что́ мы иное, мы, сознающие и постигающие, как не слепцы на людском базаре. «Только птицам подстать и под силу трущобы еловых и сосновых боров. А человеку, если и удастся сюда войти, то не удастся выйти».

Все странно, все страшно здесь. Рядом с молодою жизнью – деревья, «приговоренные к смерти», и уже гниющие в сердцевине, и уже сгнившие сплошь, в моховом своем саване. Здесь вечный мрак, здесь влажная погребная прохлада среди лета, здесь движения нет, здесь крики и звуки пугают сознание и чувство, здесь деревья трутся стволами одно о другое, и стонут, скрипят, стареют и становятся дуплистыми, растут, умножая лесную тьму. Здесь живет, путающий следы и сбивающий с дороги, гений чащи Леший. Но Леший все же не Дьявол, он кружит, но не губит, и в местах иных его просто именуют «Лес», прибавляя поговорку: «Лес праведен – не то что черт».

Странный дух этот Леший, в глазах его зеленый огонь, глаза его страшны, но в них свет жизни, в них угли живого костра и в них изумруд травы. Обувь у него перепутана, левая пола кафтана запахнута на правую, рукавицы наденет – и тут начудит, правую наденет на

левую руку, а левую на правую. Правое и левое перепутано у Духа Жизни, любящего сплетенные ветви и пахучие лесные цветы. И во всем он путаник: не то что другие. Домовой всегда домовой, и русалка – не больше как русалка. А он любит и большое и малое, и низкое и высокое. Лесом идет – он ростом равняется с самыми высокими деревьями. Выйдет для забавы на лесную опушку – ходит там малой былинкой, тонким стебельком, под любым ягодным листочком укрывается. Лик у него отливает синеватым цветом: ибо кровь у него синяя, и у заклятых на лицах всегда румянец, так как живая кровь не переставая играет в них и поет цветовые песни. Он и сам, как его кровь, умеет петь как бы безгласно: у него могучий голос, но немотствующий, и он умеет петь без слов. Так он проходит по чаще, не имея тени, зачарует человека, зашедшего в лес, околдует, обойдет, заведет, напустит в глаза тумана и заставит слушать хохот, и свист, и ауканье, затащит в болото и без конца, без конца заставит крутиться на одном и том же месте.

Любопытно, что у леших есть заповедный день, 4 октября, когда «лешие бесятся», в этот день они «замирают». Перед этим в экстазе неистового буйства они ломают деревья, учиняют драки, гоняют зверей и в конце концов проваливаются сквозь землю, сквозь которую суждено проваливаться всякой нечистой силе, но, когда земля весной отойдет и оттает, Дух Жизни тут как тут, чтобы снова начать свои проделки, «все в одном и том же роде». Любопытно также, что Лешему дана одна минута в сутки, когда он может сманить человека. Но как властны чары одного мгновенья, быстрой смены шестидесяти секунд и того даже менее. Человек после этого ходит одичалым, испытывая глубочайшее равнодушие ко всему людскому, не видит, не

слышит, не помнит, живет – окруженный лесною тайной.

В лесных чащах великой России разбросаны небольшие, но глубокие озера, наполненные темной зачарованной водой, окрашенной железистой закисью. Там подземные ключи, которые пробиваются, уходят и переходят. Углубления озерного дна имеют форму воронки и говорят о Мальстреме. В других озерах видны подземные церкви и подводные города. На зыбких берегах, поросших пахучими цветами с сочно-клейкими стеблями, веет что-то сокровенное, слышен звон подземных колоколов, достойные видят огни зажженных свеч, на лугах восходящего солнца – отраженные тени церковных крестов. Там и сям ясно чувствуются подземные реки, следы их ощущаешь через провалы, носящие название «глазников» или «окон». Меж земляных пустот опять выступают небольшие озера. И большие озера. И глубокие. И озера – моря. И морские пространства. Там в хрустальных палатах сидят водяные. Светит им серебро и золото. Светит им камень-самоцвет, что ярче солнца. И они никогда не умирают, а только изменяются с переменами Луны. И они пируют. Сзывают на пир и ближних и дальних родичей, собирают жителей омутов и ведут азартные игры.

А кругом леса шумят, растут, густые, поднимают весенний гул, бросают в воздух многослитность голосов, звериных, и дьявольских, и безымянных, существующих одно лишь мгновенье, но единым всплеском звуковым касающихся сразу до всех отзывных струн души, леса говорят, лес растет от земли до неба, и звучно поют о нем слепцы.

1904

Сквозь строй.
(Памяти Некрасова)

Поэт! Какое это нежное слово – поэт! С этими несколькими буквами мы привыкли сочетать целый строй гармонических ощущений. Произнося это слово, мы чувствуем что-то неопределенно-красивое, волнующее, манящее, что-то напоминающее нам о том счастливом и обаятельном, чего желаем мы все. И вправду, что может быть нежнее ритмических строк и повторительных созвучий? В них и музыка и живопись, в них и зыбкая прелесть предчувствия, и окутанные дымкой родные тени воспоминания. Детство и юность, первая любовь, первые робкие журчания ручья, пробивающегося из темной земли к свету и воздуху, переливы зеленых трав, перемешанных с цветами, над которыми тихонько пролетает майский ветер, бездонность голубого неба, красота белоснежных облаков... Как хорош мир, как много в нем чар и как сильны, как ярко-полнозвучны эти чары в стихах. Поэт умеет обо всем сказать нежно и вкрадчиво. Он опишет нам, как в весенних лучах, поднимая облака цветочной пыли, идет и гудет зеленый шум, как белые, млечные, стоят вишневые сады и тихохонько шумят, как по-новому, весеннему трепещет все в мире, – и бледнолистая липа с новым лиственным убором, и стройная красавица рощи белая береза с зеленою косой, и малая тростинка, и высокий клен. Он покажет нам прелесть безмерных полей, покрытых спелой рожью; как волшебник, подслушавший голос земли, он представит нам колосья несметною ратью, вот они растут в фантастическом сне, они подступают к захваченной сонною грезою жнице, машут, шумят, касаются лица ее и рук и, свершая мировой закон сеянья и жатвы, сами наклоняют под серп свои стебли.

И сколько еще есть в мире того, что оживет преображенной жизнью под кистью поэта. Золотые осенние листья, пушистый снег, полноводные безмолвные реки, радость дружбы, жизнь на воле, очарование женских лиц, очарование женской ласки. И Муза приходит к поэту, Муза, о которой один из нежнейших певцов сказал, что слова у нее перемешиваются с поцелуями.

Но как описывает свою Музу тот поэт, о котором мы говорим сейчас?

Вчерашний день, часу в шестом,
Я шел через Сенную.
Там били девушку кнутом,
Крестьянку молодую.

Ни звука из ее груди,
Лишь бич свистал, играя...
И Музе я сказал: «Гляди –
Сестра твоя родная...»

Какой странный образ! Быть может, он возник в уме поэта случайно? О нет, это был длительный кошмар, и перед самой смертью, в одном из последних своих стихотворений, он повторяет тот же образ:

Не русский взглянет без любви
На эту бледную, в крови,
Кнутом иссеченную Музу.

В юности Некрасов узнал, что значит не иметь на что пообедать, в юности он узнал, что значит ночевать с нищими в ночлежном доме, а в старости, перед раскрывшейся могилой, он чувствует над собой поднятый кнут. Оброшенность, нищета, духовное насилие – страшные слова, когда это не слова, а действительность. Некрасов видел нечто и еще более страшное:

духовное насилие, соединенное с физическим. Его детская и юношеская впечатлительность была раз навсегда поражена и изуродована созерцанием того ужаса, который назывался крепостным правом, и сознанием, что для людей с известным складом мыслей существует тюрьма и каторга. Мы, хотя еще не свободные, но в значительной степени освободившиеся, уже не можем теперь понять, как могла существовать хоть один год, хоть один день такая гнусность, как крепостное право. Некрасов был такой же, как мы, такой же, как лучшие из нас, а между тем его личность слагалась при долгом, длительном, до бесконечности тянущемся ощущении бесчеловечного порядка вещей, которому конца-края не предвиделось. Шли дни, месяцы, годы, уходили десятки лет, а насилие над душой и над телом миллионов продолжалось, и не цветы возникали перед поэтом, а кровь, перемешанная с грязью. И душа того, кто мог бы слагать мелодические песни, научилась кричать, эта израненная душа прошла сквозь строй, и зеркало поэта, где всегда так много хрустальной глубины, разбилось, перед нами лежат его обломки, и в этих обломках красивой зеркальности мы видим искаженные мучительные лики, они кричат, они молят, они проклинают, они горько молчат, но хранят ли они молчание или нарушают его, они неизменно обвиняют и сетуют. Убогая, трижды несчастная страна, обиженная богом, плоская, скучная, холодная, безрадостная. Болота, кочки, темные леса, равнины, над которыми песня звучит как стоны. Деревни, деревушки, беспросветная глушь. Тяжелые рабские города, где все так темно, сжато, бедно, искривленно, изуродованно. Больница, тюрьма, кабак, каторга. Странное царство, в котором каторга, куда случайно попали герои, является даже оазисом. Здесь люди, посмевшие и смеющие, а там, в неоглядных ровных пространствах, ровные

забитые рабские души. Бесконечная тянется дорога, и на ней вслед промчавшейся тройке с тоскою глядит красивая девушка, придорожный цветок, который сомнется под тяжелым, грубым колесом. Другая дорога, уходящая в зимний лес, и близ нее замерзающая женщина, для которой смерть – великое благословение, потому что в ней избавление от вдовства и крестьянских тягот. Опять бесконечная тянется дорога, та страшная, которую народ прозвал проторенной цепями, и по ней, под холодной далекой луной, в мерзлой кибитке, спешит к своему изганнику-мужу русская женщина от роскоши и неги в холод и в проклятие, от свободы к звону кандалов, от цветов, цветущих и летом и зимой, к непрекращающейся пытке тюремных коридоров и мучительных фантомов каторги.

Эти образы, созданные Некрасовым, или, вернее, взятые им из русской жизни, трагичны, но в них есть красота трагического. В них есть романтическая прелесть, причиняющая нам одновременно и боль и наслаждение.

В его творчестве есть целый ряд других образов, трагизм которых тем ужаснее, что в них нет очарования, они страшны и смешны в одно и то же время, они несчастны и пошлы, это отбросы, покрытые плесенью, жалкие поросли сточных ям.

Всероссийский Иван, у которого изуродованы грубою силой не только челюсти, но и душа, и не только душа, а и все его избитое тело, так же пошл и так же ужасен, как поддерживаемые и скрываемые атмосферой мракобесия юбиляры и триумфаторы, эти построители храмов и домов, под фундаментом которых, как в средние века, для крепости зданий заложены трупы замученных людей. Рыдающий пьяный Зацепа, который, по слову князя Ивана, –

На миллион согреша,
На миллиарды тоскует, –

и «христов мужичок» Федор Шкурин, и красноречивый Леонид, который взывает:

О, господи, удвой желудок мой,
Утрой гортань, учетвери мой разум,
Дай ножницы такие изобресть,
Чтоб целый мир остричь вплотную разом –
Вот русская незыблемая честь, –

все эти благородные фигуры живут – чудится, что они вот тут, между нами, и слова того же Леонида звучат горьким многолетним остроумием, когда он восклицает:

Что за нелепость – крестьянин несеченый?
Нечем тут хвастать, а лучше молчать:
Темные пятна души изувеченной
Русскому глупо скрывать.

Неисчислимы орудья клеймящие.
Если кого не коснулись они,
Это – не Руси сыны настоящие,
Это – уроды. Куда ни взгляни,
Все под гребенку подстрижено,
Сбито с прямого пути,
Неотразимо обижено...

Неотразимая обида, ощущение клеймящих орудий – вот ключ к поэзии Некрасова. Он за многих взял на себя великую тяжесть, он прошел сквозь строй и нарушил прозрачный мир поэтических настроений, чтобы сделаться криком, предупреждающим и грозящим. Жизнь его ранила, он умышленно углубил свою рану. Она причинила ему незабываемый шрам, он с

умыслом поддерживал в этом шраме болезненную живучесть, чтобы помнить о тех, которые были и будут ранены вновь и вновь. Это – великое самоотвержение, потому что у каждого поэта есть неизбежное и вечное тяготение к области чисто личного, стремленье к красоте спокойной созерцательности. Такое стремление было и у Некрасова. Мы можем это видеть хотя бы из того, что в год своей смерти он написал знаменитое стихотворение «Баюшки-баю», где лучшие строки до поразительности близки нашей современной утонченной впечатлительности.

...Но перед ночью непробудной
Я не один... Чу! голос чудный!
То голос матери родной:
«Пора с полуденного зноя,
Пора, пора под сень покоя;
Усни, усни, касатик мой!
Прийми трудов венец желанный!
Уж ты не раб – ты царь венчанный,
Ничто не властно над тобой!
Не страшен гроб, я с ним знакома;
Не бойся молнии и грома,
Не бойся цепи и бича,
Не бойся яда и меча,
Ни беззаконья, ни закона,
Ни урагана, ни грозы,
Ни человеческого стона,
Ни человеческой слезы.

Некрасов занимает равноправное место в ряду семи великих русских поэтов XIX века.

Пушкин – наше солнце, он гармоническое все, кудесник русской речи и русских настроений, полнозвучный оркестр, в котором есть все инструменты.

Лермонтов – звездная душа, родственная с тучами и бурями, тоскующий поэт, которому грезились

воздушные океаны и с которым говорили демоны и ангелы.

Тютчев – мудрец, проникший в слитные голоса стихий и впервые постигший ночной облик великого мирового хаоса.

Фет – нежнейший певец неуловимых ощущений, воздушных, как края вечерних облаков, и странно-прозрачных, как тихие жуткие воды глубокого затона.

Кольцов – воссоздатель народной песни, выразивший прелесть степных пространств.

Баратынский – поэт душевного раздвоения, художник философских мгновений.

Некрасов – первый посмевший создать музыку диссонансов и живопись уродства, он – многослитный возглас боли и негодования, мы с детства узнаем через него, что есть тюрьмы и больницы, чердаки и подвалы, он до сих пор говорит нам, что вот в эту самую минуту, когда мы здесь дышим, есть люди, которые – задыхаются.

Слово о музыке

Благословенье напеву колыбельной песни, которая убаюкивает малого ребенка, едва возникшего для радостей и тягот жизни.

Благословенье заунывному напеву панихид, провожающему дорогих наших, нами любимых, в далекий путь, в неизвестное, называющееся смерть.

Благословенье звонкому соловью, который весенней ночью наполняет своею музыкой наши родные леса, и поет, и звенит, и учит переливной песней любить нежно и красиво, кличет сердце к другому сердцу, велит откликнуться любовью на любовь.

Благословение троекратное, самое высокое благословенье, вешнему жаворонку, взлетающему к Солнцу все выше и выше, рассыпающему в небе самые звонкие песни, над полем, по которому проходит благой сеятель и бросает в рыхлую землю зерна, и падают они, точно солнечные брызги, чтоб стать золотой нивой и всех накормить нас, – и легче в тяжелом труде пахарю и сеятелю, когда вместе с солнечными брызгами зерен, падающих в землю, веселящие падают с неба солнечные брызги песен жаворонка.

Без колыбельной песни, без похоронных напевов, без песен любви и свадьбы, без пенья весенних птиц, без свирели, без флейты, без скрипки, без музыки были бы скудными и обделенными наше рождение, наша смерть, наша любовь, наша жизнь, все наше человеческое сердце.

И не будь воинской трубы, не будь воинской песни и зовущего в бой барабана, было бы скучно идти нам на врага, было бы много труднее принять на себя страду и крестную жертву сражения, когда нас зовет Война.

Человеческая душа хочет музыки и песни, как цветок хочет Солнца и весеннего дождя, потому что от этого в нашем сердце пляшет красная кровь, которая

любит радость, волю и веселье, светлую встречу человека с человеком.

Когда в мире создавались Солнце, Луна, Звезды и Земля, те могучие духи, которые создавали их, пели песню, любя свое творение, и звуки этой песни, не забытые, остались в душах людей и в памяти птиц. И потому, когда весной, после мертвой зимы, создается новая жизнь в лесах и полях, птицы поют. И потому, когда мы сверглем с себя цепи, или когда мы идем на врага, чтобы защитить свою родину, или когда мы молимся в храме, думая о другой жизни, о свете в этой жизни, мы поем, мы создаем напевы, мы слушаем и слышим музыку.

Вся жизнь мира окружена музыкой. Когда земля при своем создании была уже готова к жизни в первое свое утро, жизни все-таки еще не было. Тогда вдруг ветер промчался над морем и над лесом. И в волнах возник плеск, а в лесных вершинах гул. Через это в мире возникла музыка и мир стал живой.

Я спросил старого человека, прожившего свою жизнь, что ему нравится в музыке. Он сказал: «Музыка будит во мне воспоминания». Голос музыки тому, у кого нет больше молодости, волшебством своим возвращает юность, и снова он любит ту, которую любил давно. Музыка возвращает усталому сердцу жизнь.

Я спросил маленькую девочку, что ей нравится в музыке. Она сказала: «Музыка – живая. Я люблю все, что живое. Бабочек, цветы и птиц. Ветер тоже живой. Но музыка – самая живая».

Я спросил юношу о музыке. Он сказал мне: «Музыка сразу идет к душе и ей завладевает, заставляет ее петь. Песня есть кровь, которая ищет дороги от сердца к Солнцу. Песня – цветок, которому радостно возрасти на родной земле и узнать душистую жизнь».

Я спросил юную девушку, и она мне сказала о музыке: «Музыка мне необходима. Она открывает нам дверь в будущее или прошедшее. Но Вечность это кольцо, и будущее в нем совпадает с прошлым. Мы все слышали когда-то эти звуки, которые теперь нас успокаивают, радуют или волнуют. При звуках музыки человек начинает вспоминать ту музыку, которая была прежде в нас и вне нас. Он не может жить без музыки, потому что она связь с той жизнью, с тем Миром. Но когда мы уже почти вспомнили, музыка обрывается. Несмотря на то, что она не может переступить заветный порог, мы всегда слушаем музыку с надеждой вспомнить более ясно, где мы слышали эти звуки».

Музыка самая живая из живого, и она приводит нас к мысли о том божеском начале, которое есть в каждом человеческом сердце, и к мысли о той красивой правде жизни, которую мы властны создать, когда мы свободны, когда мы любим друг друга в единении и понимаем, что все мы равны перед высоким Солнцем, как все цветы и все травинки равно имеют свою долю от солнечного света и свежих капель весеннего дождя.

Музыка и песня всегда живет в душе нашей. Но в нас есть срыв.

О том, как возникает в человеческом сердце чудо музыки и как срывается наше сердце, не дослушав до конца свою собственную песню, говорит южнорусское предание – сказ о Наймите-батраке.

ЧЕРНОБЫЛЬ

Шел наймит в степи широкой,
Видит чудо: стая змей
Собралась, свилась, как лента, как дракон зеленоокий,
В круг сложилась океанских переливчатых огней,
В средоточье на свирели колдовал им чародей.
И наймит, поверя чуду, что свершилося воочью,
Подошел к свирели звонкой, змеевому средоточью

К чаровавшему, в безбрежном, степь и воздух коллуну.
Змеи искрились, свивались,
Звуки флейты раздавались,
Цепи дня позабывались,
Сон слагался, утончая длинно-светлую струну.
И наймит, хотя был темным
И несведущим в вещах,
Увидал себя в огромном
Море, Море всеедином, слившем день и ночь в волнах.
И наймиту чудно стало.
Умножались чудеса.
Степь сияньем изумрудным говорила, гул рождала.
И от травки к каждой травке возникали голоса.
И одна из трав шептала, как быть вольным от болести,
И другая говорила, как всегда быть молодым,
Как любить и быть любимым, как избегнуть лютой
мести,
И еще, еще и много, возникали тайновести,
И всходил как будто к небу изумрудно-светлый дым.
Было радостно-легко.
Океанское раздолье было счастьем повито,
И певучий звук свирели разносился далеко,
Так бы вечно продолжалось, счастье видится воочью
Подходящих в звуках песни к змеевому средоточью,
Да на трех наймит склонился, вырвал стебель
чернобыль,
Приложил к губам тот стебель, и внезапно все
сокрылось,
И наймит лишь степь увидел
лишь в степи пред ним крутилась
И кружася уносилась та же, та же, та же пыль.

Чернобыль, чернобыльник, полынь, горькая трава, которая так зловеще шуршит осенью и зимой своими сухими жесткими листьями, – это колдовская трава раздора, это рознь в сердцах, где могла быть музыка радости, песнь согласия. Чернобыль – это все, что есть в нашем сердце мелкого, ничтожно-маленького, темного,

злого. Чернобыль – это враг Пасхального утра, в котором все братски равны, враг вселенского утра свободы.

И сильна эта горькая трава, грозящая обратить чудо воли в пыль. Но Пасхальное утро воскресенья сильнее.

Это утро Свободы, полное внутренней стройной музыки, это алая заря, несущая всем людям страны нашей освобождение, всем народам Земного Шара благовестие. Пасхальное утро вселенской правды создал бывший в рабстве неживым, не три дня, а три века бывший во гробе и ныне воскресший, русский народ.

Да укрепим же мы все чудо его восстанья из мертвых. Каждый из нас лишь малая капля. Но тысячи капель и светлые их миллионы, слившись в один могучий поток, сорвут всякую плотину, взломают преграду тысячеверстной полосы мертвого льда. Каждый из нас лишь малый звук. Но все вместе мы можем пропеть такую песню, которая даст счастье всем людям и дойдет до самого Солнца.

1917, 9 апреля, Москва

Солнечная сила

Солнце, Луна и Звезды, непостоянные цветы синих лугов Неба, все же, в изменчивости своей расцветающие постоянно все новыми и новыми содвигающимися узорами, суть небесные факелы-водители, лампады-указательницы, действующие на глядящее в веках человеческое сознание тем сильнее, что не видна рука, их ведущая, или нет никакой руки, их ведущей; и движущиеся эти небесные цветы, непохожие на неподвижные цветы земные, и однако с ними сродные, заставляя человеческую мысль расцветать, и гореть, и гадать, и угадывать, делают ее многосветной и творческой.

Солнце, Луна и Звезды. Молния, пламя вулкана и лесной или степной пожар, а из него – путями изумительных мгновенных пониманий – вся изумительная бесконечность человеческих огней. Дозорные костры, головни тайных ям, факелы пещер, отнятых у зверя, жаркое пламя кузниц, огонь поджигателя, непогасающее горенье святилищ, световые хохоты в хрустальных люстрах, длинная тонкая свеча перед иконой рядом с бледным застывшим лицом, которое побелело от неустанной молитвы о тех, что безумствуют и умирают, где-то там, далеко, среди чудовищ, выбрасывающих своими жерлами ураганные вихри Смерти.

Смерть косит и жнет. Смерть топчет и стирает. Но Жизнь всегда сильнее Смерти, потому что всякое разрушение ведет лишь к новому творчеству, потому что шесть месяцев зимы, сто лютых морозов, и тысячи миллионов снежинок, и несосчитанные версты снега и льда – бессильны умертвить одно малое зернышко, которое обернется зеленым стебельком и расцветет фейной звездочкой незабудки, и маленьким солнышком лютика, и прохладною малой луною купавы, когда непостоянное Солнце, и переменчивая Луна, и дрожащие

звезды вспомнят о постоянстве и, неизменно, снова захотят играть в Весну.

Как не властны над малым зерном все ужасы зимы, так человеческое Я сильнее всей безграничной Вселенной, ибо из всех ее дружеских и вражеских сочетаний оно извлекает свою мысль и мечту. Из хаоса строит гармонию. Глыбы камня превращает в Египетские, и Вавилонские, и Мексиканские, и Эллинские храмы. Из грязи делает свои человеческие ласточкины гнезда. Войну превращает в поэму. Из тоски создает музыку. Боль показывает как картину. Безгласное нутро животного обращает в рыдающие струны скрипки. Добывает в горах и по руслам рек солнечные зерна и слитки, называющиеся золотом. И в то время, как я вижу на нежной шее любимой женщины лунно-матовые жемчуга, движение и отсветы этих жемчужин говорят мне, что бесстрашный человек плавал в глубинах моря, не боясь никаких акул и не страшась того, что, когда он вынырнет к вышнему воздуху, его сердце, волею перемен давления, может порваться в свете вновь увиденного Солнца.

Кто хочет победить и умеет хотеть, тот не победить не может. Каждое явление через полноту своего выявления неизбежно ведет к новому, а новое по змеевидной линии, неукоснительными путями спирали, увлекает все живущее от пылинки до Солнца, в Звездную бесконечность.

Во мне два человека, действенный и созерцающий. Во мне два начала, боль и наслаждение. Во мне две первоосновы, лад и нелад, гармония и хаос. Я говорю: да будет благословенно счастие, мое и вселенское, мы можем его строить, и мы его созидаем, когда мы цельны и доходим до полноты, до предельного. Я говорю: да будет благословенно каждое несчастие, если я настолько горд и высок, если я настолько смиренен и глубок,

чтобы превратить беду в победу, печаль в красоту, боль в безграничность мудрого молчания и в яростный бег к мете, которую должно пронизать мое острие. И да придет ко мне тоска, если я умею создавать из тоски.

Несчастие стоит, а жизнь всегда идет,
Несчастие стоит, но человек уходит.
И мрак пускай снует и каждый вечер бродит,
С минувшим горестным мы можем кончить счет.
Смотри, пчела звенит, пчела готовит мед
И стая ласточек свой праздник хороводит,
В любом движенье числ наш ум итоги сводит,
Что было в череде, да знает свой черед.
Не возвращаться ж нам во целом алфавите
Лишь к букве, лишь к одной, лишь к слову одному,
Я верую в Судьбу, что свет дала и тьму.
О, в черном бархате, но также в звездной свите,
Проходит в высоте медлительная Ночь.
Дай сердцу отдохнуть. И ход вещей упрочь.

Ход вещей этого мира предопределен Солнцем, и еще в младенческие свои дни я доверчиво предал свой дух этому Высокому Светильнику, увидав, как серые обои на стене превращаются в полосе солнечного луча, и серое делается золотом, а тайное становится лучезарно-явственным.

В какую страну ни придешь – в слове мудрых, в народной песне, в загадке легенды, – услышишь хвалы Солнцу. Сколько сияний в солнце, столько в речи людской осиянных слов, и каждый кристалл поющего слова иссечен силою луча. Творческая гроза, приводящая к радуге, так же связана с Солнцем, как фимиамы росинок, восходящие до туч и рождающие в горных теснинах переклички громов.

«Солнечный Бог – Ураган, и Солнце есть Сердце Небес», – сказали древние майя.

Солнце принимает все лики видимого. Оно принимает в несчетных рядах ликов и близкий нам лик Земли, которая травинкой, цветком, колосом и виноградной лозой меряет Время, делит его на строфы, зовущиеся временами года. И первая полоса в весеннем поле, проведенная острием сохи, есть стих, размерная строка в литургии Солнцу.

Солнце – мужское начало Вселенной, Луна – женское. Звезды – несчетные цветы небесных прерий, световая зыбь ковыля бесконечных вселенских степей. Каждый человеческий Он есть сын Солнца, хоть часто этого не знает. Каждая человеческая Она, каждая девушка и женщина, есть дочь Луны, хотя бы стала отрицаться. А дети и старцы – это звездные цветы, это звездные переклички, световая игра и белое мерцание, средь угольных провалов обетованная дорога, белое предчувствие Млечного пути.

Солнце сильнее всех и всего. Оно велит бросать копье. Оно пронзает глубину земли. В его отсветах блещет лезвие топора, прорубая просеки. Оно растапливает воздух, чтоб в нем любились. Оно вцеловывает хруст и сдвиг в многоверстные полосы льда, мертвящего реку, и каждая мчащаяся капля водополья исполнена того же красивого творчества и той же оргийной пляски, с которой носятся над русским прудом ласточки, побывавшие в Египте, и дружатся хороводы девушек, вакханок всех стран, и гулко мелькают, вверх и вниз, творя и сотворяя, миллионы молотов несчетных кузниц.

Солнце – гений превращения, как Луна – гений преображения, как Звездный сонм есть вселенский клич световых голосов, Океанический гул Запредельности.

И самое, быть может, красивое в Солнце то, что оно умеет ярко говорить через других, что оно ласкает,

когда этого не подозреваешь, поет нам канарейкой в зимней комнате, и мы говорим «канарейка», а это, трепеща своими крылышками, веселится золотой комочек Солнца, и поет оно колосом пшеницы и желтой лентой убегающей девушки, и дышит дурманящим духом нарцисса, и весело играет во все пьянящие игры Вещества. Я соучаствую в этих творческих играх, и смотрю на все, и слушаю, как Солнце говорит утром, пробуждением, бабочкой, птичкой, зверем, травинкой, девушкой, бурей, музыкой, толпой, – все вижу, все слышу, все люблю, ко всему приникаю, я, творимый творец творящего творения, я, верховная вещь Вещества, овеществитель всех невесомостей, преображенных волею моей мечты, я, Золотое мелькание красной белки, пробегающей как солнечное пятно вверх и вниз по узлистому стволу Древа Ясень, Игдразиля, коренящегося в безднах, возносящего чащи свои ветвистые в мире, уходящего вершиной своей в непостижность, по дороге веков и облаков.

Солнце – огонь. Луна – свет, Звезды – сияние. Солнце – горячий костер, Луна – застывшее пламя, Звезды – неумолчное Пасхальное благовестие. Как ни странно может показаться с первого взгляда, между светом Солнца и светом Звезд нет для меня противопоставления, ни даже различия по существу, разнствование качественное, противопоставление двух начал, несродных и несоизмеримых, но создающих в двойственности одну поэму. Это – Огонь и Влага, Мужеское и Женское. В их вражеском и несоразмерном соприкосновении, во встрече нетворческой и неблагословенной, возникает пожар или поток. Встреча же дружеская Мужского и Женского, соприкосновение священное Огня и Влаги, создает через Поэму Любви, Поэму Жертвы благословенное вознесение жертвы Верховным Силам, не устающим нами петь, через нас

достигать, нашими зрачками гореть, все живое и мертвое или кажущееся мертвым слагать в высокую Мировую Драму.

Солнце так же неизбежно в дне, как Звезды – в ночи. А Луна приходит и уходит. Луна бывает и не бывает. Луна принимает различнейшие лики, она таинственное избрала своим основным качеством, недоговаривание перед полным признанием, ускользание за полнотою счастья, соседство Смерти, союзничество Ночи, капли росы на цветах, змеиные шорохи в травах и те лики страсти, которые боятся дневного света.

Когда я смотрю на многозвездное небо, я вижу там неисчислимые горения отдельных солнц, но я не вижу там маленьких лун, как на лугу в толпе играющих детей я не различаю мужского и женского, я не вижу мальчиков и девочек, а лишь детей, – и в этом нет противоречия, у звезд есть сходство и с Солнцем и с Луной, но все же маленькие солнца они, а не маленькие луны, ибо в детях, как в детях, нет змеиных элементов сладострастия, а лишь световые зерна и смешинки страсти.

Древние мексиканцы, называвшие Вечернюю Звезду – Отошедшее Солнце, смотрели на звезды как на ночную ипостась Солнца. Все Звезды они делили на три разряда: Цитлаллин, Неподвижные звезды, кружочки наполовину красные, наполовину белые; Цитлальмина, Кометы, кружочки со стрелой; Тцонтэмокуэ, или Тцинтциминэ, Планеты, лики богов в повороте, с крылом на головном уборе. Красная страсть, кончающаяся белым созерцанием, или белая Смерть, переходящая в красную Жизнь; стрелы, меткие солнечным зрением и острием рождающие красные цветы; устремленные профили богов, крылатые «Лечу» и «Хочу» – это все дневные лики, чуть соприкасающиеся с Ночью. И не странно ли, что как Звезды неба не любят страстной Луны и скрываются в Полнолуние, так земные

звездочки, ночные светляки, угашают свои фонарики в Лунном свете.

Луна, Лобзание, Снег, Молитва – четыре угла Чертога Серебряного, в котором любят и умирают.

Солнце, Кровь, Гроза и Жертва – четыре угла Золотого Чертога, в котором любят и живут.

Москва, 1917. Сентябрь

Старая рукопись

27 июля 1907

Villa Ave Maria
Soulac-sur-Mer

Я родился и вырос в деревне, люблю деревню и Море, видя в деревне милый Рай, город же ненавижу, как рабское сцепление людей, как многоглазое чудовище. Однако, в великих городах есть великая свобода и отравы пьянящие, которые уже вошли в душу и которые, ненавидя, люблю. Моя родина – деревня Гумнищи, Шуйского уезда, Владимирской губернии. Я родился под утро, в одну из прозрачных летних ночей, в ночь с 3-го на 4-е июня 1867-го года. Совершенно четко себя помню с 4-х, 5-и лет. Когда мне было пять лет, возник в сознании некий миг незабываемый, когда я почувствовал себя как себя – и с тех пор, внутри, ничто уж не меняется. Сменяются зимы и весны, но не то, что создает и меняет истинного Человека.

Мои родители – добрые мягкие люди, они не посягали никогда на мою душу, и я вырос в саду, среди цветов, деревьев и бабочек. Уж не изменю этому миру. В наших местах есть леса и болота, есть красивые реки и озера, растут по бочагам камыши и болотные лилии, сладостная дышит медуница, ночные фиалки колдуют, дрема, васильки, незабудки, лютики, смешная заячья капустка, трогательный подорожник – и сколько – и сколько еще! В нашем саду была белая и лиловая сирень, черемуха, снежные яблони, жеманно-красивый жасмин. Когда мне было лет пять, в липовой беседке, под музыку вешнего жужжанья, моя мать читала раз мне и моим братьям стихи Никитина. Я помню, когда она произнесла:

Ясно утро. Тихо веет
Теплый ветерок.
Луг как бархат зеленеет,
В зареве восток, –

мной овладело невыразимое волнение чисто-телесной сладости. Первые поэты, которых я читал, были народные песни, Никитин, Кольцов, Некрасов и Пушкин. Из всех стихов в мире я больше всего люблю «Горные вершины» Лермонтова (не Гете, Лермонтова).

Я начал писать стихи 10-и лет. Перерыв – до 17-и лет. Затем опять перерыв года на три. Теперь уже на всю жизнь – в неразлучности со стихом. Я много читал книг, учился же плохо и ненавижу учебные заведения, как мерзостный Ад. Самостоятельно изучил с десяток иностранных языков и кое-где мыслью побродил. Любил. Люблю любовь. Любя – люблю. Имею спокойную убежденность, что до меня, в целом, не умели в России писать звучных стихов. Чувствую в душе нескончаемую юность. Говорят, будто лучшая моя книга «Будем как Солнце». Это вздор. По существу своему, я в беспрерывном движении, которое не видно лишь слепым рассудочникам. У меня нет лучших и худших книг, а все книги одинаково плохи или одинаково хороши. Нужно быть безумцем, чтобы сказать, что одуванчик лучше или хуже орхидеи.

Несколько лет тому назад – впрочем лет уж десять прошло с тех пор – в Москве, под пение бродячей девушки и под несравненную музыку шарманки, птичка предсказала мне судьбу и определила мой характер. Ссылаясь на птичку, она говорит: «Вы самолюбивы, самонадеянны, влюблены в себя, умны, но не злопамятны, не пользуетесь вашим умом и воспитанием, а выдумываете проекты и воздушные замки. В игре вы счастливы, а именно в пятницу. Проживете до 93 лет».

Я играл (разумею карты, не игры иные) всего лишь пять-шесть раз – чтобы проиграть. Я варварски счастлив в пятницу. Следственно, птичка не солгала. Да и когда же птицы лгут! Итак, в 1960-м году будет издано собрание моих сочинений в 93-х томах или свыше. Пока же – я иду к Океанским изумрудам.

Страница воспоминаний

Воспоминание, ты длинная аллея...
Из «Раздвинутой дали»

Завтра будет лучше, чем сегодня. Это я знаю так же твердо, как то, что я был. И только завтра я люблю душой своей всегда. Сегодня прекрасно. Я проснулся рано. Я не сова и не летучая мышь. Я просыпаюсь, когда Солнце озолотит верхушки моих лип и всю опушку ближней рамени, где еще более зыбкие березки, чем у нас на дворе, и где есть тонкие осины, никак не принимаемые ни Отцом моим, ни Матерью, ни на дворе, где целый остров берез, ни в саду, где уж мама устроила все по-своему и где в ее окно, для меня лишь иногда доступное, когда я особенно чем-то умный и ласковый, смотрит молоденькая, но уже высокая ель, а из-за нее, еще не заслоняющей простора, видно и заветную клумбу из маргариток, правильным кругом обрамляющую пышный куст жасмина. Да, хорошее она сделала из того, что уже до нас сделали многие, – еще прекраснее и лучше. Липы, сказал я, но кто сумел бы рассказать, что липа нежная и развесистая, и цветет в самых первых днях самого жаркого месяца года, и от нее воздух кругом пахнет медом сладчайшим, и около нее столько пчел, как даже около сирени не бывает. Жужжат, жужжат, светятся их крылышки, пронизанные солнечным лучом, и залетают высоко, где детский глаз их не достанет, и снизятся, и приблизятся к малому точно восковому цветочку, полному сладости, и соберут что им надо – довольно пора – прочь – полетели. А мысль не обогнала их? Пожалуй, что и да.

Мысль любит быть с ласточкой. Она щебечет слишком мило и знакомо. И у нее такое белое брюшко и такие острые крылья, что не смотреть на нее нельзя. Вот-вот пролетит так близко, и посмотрит прямо в

лицо, и так щебечет убедительно, что как же не понять, что она именно с тобою говорит, только с тобой, только с одним, никогда и ни с кем больше, – видишь, улетает, а сама щебечет: «Да, мол, да, с тобою, с тобой, лишь с тобой». Мошку захватит, но это только так. Попалась по дороге, ну и так. А она уж и вернулась, закружилась, порхнула, вспорхнула, перепорхнула, и прямо в гнездо. Там ее ждут.

Но стрижи гораздо выше летают. И они таинственнее. Свист их от утра до вечера, а близко – живого стрижа не видал никто. Он только в небе. Прямо-прямо летит, потом опишет круг, и снова прямо, так высоко, так далеко, что с кем и узнаешь даль, как не с ним.

Липы осеняют все мое. Они в старом саду и в новом саду. Это мы, дети, для различения придумали два названия, старый и новый сад, а оба они очень старые. Но в новом саду липы господствуют. Они образуют крестообразную аллею. Целых четыре аллеи. Одна уходит к гумну, другая выходит на луг, а за ним поле, и третья выходит к длинному ряду берез, а за ними канава и поле, и четвертая идет в новый сад из старого сада. Там предельная черта беседка из столетних-трехсотлетних лип. Две из них самые старые и самые особенные. Они две и они одно. Из одного исполинского пня восходят два могучие ствола с развесистыми ветвями, и такие высокие, что видно их версты за четыре, когда едешь и приближаешься к милому двухэтажному деревянному дому, который светит серым светом издалека, в окружении лип и берез.

В этой беседке, на доске, врезанной между двумя могучими стволами, расходящимися кверху, на доске – на лавочке, прижимаясь к теплой и такой любимой и такой всегда милой и ласковой маме, я от нее услышал, в певучем чтении, первые стихи, и сжалось мое сердце,

потому что стихи и стих показались мне лучше лип, и ласточек, и стрижей, и пчел, и Солнца, и даже лучше мамы. Стихи увели меня куда-то в такой верный, ласковый мир, где нет ничего неверного, а все как хочется. Все говорит верными словами, настоящим звуком и рассказывает, чего еще не знал. Четыре мне было тогда года, а прошло уже полстолетия и ровно восемь лет еще, но я, уведенный, – в том крае, куда я попал, и больше мне, правда, ничего не нужно. Хотел бы я, впрочем, еще уметь играть на рояли, как мама играла мне всегда, и играть на скрипке, как играл гость, и играть на виолончели, которую я люблю, пожалуй, более, чем скрипку, и играть на флейте, из которой звуки вырываются рыданием и убедительностью, и на нашей флейте играть, на свирели деревенской, на жалейке, которая вернее нарушает ночь и возвещает утро, чем даже крик петухов.

Крик петухов. Кто это так начал говорить? Петухи поют, а не кричат. На вечерней заре они поют, и в полночь гораздо выразительнее, а под утро так весело, что спать не хочется. Поскорее бы няня принесла душистый кофе с белым хлебом, поскорей его выпить – и в сад. Аллея тополей пахнет ладаном. Смола сочится по стволам. Птички щебечут весну, и весна их слушается, тут она, во всем. Белые маргаритки и розовые непременно хотят быть в хороводе. Есть и такие, что отделились, разбросались, но в близости от общего их хоровода и травки от них красивее, а они красивее от травок, не успевших выпить всю росу.

Сирень гудит, шмелей не счесть, и пчела не ссорится с юркой осой, и много-много пестрых мух, которые жужжат и пляшут на одном месте долго, перед тем как сорваться с этого места и вкось умчаться в другое, где снова под навесом солнечных лучей они будут жужжать

и, сверкая крыльями, плясать в воздухе на одном и том же месте.

Но отчего приходит грусть? Слово не то. Грусти еще нет, а печаль вовсе неизвестна. Однако близкое к пришедшей много позже грусти, родное ей чувство овладевает ребенком каждый день, когда еще не исполнился полдень и петухи не пропели звонкие двенадцать часов дня. Я смотрю на небо и что-то чувствую, что позднее я стал называть концом. Излом, перелом, переломление дня, окончание праздника. Не успею дойти до конца дорожки, где взгляну на мой – только мой – подорожник, едва подойду к нему, как Солнце встанет на предельной своей, на высочайшей черте и начнет опускаться. И нет больше той все возрастающей правды и красоты, которая от секунды к секунде еще светлее, вернее и ярче, а без этой правды и красоты нет ничего, что утоляет до конца.

Будут длиннее тени и все звуки утомленнее. Будет теснее в душе. Ночь придет.

Ночь пришла. И такая, что все собираю я силы души, чтоб помнить, знать, ощущать, не забыть, что утро придет. Утро придет, и завтра будет лучше, чем сегодня. Если кто-нибудь слышит мой голос, прошу, пусть он поможет мне дождаться утра. Не каким-нибудь словом или действием ко мне. Ни слова, ни действия благого я не отклоняю, а приветствую его и желаю. Но помощь в таком великом и трудном – другая, она в простом и в ином.

Верим мы или не верим, хотим ли не хотим, утро настает, завтра придет. Его приход не зависит от нас, он необходим и неизбежен в силу внутреннего своего закона и неустранимой вселенской Правды. Но придет ли утро скорее или замедленнее, зависит только от нас. Помощь, о которой я сказал, заключается в ласковом, радостном и сразу возможном. Пусть тот, кто слышит

меня, будет ближе к своим близким и будет близок к далеким, побеждая пространство и время, силой своей любви, мечты и мысли, да превратит он в душе своей самую отдаленную даль в близь. Это такой рычаг, который сдвигает все глыбы препятствий и, как певучая жалейка русских просторов, кличет утро и начинает день – мы поторопим Солнце, и наше завтра будет лучше, чем сегодня.

Париж. 1925, 1 декабря

Тени

1. Прощальный взгляд

Когда юность уходит от нас, она редко оглядывается, и если оглядывается, мы видим, что все лицо у нее заплакано.

Кто скажет, почему? Вы думаете, быть может, что ей жалко покидать нас, жалко видеть, что у вчерашнего юноши, еще недавно смеявшегося так беззаботно, засеребрилась седина?

Быть может... Но я думаю другое... Мне кажется, что ей жалко не нас, а себя: она могла бы уйти от нас богатой, а уходит всегда нищей... И как горько тому, кто встретит ее прощальный взгляд, – какая в этом взоре мука, какой безмолвный упрек!

Никто не избегнет ее прощального взгляда. Для каждого наступает своя очередь. И сегодня была очередь за мной. О, я никогда не забуду этого дня!

На вечернем небе догорала сентябрьская заря. Ярко-красные полосы бледнели, поднимаясь вверх от линии горизонта; они незаметно сменялись сперва розовой краской, потом палевой, потом бесследно тонули в поблекшей лазури. Было что-то загадочное в этой смене полутонов, глаз напрасно старался уловить порубежную линию между отдельными полосами, напрасно старался понять, каким образом яркий пурпур может кончаться бледной лазурью. Чуть слышно шелестел спокойный ветер поредевшей листвой тополей, кленов и лип. Старый сад как будто тихо умирал, и было сладостно и грустно внимать его предсмертному шепоту. Порою то с одной ветки, то с другой срывался одинокий золотой лист и, падая, кружился, как мотылек, утомленный полетом. Все аллеи были усыпаны мертвыми листьями, и каждый шаг сопровождался

шорохом, каждый шаг напоминал о гибели того, что жило раньше.

Вот пруд, весь заросший мелкими водорослями, знакомый пруд, – как еще недавно я по целым часам лежал здесь на берегу и смотрел на отражение облаков в воде, – теперь вода и небо разделены непроницаемой преградой: всю поверхность пруда покрывают мелкие водоросли.

Вот знакомая беседка. Давно увяли сирени, давно потеряли свой запах жасмины; в окно голой веткой, точно иссохшей рукой, стучит облетевший куст.

Везде – предчувствие смерти, и в ярком пурпуре заката, и в болезненном пурпуре последних настурций.

Зачем я приехал сюда, в родную деревню, где протекло мое детство? Захотелось вспомнить прошлое, захотелось подышать свежим ароматом умирающего сада... Меня не удержали тысячи верст, и я приехал сюда с далекого Севера, где провел все лето...

Я закрыл глаза, и передо мною, как в калейдоскопе, промелькнули недавние картины.

Голубые озера мечтательной Швеции... зеленые пастбища Дании... Фьорды и серые скалы суровой Норвегии...

Красота одиночества, ни с кем не разделенных чувств и дум, немых сердечных порывов, бесславных и могучих...

Глухо стонет северное море... Белый парус зыблется где-то далеко... Беспричинная скорбь захватывает душу... Вон и чайка – плачет, бедная...

Чайка, серая чайка и т.д.

Дальше, дальше отсюда! Родного воздуха, родной шири полей, родной грусти!

И вот я снова здесь. И, закрыв глаза, я смотрю, как предо мной проходят другие образы...

Светлое детство... Веселый сенокос... Над зеленым выкошенным лугом разносится звонкая русская песня...

Солнце потухло... Песня умолкла... Уехали скрипучие телеги с возами душистого сена...

Святочная елка блещет яркими огнями... Слышен смех, слышны певучие звуки рояля... Искрятся детские взоры...

Где же все это? – Догорели свечи... Погасли детские взоры, а если и светятся, так не тем уж огнем...

И ее вспоминаю я, подругу моих майских дней... Темные брови, темные глаза, пышные светлые волосы, стройный девический стан...

Сам погасил я прекрасный светильник, сам разрушил свои воздушные замки...

И неужели все? Все...

Как плоско, мелко! Так же как у всех... Моя участь и участь других стертые монеты; не отличите одну от другой... Хотя бы что-нибудь страшное было, что-нибудь, перед чем содрогнулся бы с ужасом... Ничего... Вечные серые будни...

Я вошел в старый дом, где выросло много поколений, погибло много надежд. По углам висит паутина. Окна забиты. От свечи падают на потолок длинные дрожащие тени. Одинокие шаги гулко раздаются в пустых комнатах... Где-то с быстрым шорохом пробежала мышь... Где-то скрипнула дверь...

В гостиной все по-прежнему. Полусломанная лютня напоминает дедовские времена. Китайские вазы покрыты пылью. Со стен смотрят потускневшие портреты – какие-то странные чужие лица, точно хмурятся они, точно чем-то недовольны...

А! Как попала сюда эта новая картина? Или она висела здесь постоянно и я раньше никогда не видал ее, потому что мой взор был привлекаем другим?

Между старыми портретами одиноко висела небольшая рамка... Молодая женщина уходит из комнаты и, полуоборачиваясь около двери, смотрит назад с безмолвным упреком. За столом кто-то сидит, опершись; на лице его выражено упрямство и сознание какой-то ответственности; он знает, что не прав, но как будто говорит: «я так хочу, я так хочу». А она? Кто она? Жена или любовница? Не все ли равно – он любил ее и более не любит. Они прожили вместе несколько горьких лет, и она уходит от него навсегда...

И я пошел... Это юность уходит, оскорбленная, нищая...

2. Разлука

Вдыхая морской освежительный воздух, качаясь на сине– зеленых волнах в виду берегов Скандинавии, я думал, мой друг, о тебе, – о тебе, чей образ со мной неразлучен, точно так же как час, возвещающий дню приближение ночи, неразлучен с красавицей неба, вечерней звездой, – как морская волна неразлучна с пугливою чайкой. Много ярких светил в безграничном пространстве лазури – лучезарный Арктур, Береники блестящие кудри, Орион и созвездие Лебедя, Большая Медведица, – но среди миллионов светил нет светила прекрасней вечерней звезды. Много птиц, много гостий крылатых летит через море, бросив берег его, направляясь к другому, что вдали где-то там затерялся среди синевы и туманов, но только одну белокрылую чайку с любовью баюкает, точно в родной колыбели, морская волна. Чайка взлетает к нависнувшим тучам, чайка умчится в далекие страны, – куда и зачем, вряд ли знает сама, – но снова, как странник, уставший бродить в бесприютных краях, прилетит она к синей родимой волне, прильнет к ней своей белоснежной грудью, и

солнце смеется, взирая на них, и шлет им лучистые ласки.

Так и я, разлучившись с тобой, о мой друг, бесконечно любимый, был сердцем с тобой неразлучен, я баюкал твой ласковый образ в своей трепетной груди, вдыхая морской освежительный воздух, качаясь на сине-зеленых волнах в виду берегов Скандинавии.

3. Сказка ночи

...И вот уже прошел час полно́чи, и услышал я голос, говоривший ко мне из ночной темноты:

– Встань и обойди землю. Земля спит, земля дремлет. Кто спит, тот многое скажет сквозь сон, о чем он молчит среди дневного шума. Иди.

И я встал и пошел.

Было тихо на небе. Спали и звезды и тучи. И спали горы кругом на земле, вечным сном, непробудимым; от начала времен не знали они, что значит засыпать и пробуждаться, от начала времен спали мертвым сном снеговые горы.

И устремил я к ним свой пытливый взор, и взор мой прояснился как бы в видении, и узнал я, что в смерти больше жизни, чем в жизни.

Было тихо на небе. Спали и звезды и тучи. Но луна озаряла таинственным светом и небо и землю, и при свете луны я увидел, что жизнь есть тоска и томленье, что в безмолвии гор, усыпанных снежными хлопьями, больше слов, чем в пустом разговоре людей, больше звуков, чем в пении птиц.

И обошел я славные города и безвестные деревни, чтобы и там найти красоту, и увидел, как бледная Совесть рисует страшные призраки пред очами уснувших людей, и увидел, как Забота прильнула к заплаканному изголовью бедняка и богача, как с сатанинской улыбкой склонилась Скука над обнявшимися влюбленными.

Я шел в мире вздохов, в мире болотных огней, в мире живых мертвецов, не знающих прелести смерти.

И обошел я всю землю от морей до морей, и обошел я кругом тяжелые бездонные моря, и вновь возвратился к подножию гор, и увидал, как много красоты в их холодном безмолвии, и пал ниц, и заплакал. Потому что мне было жалко безумцев, бессильных понять, что в смерти больше жизни, чем в жизни...

Эту сказку рассказала мне ночь, когда было тихо на небе, когда спали и звезды и тучи. Эту сказку, о брат мой, я передаю тебе, потому что в ней все – истинно, от слова до слова.

1893

Три встречи с Блоком

Бывают встречи совсем беглые, как будто вовсе незначительные, и длительность их мала, всего лишь несколько секунд или минут, а память от них остается – и светит с достоверностью далекого зарева зари, с неустранимостью тонкого шрама на руке от случайного секундного прикосновения дамасского клинка.

Много было у меня в жизни разных встреч, и с людьми самыми различными. С писателями русскими последних десятилетий мне приходилось в то или иное личное соприкосновение вступать хоть на краткое время с очень многими, и о многих могу сказать, что всякая память о них в моей душе исчезла, о других могу сказать, что я мог бы с ними не встречаться никогда, к третьим, немногим, таким как Юргис Балтрушайтис, Вячеслав Иванов, Марина Цветаева, душевное мое устремление настолько сильно – и так таинственно, по видимости беспричинно, – остра и велика моя радость от каждой встречи с ними, что явно нас связывает какое-то скрытое духовное сродство, и хочется сказать, что мы где-то уже были вместе на иной планете и встретимся снова на планете новой в мировых наших блужданиях.

Блок, в моей жизни, не входит в указанные разряды. По прихоти обстоятельств жизни, и его, и моей, мы встретились всего лишь раз пять, и только три из этих немногих встреч запали мне в сердце, и запали неизгладимо. Между тем совсем ничего особенного не было в этих встречах. Я даже лишь приблизительно помню даты этих встреч. Первая – в доме С. А. Соколова-Кречетова, основавшего в Москве книгоиздательство «Гриф», кажется, в 1903 году; вторая, должно быть, в 1913 году, в книгоиздательстве «Сирин», в Петербурге; третья – в доме Федора Сологуба, в Петербурге же, если не ошибаюсь, в 1915 году. Но вот, хоть даты указываю

шатко и могу в каждой ошибиться на год, эти встречи живут во мне ярко, – и с четкостью, с яркостью лучистой, как это бывает в красивом, или жутком, или жутко-красивом сне, я вижу сейчас красивое мужественное лицо Блока, его глубокие умные глаза, слышу его голос, полный скрытого значения, – его немногословная речь говорит душе много, я ощущаю тишину Блока, в моей душе, дрогнув от соприкосновения с зорким духом, воцаряется ее собственная, ей свойственная, с нею содружная тишина, и я снова и снова чувствую боль и нежность, беспричинную любовь к братской душе, которая идет неизъяснимо-трудным путем, но не скажет, никому не скажет о своих великих трудностях, о своем неизбежном одиночестве, и вот сейчас уйдет, чтобы безгласно и глубоко говорить с далью и с ветром, и с мерцанием снега и с звездой в холодной выси, и с перебивающимся, самому себе противоречащим, самого себя жалеющим звуком далекого колокольчика.

От детских дней я люблю снег с той степенью нежности и душевной раскрытости, с какою любил живое существо. В мерцании снега, будь то солнечный полдень или лунная полночь, так много глубокого говора, что душа согласна и хочет и может говорить со снегом без конца. Снег притягивает, но и удерживает, белизна его манит – и останавливает. Я люблю снег как живое существо, но мне не придет желание наклониться и поцеловать снег. Такое свойство – что-то из этого очарования снежного царевича – присутствует изобильно в поэзии Блока. Что-то из этого было и в очаровании его жизненного лика. Моя ли застенчивость, его ли застенчивость, или гордость, или что иное, но в Блоке, мне казалось, в одновременности замкнутая равномерность силы притягающей и силы удерживающей, если не отталкивающей. Это было во все три встречи, о которых я говорю.

Первая встреча – в раме дружеского юного пира, в свете утренних зорь, в правде многих соприкоснувшихся на миг поэтических душ, из которых каждая внутренним ясновидением четко сознавала и знала про себя, что путь предстоящий – богатый и полный достижений. И в этот первый миг свиданья юноша Блок показался мне истинным вестником. Третья встреча, за дружеским ужином у Сологуба, очаровательного поэта, очаровательного хозяина и человека с острым проникновенным умом, явила мне Блока читающим замечательные стихи о России, и он мне казался подавленным этой любовью целой жизни, он был похож на рыцаря, который любит Недосягимую, и сердце его истекает кровью от любви, которая не столько есть счастье, сколько тяжелое, бережно несомое бремя. Казалось, что Блок поникал, пригибался, что тяжесть, которую он нес, была слишком велика даже и для его сильных рук, даже и для его упрямства, священного как обеты Средневековья. Вторая встреча, когда он сидел в углу молча и мы обменялись лишь двумя-тремя словами, всего красноречивее сейчас поет в моей памяти. Я никогда не видал, чтобы человек умел так красиво и выразительно молчать. Это молчанье говорило больше, чем скажешь какими бы то ни было словами. И когда я ушел из той комнаты, а близкая мне женщина, бывшая в той же комнате, еще оставалась там около часу, Блок продолжал сидеть и молчать, – и вот, чуть не через десять лет после того дня, вспоминая о той же встрече, эта женщина говорит, что, уйдя, она отдала себе отчет, что Блок ничего не говорил, но что это молчание было так проникновенно, оно было такое, что ей казалось, будто все время между ею и им был неизъяснимозначительный глубокий разговор.

Кто знал Блока – и знал его больше, чем я, – тот знает, что в словах моих о нем – часть истинного

очарования этого исключительно поэтического поэта. Кто не знал, тому слова мои могут показаться невыразительными и мало что говорящими. Может быть. Но когда осенью 1921 года я узнал, что Блок ушел, и так трагично, – я не вспомнил, что его жуткая и яркая поэма «Двенадцать» когда-то очень заинтересовала и очень огорчила меня, – я, быть может, целый год на бретонском побережье слушая, изо дня в день и из ночи в ночь, довременную песню Океана, не очень четко вспомнил, как глубоко я восхищался когда-то «Соловьиным Садом», поэмой, каких немного даже в Русской Поэзии, хотя Русская Поэзия последних десятилетий самая богатая и звучная из всех поэтических творчеств на Земле, – но три эти встречи с Блоком, о которых мне так же трудно рассказать, как о сне, ибо сон, пока его рассказываешь, тает, возникли во мне настойчиво, и память о них не давала мне покоя до тех пор, пока в бессонную ночь октября я не написал свои строки «Светлому имени», а утром и в послеполуденье наступившего солнечного дня не записал на берегу все помнящего и все смывающего Океана «Вестник» и «Солнечный лик».

Игрою случая стихи эти до сих пор не были напечатаны. Они возникли в мои морские часы ненарушимого одиночества, когда с тонким звоном в мою комнату залетали осенние осы, и Блок мне казался таким дорогим и близким, как соловей в весеннем кусте, который поет мне песню, но улетит, если я к нему подойду, и как свежевыпавший снег, которого не нужно касаться даже прикосновением поцелуя.

1923

Три меры

Три меры, три чары, три долготерпения. Вряд ли в человеческой душе есть больше. Можно и в важном деле снести одну ошибку, можно примириться и со второй, нельзя не видеть при совершении третьей, что их случится еще несчетное количество, если продолжишь доверяться ошибающемуся.

Можно простить один низкий поступок, усматривая смягчающие вину случайности, можно простить и повторение его, ибо трудно не впасть в прежний грех, но, когда одно и то же низкое преступление совершается одним и тем же в третий раз, явно, что здесь система, и против такой предосудительной системы нужно и должно применить грозную систематику.

Долго ли История прощает великому народу, упорствующему в своих заблуждениях и в своей некрасивой слепоте? Долго, очень долго, порою даже как будто и слишком долго, но скоро приходит кара, как бы долго ни длилось это долготерпение Истории. Каждый самый долгий срок легко распадается на три основные момента, на три роковые срока, и оттого, что между первым и вторым сроком проходила тягучая длительность, упорствующие обычно не видят, что вторая тягучая длительность есть быстро уменьшающаяся мера между вторым сроком и третьим, между вторым рубежом и последним.

Первая страшная ошибка была, когда первую Пасхальную радость всеобщего освобождения лишили свойств всенародности и превратили в частичную распрю сословий и отдельных кучек, извратили праздник свободы, лишив его чувства любви и зажегши ненависть, – как будто не вся великая страна свергала иго, как будто не все сословия хотели свободы, как будто были какие-то поддающиеся точному историческому учету числа, указующие, кто больше, кто меньше дал

движения великой лавине, как будто можно летящий ветер схватить и превратить в арифметику, где все числа дерутся друг с другом.

И, вместо того чтобы внутри была любовь, а ненависть направлялась острием лишь вовне, к несомненному врагу, идущему с насилием, внутри поселили злую вражду, а насилию, идущему извне, от несомненного врага, дали расти и крепнуть и приходить вовнутрь нашего дома под личиной.

Вторая страшная ошибка была в том, что ту святыню, которая называется воинской честью, воинской дисциплиной, воинским долгом, искусили, затмили, развратили, затоптали. И солдат, которые были людьми темными, наполнили ложью и злобой, не дав им никакого благого духовного хлеба, и офицеров, которые продолжали стоять на правильной точке зрения, продолжали опираться на чувство чести и хотели защищать родину, разъединили с солдатами и оклеветали. И войско превратилось в стадо. И позор всей страны стал безграничным. И понятие «солдат» утратило всякий смысл, какую-либо красоту и достоинство.

Третья страшная ошибка была в том, что власть не чувствовала себя властью и не поступала как власть. В этом была ложь, в этом было двуличие, в этом была собственная неуверенность, что власть действительно есть власть. Не убежденная в себе, эта кажущаяся власть уговаривала там, где нужно приказывать, медлила там, где нужно безотложно действовать, дозволяла злому предпринимать и осуществлять злое и злейшее. Один из величайших гениев на земле и самый великий среди художников, думавших о новом лике человека, Леонардо да Винчи, сказал: «Кто не наказывает зло, тот приказывает его делать». Так вот, власть, вместо того чтобы сильной властной рукой схватить поджигателей и потушить пожар, любезно соизволяла опутывать ложью и

предательством всех малоумных и темных; власть, не наказывая зло, приказывала делать злое.

Я думаю, что три меры исполнились и что бешеный вихрь кары совсем близок. Но так как ветер схватить нельзя, не заключишь его в таблицу умножения, никто не предскажет, в каком лике предстанет буря.

Я думаю также, что роковое свойство числа 3 нигде так хорошо не рассказано, как в одном предании древней Эллады. Когда юный Дионис бродил, он нашел замысловатый побег. Травинка ему полюбилась. Он взял эту веточку и понес домой. Но, чтоб она не завяла и не замерзла, он спрятал ее в птичью кость. Шел, шел и видит львиную кость. Он бросил птичью кость и переложил побег в львиную кость. Уже совсем подходил к родному саду, но увидел ослиную кость и переложил туда замысловатую ветку. Этот побег, посаженный в волшебном саду, стал виноградной лозой. Вот почему человеческий дух после первой чары вина полетен, как птица, после второй – яростен, как лев, после третьей – глуп, как осел.

И известно, что, если осел уперся на одном и том же месте и не хочет сдвинуться, возникает взмах палки – и упрямое животное должно идти дальше.

1917. 8. IX

Трудность

Иисус сказал: Не запрещайте ему...
Евангелие от Марка, гл. 9: 39

В доме старинного моего друга я встретился недавно с П.Б.Струве, которого не видал очень давно. После первых слов, при таких обстоятельствах – для каждого благовоспитанного человека обязательных, Струве удостоил меня снисходительно-небрежным упреком: «А вы все еще пишете политические гимны!» Он разумел мои стихи «Песня Рабочего Молота», не так давно напечатанные в газете «Воля России». – «Политические гимны? – воскликнул я почти обиженно. – Восхваление в стихах всех ликов человеческого труда разве есть политика?» Реплики кончились, и разговор перешел на другую тему.

Этот маленький случай возбуждает во мне много мыслей, и о некоторых мне хочется сказать. Я думаю, слова мои представят некоторый общий интерес, хотя они будут чисто личного свойства.

В «Песне Рабочего Молота», которая слишком длинна, чтоб сейчас приводить ее, есть такие строки:

Услышьте все, кто жив и молод:
Свободный труд – как изумруд.
Я в пляске, я рабочий молот,
Во мне столетия поют,
Плясал я весело и звонко,
Любил огонь вдыхать и пить,
Сковал игрушку для ребенка,
Венец, чтобы его разбить.
Я бунт, я взрыв, я тот, который
Разрушил смехом слепоту,
Пряду из зарева уборы,
Хватаю звезды на лету.
Гранит высоких скал расколот,

Я ходы вырыл в глубине,
Я сердце мира, слушай молот,
Я кровь, я жизнь, будь верен мне.

Я нарочно взял не те строфы, где от Рабочего Молота я говорю: «Когда мотыги я и плуги» или «Серпы я выковал и косы». Нет, я взял несколько таких строф, которые можно заподозрить, и вопрошаю тех, кто чувствует поэзию, много ли политики в моих строках.

Я думаю, ее вовсе нет, в том смысле, как хотят люди подозрительные. Я думаю, что она есть в ином смысле, о котором скажу в конце.

Сейчас мне хочется рассказать другой маленький случай. Это было прошлую зиму в Москве. Один мой друг, поэт, имевший самые разнообразные знакомства, предупредил меня, что я на днях буду арестован чрезвычайкой. Так ему сказали осведомленные. Ну что ж, я этого ждал не раз. Я не однажды на публичных выступлениях заявлял, что Россию сейчас держат за горло кровавые руки и что никакое творчество немыслимо там, где не любят работать и любят убивать. Действительно, через неделю после этого я получил повестку, приглашающую меня явиться для дачи показаний на Лубянку.

Слова «на Лубянку», возбуждая ощущения черного и красного цвета, звучат в ушах каждого москвича совсем особой музыкой. Но страха не было, да притом ничего страшного не произошло. Совсем напротив.

Срок мне был дан явиться до 5 часов дня, иначе в повестке было любезное обещание привезти меня. Я предпочел дойти пешком. Но так как от Арбата до Лубянки довольно далеко, а я жил на Арбате, и так как я вообще довольно [не] люблю опаздывать на представления, я пришел в чрезвычайку в 5 часов без 20-ти минут. Какой-то юноша офицерского вида, учтивости

чрезвычайной, – говорю это без иронии, – сказал мне, что следователь, товарищ Рославец (следователь женского пола, а именно жена композитора Рославца (Рославец Николай Андреевич (1881–1944) – русский и советский композитор.)) уже ушла и сейчас у себя дома. Я вынул свои часы, показал на коридорные часы, показал на повестку, и сказал, что я покорнейше прошу товарища Рославец придти и допросить меня, что я пришел и второй раз приходить не намерен. «Она здесь недалеко», – обворожительно шепнул с полным ко мне доверием юноша, и исчез. Через несколько минут он вернулся и сообщил: «Товарищ Рославец будет здесь через четверть часа». Имея всегда в кармане книгу, я сидел в коридоре и читал какого-то испанского поэта 17-го века. Мимо меня проходили чрезвычайные барышни, окончившие день своей праведной службы. Четверть часа продлилось в полчаса, и в эти полчаса я испытывал чувства изумительные. Лицо мое достаточно знакомо многим в Москве, так как я много раз выступал публично как лектор и как поэт. И вот в продолжение получаса мимо меня прошло целое множество девушек, которые сочли возможным служить в чрезвычайке, и многие из этих многих, проходя мимо меня, краснели, опускали голову, даже пытались закрыть свое лицо. Мне поистине казалось, что я не в Москве наших дней, а где-то в испанской инквизиции, и я почти суеверно ощущал книгу испанского поэта в моих руках.

Наконец около меня прошелестела судейская дама нового образца и пригласила меня в свою служебную комнату. В несколько минут дав мне почувствовать, что она отлично осведомлена о том, где когда я был, она меня спросила: «В каких отношениях вы с изданиями, с повременной печатью?» – «Вы хотите сказать – с издательствами. Еще есть в Москве два-три, и там берут

иногда мои переводы. А изданий, кроме правительственных, ведь нет, в них же я не участвую». – «А в зарубежных?» – «С 1915-го года, уехав из-за границы, ничего о них не знаю». – «А в каких вы отношениях с Константинополем?» – «С Константинополем ни в каких», – сказал я, совершенно веселея. – «А с Принцевыми островами?» – прозвучало лукаво. Я откинулся на спинку стула и начал искренно хохотать. – «Много я путешествовал, дважды совершил кругосветное путешествие, но до Принцевых островов ни разу не доехал, о чем весьма жалею». – «Однако, – и голос дамы стал суров, – там в белогвардейской газете напечатаны ваши стихи, посвященные Деникину». – «Нет, к Деникину я не чувствую особого влечения и стихов ему не посвящал». – «Но они подписаны вашим именем». – «Любой товар вырывает от марки, и кто-то захотел воспользоваться моим именем». – «А как вы относитесь к партии?» – «Вне партий». – «Какие ваши политические убеждения?» – «Абсолютное отсутствие какого-либо соприкосновения с политикой». – «Ну вот, и запишите все это», – сказала чрезвычайная дама, облегченно вздохнув, когда я отрекся от политики, и подавая мне опросный листок. «А также напишите! как вы относитесь к советской власти», – добавила она голосом вовсе женственным, как будто желая знать, нахожу ли ее очаровательной или нет. Я написал свои ответы, и, подумав: «Постой, любезная, я тебя сейчас угощу», прибавил четким почерком: «Советскую власть считаю логическим следствием исторического процесса и в заговоры против нее не вступал». Я смотрел на лицо крючкотворной дамы, о которой знал, что она кровожадна, и, признаюсь, не без удовлетворения увидал, что, когда, читая, она дошла до последнего моего показания, в лице у нее что-то дрогнуло, и она хотела предложить дополнительный вопрос, но воздержалась.

«Вы можете идти», – сказала она.

Насмешка моя была в совершенно неуязвимой форме. Да и только ли насмешка? Разве воистину из той мути, которая была в России последние десятилетия, могло выйти что-нибудь иное, кроме той кровавой низости, которая устраивает свои сатанинские торжества сейчас? Текущая действительность показывает, что нет.

Я сказал в своем заявлении точную правду. Я не добавил только, что, на мой взгляд, логическое следствие исторического процесса в недалеком будущем приведет к тому, что или отдельные самоотверженные герои истребят таких извергов, как созидатели Чека, или их сметет волна народного гнева и народного суда, медленно приходящего, но неизбежного в своем приходе. Я не добавил также, почему я не вступал в заговоры против советской власти. Да просто потому, что в этих заговорах я видел покушение с негодными средствами. В частности, когда Деникин был у Орла и его со дня на день ждали в Москве и около Москвы, один человек, которого я любил и уважал, сообщил мне, что все готово для переворота и предложил мне, от имени лиц, которые долженствовали совершать переворот, написать манифест к обществу и к народу. Столь велика была путаница. Уже один тот факт, что с таким предложением обращались ко мне, совершенно не способному ни к каким политическим выступлениям, показал мне, что готовившийся заговор был детский заговор, к сожалению, со страшными последствиями. Я знал, кроме того, что несет с собой Деникин. Я не стал писать манифеста и умолял моего друга не губить себя зря, ибо не пришел еще час. Все совершилось неуклонно. Хищные звери более зорки, чем те существа, которыми они питаются. Заговор был сорван. Тот друг, о котором я говорю, был схвачен в числе других. Лишь

через полгода, после всяческих расспросов, я узнал, что его пытали и в конце концов предательски застрелили в кровавых недрах чрезвычайки, в ночь под Новый год, так как на другой день коммунистические власти опубликовали подложную грамоту об отмене расстрелов, и всю ночь на Лубянке был пьяный праздник истребленья заключенных.

Какую роль в злодеяниях мнимо-рабочего правительства играют рабочие? Кронштадт показал и слепым: они жертвы обмана, попавшие в западню. Как лично я отношусь к понятию «рабочий»? Люблю работу, люблю труд во всех его ликах. Звездочет и плотник, кузнец и поэт, пахарь и зодчий равно работники. Я с детства видел деревню. Я с детства видел фабричные города. Я знаю, о чем я говорю, когда говорю: «Все лики труда благословляю».

Когда я посылал в «Волю России» стихи и очерк под названием «Песня Рабочего Молота» я вынул из рукописи одну страницу, при перечтеньи показавшуюся мне слишком личной. Считаю уместным теперь привести ее:

«Не рабочие сделали то, что после тридцати лет действительно трудовой жизни я лишен всего, на что мне давала бы право такая долгая честная работа. И если я не с рабочими, в этом, быть может, не моя вина, но также и не их. Будет иной час. Будет иная жизнь.

И если семь месяцев я томлюсь в Париже, где русская жизнь показала мне, что я ей ни за чем не нужен, – и если я в этом элегантном городе продолжаю ходить в том же рваном платье, в котором я ходил в теперешней растерзанной Москве, – что в том. Мне дано опуститься в глубокий колодец и выйти из него, зачерпнув звонкими ведрами той освежающей серебряной влаги, без которой не может жить никакая живая душа.

Около года тому назад, 22-го февраля, в той Москве, где я сумел оставаться свободным среди общего рабства, я тяжело захворал, потому что полуобут. Когда я начал поправляться было, не напевы мести и не слова гнева возникли во мне, а «Песня Рабочего Молота». Я хочу, чтобы те, которые прочтут ее, знали, что она родилась из глубины, как отзвук целой жизни. Не приказательность неимущих воспеваю я, а всем зазывом души зову к тому, чтобы совсем не было неимущих. Человек богаче, нежели он сам о себе думает. И если человеческий дух захочет, все будут богаты, вся жизнь будет счастьем».

Возвращаясь к тому, с чего я начал, замечу политическому мудрецу, налагающему на меня запрет в мягкой форме, как деспотия налагает его в форме крайней, что, если русское слово «политика» взято с греческого «политике», что значит «искусство управлять государством», в сфере рассуждения есть более общее понятие, выражающееся словом «политейя», последний смысл которого есть «государство», а первый – «гражданство, право гражданства». Народ, создавший эти слова, не только не отказывал поэтам в праве гражданства, но настойчиво требовал от них, чтобы они были гражданами. Насколько мало современные политические мудрецы проникновенны в искусстве управлять государством, показали, с яркостью адских огней, все последние годы. Итак, да будет мне, поэту, дозволено в этих вопросах учиться не у политических мудрецов, а хотя бы у Алкивиада или Эсхила, или у Константина Багрянородного. А впрочем, могу взять ближе. Автор «Кузнечика-Музыканта», светлый поэт Яков Полонский обмолвился однажды стихами, которые я запомнил, когда мне было лет 16. Если память мне не изменила, они гласят:

Писатель, если только он
Есть нерв великого народа,
Не может быть не потрясен,
Когда поражена свобода.
Писатель, если только он
Волна, а океан Россия,
Не может быть не возмущен,
Когда возмущена стихия.[5]

[5] Стихотворение Я. П. Полонского «В альбом К. Ш...» (1864).

Цветы

Что может быть в мире прекраснее цветов, и что может быть завиднее их жизни? Легкие, воздушные и полные аромата, они дышат, блистают, любят без слов и умирают без жалоб. Цветы говорят безмолвным красноречием о возможности гармонии, о бессмертии Красоты. Цветы победительны. Цветы цветут.

Наша жизнь исполнена мрака и страданий, но она окружена воздушными мечтами, которые светят нам. Наша дорога исполнена рытвин, и на ней лежат острые камни; но кто смотрит не только себе под ноги, тот видит, что на всем своем протяжении она обрамлена цветами.

Детьми мы собираем голубые подснежники и радуемся на бледные травинки, только что взбившиеся из-под старых листьев на земле, разогретой апрельским солнцем. Мы любуемся потом, как на нарядные игрушки, на веселые лютики и голубые колокольчики. Весенним утром, в солнечной мгле первой влюбленности, мы рвем с нашей милой тонкие стебли душистых ландышей. Мы опьяняемся их нежным опьянением, и в первый раз и, быть может, в последний раз мы тогда воистину живем. Дни проходят, и нам нужны цветы, которые дают опьянение большее. Мы любим крупные красные розы, мы любим нарцисс, влюбленный лишь в себя, мы любим хищные орхидеи, цветы со змеиными очертаньями и наркотическим дыханием. А потом небо темнеет, солнце горит как пожар, тучи захватывают своими покровами весь горизонт, и вдоль длинной дороги, по которой пронесут наш гроб, заботливыми руками разбросаны изломанные ветки вечнозеленых елей, и в последний раз над нашим тесным и последним обиталищем невинно цветут холодные белые розы; а потом, как лепестки бесстрастных лилий, на нашу

могилу будут падать и падать бесшумные хлопья чистого, белого безжизненного снега, который закрывает все.

Цветы неразлучны с нами, но не все это знают, и даже среди бесчисленных поэтов, которые всегда говорят о Красоте, нашелся лишь один, сумевший создать поэму цветов. Говорили о цветах все, но поэтический чертог для них, посвященный только им, создал один Шелли.

Каждый, кто прочел хоть несколько стихотворений Шелли, знает его поэму «Мимоза», где цветы живут как живые существа и где столько нежности к ним, столько любовного внимания, что, когда читаешь эти музыкальные строфы, чудится, что весь мир состоит из цветов; они дышат, они завладевают вниманием, они разрастаются бесконечной пеленой, они изъясняют нам то, что в нас, и лепестки их касаются горизонта нашей души.

Сколько мне известно, Шелли первый ввел мимозу в английскую поэзию, и вполне справедливо он называет самого себя, в письме к Клэр Клермонт, «экзотиком, относящимся к разряду мимозы» («The Life of Percy Bysshe Shelley» by Edward Dowden, vol. II, p. 453).

Интересно бросить общий взгляд на то, как относился Шелли к цветам и как относились к ним другие английские поэты. Шелли не всегда испытывал такую сильную любовь к Природе, какою отмечено его творчество более зрелого периода. В ранней юности он так был захвачен психологическими, философскими и социальными вопросами, что вид живописных гор и вообще вид красивых уголков Природы оставлял его холодным. Он сознавал красоту Природы, но это сознание не было оживлено чувством. Мало-помалу, однако, он вошел в тайники Природы и, раз поняв ее, уже никогда не остывал к ней. У него в удивительной степени развита способность рисовать неопределенные,

мимолетные состояния Природы и способность изолировать ее, созерцать ее как вполне единичное, живущее в пределах особой индивидуальной жизни явление. Он сходится в этом отношении с нашим замечательным, до сих пор еще недостаточно оцененным поэтом Тютчевым, и, что оригинально, английский критик и поэт Лей Гент (1784–1859) говорит о Шелли почти теми же словами, какими Владимир Соловьев говорит о Тютчеве в своей статье о нем. «Шелли, говорит Лей Гент, – по-видимому, смотрит на Природу с такой серьезной и напряженной любовью, что в конце концов, если она не нарушает свое всегдашнее молчание, она платит ему взглядом за взгляд. Она как будто говорит ему: «Ты меня знаешь, другие не знают меня». Для него у красоты внешнего мира есть ответствующее сердце; в самом шепоте ветра есть значение. Для других это просто слова. Для Шелли все, что существует, существует в действительности – цвет, звук, движение, мысль, чувство, возвышенное и смиренное, частность и общее, от красоты травинки или нежнейшего тающего оттенка облака до сердца человека и мистического духа вселенной» (напечатано в «Examiner» по поводу поэмы «Розалинда и Елена», воспроизведено у Даудена, том 2-й, стр. 281). Эту черту индивидуализации природных явлений мы видим и в стихотворении «Мимоза».

Из старых английских поэтов очень часто и хорошо говорят о цветах Чосер (1340–1400) и Шекспир (1564–1616). Но вопреки Шелли, любившему экзотические и редкие растения и говорящему о цветах с особым пристрастием, Шекспир почти исключительно говорит о растениях английских, и говорит о них лишь тогда, когда это логически требуется по условиям данной сцены или данного образа. Этим объясняется, что у него совсем не упоминаются такие общеизвестные цветы, как Подснежник, Незабудка, Ландыш.

Современники Шекспира, кроме Бена Джонсона (1573–1637) и Вильяма Брауни (1591–1643), почти совсем не говорят о цветах. Спенсер (1552–1599) и Мильтон (1608–1674) описывают цветы как книжники, изучавшие классиков или итальянцев, между тем как Шекспир описывает их как реалист (См. превосходную книгу H.Ellacombe «The Plant-lore and Garden-craft of Shakespeare» («Знание растений и садоводство у Шекспира»). В XVIII столетии английские поэты почти совсем не говорят о цветах, во всяком случае, не говорят о таких, например, скромных цветах, как Маргаритка, царственно воспетая Чосером. Зато в поэтах XIX века цветы нашли особенно преданных и сладкозвучных трубадуров. Шелли, Китс, Вордсворт, Теннисон и многие другие английские поэты являются преданными рыцарями Розы, и Лилии, и Фиалки, и Туберозы, и многих иных садовых, луговых, водных и лесных красавиц. Из отдельных цветов Чосер особенно любит Маргаритку, которую он считает царицей цветов; Шекспир чаще всего говорит о Розе и Лилии, так же как Вордсворт; Шелли особенно любит Анемону, Фиалку, Жасмин и Златоок. Переходя в отдельности к тем цветам, которые Шелли воссоздал в поэме «Мимоза», можно сообщить о некоторых интересных подробностях.

Фиалка. Шекспир очень часто говорит о ней как о нежном весеннем душистом цветке с голубыми жилками. Мильтон помещает ее среди цветов, которые услаждали Адама и Еву в раю, а именно он называет ее наряду с Ирисом, Розой, Жасмином, Крокусом и Гиацинтом («Paradise lost», book IV). Вальтер Скотт называет ее красивейшим цветком долины и лесной чащи.

Нарцисс (Златоок). Шекспир очень любил Златоок. Он очаровательно описал его в «Буре». Китс применяет к Нарциссу свой прекрасный стих «A thing of beauty is a joy for ever» («Создание красоты – бессмертная услада»).

Его также очень любили Вордсворт и Эдгар По. В одной из своих лучших сказок, «Элеонора», Эдгар По описывает Златоок как цветок той Долины многоцветных трав, где ему дано было испытать первичную райскую любовь (Собрание сочинений Эдгара По, в переводе К.Бальмонта, Москва, 1901). «Роза Сарона» – это большой желтый Нарцисс, о котором Магомет сказал: «У кого два хлеба, пусть он продаст один за цветок Нарцисса, ибо хлеб – пища для тела, а Нарцисс – пища для души».

Ландыш. Никто так хорошо не сказал о Ландыше, как Лермонтов, назвав его «росой обрызганный».

Гиацинт. Эдгар По в своем рассказе «Поместье Арнгейм» рисует идеальный пейзаж и в нем, среди подобных видениям Восточных деревьев, между озер, обрамленных Лилиями, луга, пересеченные серебряными ручейками, украшены Фиалками, Тюльпанами, Маками, Гиацинтами и Туберозами.

Роза и Лилия. Эти два цветка очень часто сочетаются в описаниях, хотя они не гармонируют ни в одном букете. Древнеперсидская поэзия окропляет свои любовные гимны пряным запахом свежих Роз, сладчайшая «Песнь Песней» прославляет любовь среди Лилий. У Шекспира множество упоминаний Розы и Лилии. Сехизмундо в драме Кальдерона «La Vida es Sueno» («Жизнь есть сон», II, 7) говорит, что на дневном небе царствует солнце, между ночных светил вечерняя звезда, между драгоценных камней алмаз, а в царстве ароматов «Царица-Роза над цветами владычествует в силу красоты». В другой драме Кальдерона, «El Principe constante» («Стойкий принц», II, 5), говорится, что весна сзывает цветы на всенародный праздник,

Чтобы в собранье этом ярком,
Сильнейшей в чарах красоты,

Царице-Розе присягнули
В повиновении цветы.
(См. «Философские и героические драмы»
Кальдерона, Москва, 1902).

Два русские поэта очень красиво сочетают Розу с пчелой. Пушкин: «Журчанье пчел над Розой алой» («К Н.», 1834) и Фет: «И тебе, Царица-Роза, брачный гимн поет пчела» (Собрание стихотворений, том I, стр. 8, новое издание под ред. Б. Никольского). Что касается Лилии, она за последние десятилетия сделалась наиболее излюбленным цветком поэтов-декадентов, так же как до известной степени родственная с ней и в то же время прямо ей противоположная, чувственная и хищная Орхидея. Шекспир говорит о Лилии так же часто, как о Розе. Он называет ее «владычицей луга». Спенсер называет ее «царицей цветущего луга».

Жасмин. В одном месте Шелли сравнивает запах Жасмина со светом звезд.

Индийские травы. У Минского есть красивый сонет, начинающийся словами:

Как пряный аромат индийских трав
Для вкуса пресыщенного услада...

Мандрагора. В драме «Отелло», этой трагедии любви, игрою случая или с высшей тонкой преднамеренностью, Шекспир назвал лишь четыре растения: Locusts, Coloquintida, Poppy и Mandragora (Рожок, Чертово яблоко, Мак и Мандрагора): сладкое, горькое, усыпляющее и убивающее. В средние века верили, что Мандрагора обыкновенно растет лишь под виселицами. Если повешенный был мужского пола, гной, упадавший с мертвеца, рождал Мандрагору мужского рода; гной с женского тела рождал Мандрагору женского рода. По виду своему Мандрагора имеет в себе нечто

человеческое. Колумелла называет это растение «получеловеком» (semi-homo). Пифагор называет его «человекообразным» (anthropomorphus). В средние века относительно Мандрагоры существовало также зловещее поверье, о котором говорит Шекспир в «Ромео и Юлии», IV, 3:

> Так Мандрагора, вырванная с корнем,
> Кричит, и, услыхавши этот крик,
> Теряют люди в ужасе рассудок.

Среди всех этих цветов, как мрачных, так и радостных, Мимоза остается одинокой. Среди всех людей, которые приближались к Шелли, он оставался одиноким, в смысле возможности длительного единения. Его понимали только частию самые близкие люди и только в некоторых движениях его души, слишком необычной и слишком сложной.

Но если в жизни Шелли был одинок, как его Мимоза, его поэзия – как сад, описанный в этой поэме. Он умер только призрачною смертью, а на самом деле живет бессмертно.

> Вечен таинственный сказочный сад,
> Вечно в нем Нимфа живит аромат,
> Вечно смеются им вешние дни,
> Мы изменяем, но не они.

1903

Чужбина

Изгнанник ли я?

Вероятно, а впрочем, даже я и не знаю. Я не бежал, а уехал. Я уехал на полгода и не вернулся. Зачем бы я вернулся? Чтобы снова молчать как писатель, ибо печатать то, что я пишу, в теперешней Москве нельзя, и чтоб снова видеть, как, несмотря на все мои усилия, несмотря на все мои заботы, мои близкие умирают от голода и холода? Нет, я этого не хочу. Но нет дня, когда бы я не тосковал о России, нет часа, когда бы я не порывался вернуться.

И когда мне говорят мои близкие и мои друзья, что той России, которую я люблю, которую я целую жизнь любил, все равно сейчас нет, мне эти слова не кажутся убедительными. Россия всегда есть, независимо от того, какое в ней правительство, независимо от того, что в ней делается и какое историческое бедствие или заблуждение получило на время верх и неограниченное господство.

Там, в родных местах, так же как в моем детстве и в юности, цветут купавы на болотных затонах и шуршат камыши, сделавшие меня своим шелестом, своими вещими шепотами тем поэтом, которым я стал, которым я был, которым я буду, которым я умру. Там, в родных моих лесах, слышно гуканье, и я люблю его больше, чем блестящую музыку мировых гениев, поют соловьи, над полями возносятся, рассыпая ожерелья солнечных песен, жаворонки.

Там везде говорят по-русски – это язык моего отца и моей матери, это язык моей няни, моего детства, моей первой любви, почти всех мгновений моей жизни, которые вошли в мое прошлое как неотъемлемое свойство, как основа моей личности.

Там говорят «До свидания», «Милый», «Прощай», «Люблю», и на лесной опушке кличет эхо, которое откликалось мне, когда еще весь мир казался добрым и вся жизнь казалась тайной.

Ах, мне тяжело. Мне душно от того воздуха, которым дышат изгнанники, косо смотрящие друг на друга и вечно друг друга подозревающие, совсем так же как подозревают друг друга люди там, в родных моих местах, в обезумленных, в обездоленных, в измененных.

Мне душно и от воздуха летнего Парижа, где я никому не нужен и где ничто для меня не нужно.

Не думайте, что я зову кого-нибудь из уехавших и оставшихся, из спасшихся от тяжких мучений, может быть, смерти – очертя голову вернуться в теперешнюю Россию, где право растоптано, где слово несвободно, где нет первооснов человеческой справедливости. Нет, я говорю только о себе, а не делаю никаких общих выводов.

Здесь, в свободной, будто бы свободной, Европе, я чувствую себя (душевно) таким же связанным, каким я чувствовал себя в последний год в Москве, где я жил бок о бок с навязанными мне жильцами, нагло распоряжавшимися в моей квартире, где я голодал, где я говорил иногда моей девочке, бессильной заснуть:

– Не плачь! Завтра, быть может, мы поедим.

Моя девочка стала за эти три года красивой девушкой, живой и остроумной. Я уже не говорю ей, за ненадобностью, таких утешений, а когда подходит нужда, она все же не такая острая и, если нет денег на настоящий обед, можно сварить суп из старого недоеденного хлеба. Но здесь мне тоже нужно произносить и перед ней, и перед другими близкими, и перед близкими-далекими, и перед самим собой много разных утешений, в которые не веришь и которые не оправдываются.

Основное остается как правило жизни каждого дня и каждого нового тяжелого месяца. Это основное: я на чужбине, я вне действительной связи с моей Матерью, с моей Родиной, хоть от меня туда и оттуда до меня доходят всякие души, доходит голос сердца, которое бьется тяжело, с мученьем, которому исхода не вижу.

И вот чем дальше иду я по дорогам чужбины, тем слабее моя связь с моей Родиной и тем чаще я спрашиваю себя с горечью: не лучше ли быть мне в тюрьме там, чем на свободе здесь? И действительно ли я здесь – на свободе?

Русла нет. А река без русла разве свободна? Она плещется и разливает свои воды, где и не нужно. Даже реке необходимо русло. А изгнанническая жизнь даже и не река в разливе, много беднее, гораздо менее в ней красоты и содержания.

К чему же мне прильнуть?

Я живу сейчас в мире, который, грубо захмелев от преступно излитой им несчитанной крови, только и делает, что брызжет на душу грязью и кровью и слепо убивает певчих птиц.

1921

Шелли и Байрон

25 апреля 1816 года Байрон в последний раз в своей жизни взглянул на утесы Англии, отплывая из Дувра в Остенде. Через некоторое время, в сопровождении трех слуг и своего домашнего врача Полидори, в карете, загроможденной предметами роскоши, он отправился через Фландрию и по берегам Рейна, по направлению к Швейцарии.

По направлению к Швейцарии в первых числах мая того же года быстрым трактом ехал по дороге через Париж Перси Биши Шелли с своей второй женой, очаровательной Мэри Годвин, и со своим ребенком, маленьким голубоглазым Вильямом. С ними ехала также родственница Мэри Годвин, Джен Клермонт, или иначе Клэр Клермонт (как она сама любила себя называть), красивая молодая девушка, связанная с Байроном узами тайной любви.

17 мая Шелли приехал в Женеву и остановился в Сешероне, в Hôtel de l'Angleterre, куда через неделю приехал и Байрон.

Здесь-то впервые встретились два гениальные изгнанника, чьи произведения составляют гордость европейской поэзии девятнадцатого века.

Эта встреча, казалось, была прямой неизбежностью: так много было общего в судьбе Шелли и Байрона. На самом деле, и тот и другой были апостолами идей великой французской революции, в равной мере горели они страстной ненавистью к вековым социальным несправедливостям; выступив на борьбу с традиционными предрассудками, одинаково подверглись яростным нападкам фарисеев; наконец, даже в личной семейной жизни они оба пережили тяжесть разрыва и были забросаны грязью, как отверженные.

Оставив за собой туманы враждебной им Англии, они встретились на чужбине, озаренные лаской

женской любви, среди грандиозной природы, на берегу голубого Женевского озера, в виду сверкающего вечными снегами Монблана.

Между Шелли и Байроном возникла поэтическая дружба, сказавшаяся в общности настроений и художественных восторгов. Будучи по натуре страстными моряками, они сообща приобрели лодку и в ясные майские и июльские вечера совершали долгие поездки по Женевскому озеру в обществе Мэри Годвин, мисс Клермонт и Полидори, этого англичанина-итальянца с красивым печальным лицом. Закат погасал, воздух становился прохладнее, на побледневшем небе загорался серебряный месяц, – когда же они приближались к берегу, на траве серебрилась роса. Байрон нередко склонял свое лицо за край лодки и пристально смотрел в воду, точно созерцая там скользящие очертания своих грез, которые вот-вот сейчас будут закреплены в звучных стихах. Шелли вполне отдавался мистически-восторженному поклонению перед окружающими красотами и весь превращался в зрение и слух. Некоторые строки «Чайльд-Гарольда» воссоздают перед нами эти минуты.

И свежесть трав от берега дышала,
И золотилась призрачная мгла,
И с легкого подъятого весла
Жемчужных брызг струя, блестя, бежала;
То рос, то падал ветерка порыв;
Кузнечики кричали вперерыв,
И песнею своей неугомонной
Они будили воздух благовонный.
«Childe Harold's Pilgrimage», c. III, LXXXVI

С наступлением лета Шелли поселился в Campagne Mont Alegre, за две мили от Женевы, на противоположной стороне озера, в вилле, окруженной тенистым

садом. В нескольких минутах ходьбы от этого живописного уголка находится Villa Diodati, где когда-то Мильтон, возвращаясь из Италии, навестил своего друга, теолога Диодати, и где теперь поселился лорд Байрон. Отсюда Монблан не был виден, но зато на севере высилась мощная Юра, и когда вечерний сумрак растилался по долине, Альпы вверху все еще хранили на себе розоватый отблеск заката.

С летними днями пришли летние бури, набрасывая на горную природу свой мрачный фантастический покров и еще полнее обрисовывая ее величественную красоту. Кто не видел грозы в горах, тот не поймет, как много в ней безумного очарования. Среди вековых каменных глыб громовые раскаты раздаются с удесятеренной силой, тучи кажутся чернее, молнии кажутся ярче, и житель равнин невольно чувствует себя в непривычной сказочной обстановке. Это – тот мир, в котором зарождаются бессмертные поэтические замыслы, «Вальпургиева ночь», «Дворец Аримана» в «Манфреде», сладкозвучные хоры «Освобожденного Прометея». И чем темнее буря, тем ясней потом безоблачное небо, когда природа отдыхает после гигантской вспышки своих стихийных сил. Переход от грозы и сумрака к легкому ветерку и свету имеет в себе что-то несказанное. Резкий контраст сильнее разъединяет два различные состояния природы и, поселяя между ними глубокое противоречие, тем прочнее связывает их воедино золотыми нитями поэзии.

В конце июня, в одно из последних чисел, Шелли и Байрон при свете безоблачного дня отплыли в своей лодке, с целью объехать все Женевское озеро. Огибая южный берег, они достигли вечером маленькой деревушки Нернье и, причалив, отдались беспечному созерцанию: они смотрели, как разбиваются о скалистые островки пурпурные пенистые волны, как шумной

толпой резвятся на берегу деревенские дети, как медленно надвигаются неясные вечерние тени. Когда на другой день лодка пошла к востоку, на путников глянули снежные выси Савойских гор, с их сосновыми лесами, с их зелеными прогалинами и тенистыми рощами из орешника и дуба. Погода сделалась переменчивой, и вместе с порывами капризного ветра издали стали доноситься вздрагивания грома. 25 июня Шелли и Байрон приблизились к Мельери; они достигли тех мест, где по воле Руссо до сих пор еще бродят тени Юлии и Сен-Пре. Во время поднявшейся бури странствующие поэты чуть не утонули, и Шелли, в котором восхищение перед необычайной опасностью было гораздо сильнее страха потерять жизнь, на другой день с ребяческим удовольствием отыскал в «Nouvelle Héloisa»[6] страницы, описывающие, как Сен-Пре вместе с Юлией подвергался такой же опасности и почти в том же месте. Байрон потом говорил Медвину: «Смерть там была бы действительно классической, но не очень заманчивой». Посетив Шильонский замок, Кларан и Веве, путники остановились в Уши, в небольшой гостинице, где Байрон тотчас же быстро и уверенно написал своего «Шильонского узника». Шелли ничего не писал во время поездки по Женевскому озеру. Новизна впечатлений слишком захватила его, не допуская возможности отдаться сразу и пантеистическому восторгу и художественной рефлексии.

Но не одна природа владела поэтическим настроением Шелли и Байрона. Они много говорили друг с другом о философии, о поэзии – и эти разговоры оставили неизгладимый след в творчестве Байрона.

Говорят, что в дружбе всегда один подчиняется, другой властвует. Если это верно, дружба двух гениальных

---

[6] «Новая Элоиза» *(фр.)*.

английских поэтов имеет совершенно особенный характер. Внешним образом Шелли глубоко подчинился Байрону; он был очарован его энергией, его резким индивидуализмом. Мэри Годвин женски ревниво подметила такое подчинение в самом характере их диалогов: Байрон говорил сильным, звучным голосом, Шелли всегда отвечал ему после долгих пауз, и струны его голоса были как будто надорваны. Но в поэзии Шелли мы напрасно стали бы искать следов влияния Байрона – мы не найдем их нигде. Как до знакомства с Байроном, так и после Шелли остается всегда самим собой, несравненным и своеобразным до бесконечности. Напротив, Байрон, в личных сношениях так легко покоривший себе всех людей, в поэтическом творчестве воспринял от Шелли очень многое.

Но кроме всего этого, Байрона связывала с Шелли известная общность судьбы; я уже вскользь указывал на данное обстоятельство и теперь остановлюсь на нем подробнее, попытаюсь отделить в нем элементы существенные от элементов чисто внешних.

Шелли и Байрон, как было упомянуто, целиком вышли из атмосферы XVIII века, потрясенной громами революции. Они с детства впитали в себя ненависть к тирании, жажду справедливости, идею свободы личности. Руководителем их симпатий, их юных дум был Жан-Жак Руссо, и подобно тому, как этот великий женевец при первом же соприкосновении с реальной действительностью вступил с ней в резкий антагонизм, точно таким же образом два молодые английских поэта, одушевленные гуманитарными идеями, столкнулись с миром людей лишь для того, чтобы тотчас же услыхать от них проклятия. Они, жаждавшие правды везде и во всем, встретились с общественным лицемерием, а лицемерие, как говорит Байрон, большая сила, и, чтобы воспеть ее по достоинству, нужно красноречие

сорока протестантских пасторов («Don Juan», с. X, XXXIV). С первых жизненных шагов Байрона и Шелли социальная обстановка вызывает их на борьбу, и они с готовностью принимают вызов. Байрон говорит в парламенте прекрасную речь в защиту рабочих-стачечников; Шелли делается политическим агитатором в Ирландии, пишет воззвания и говорит речи, доказывающие, что поэтический гений может соединяться с замечательным ораторским талантом. Но первые гуманные порывы молодых поэтов не принесли им ничего, кроме горького сознания одиночества. Они выступили в смутное время торжества реакционных элементов, в одну из таких эпох, когда мыслить – значит, совершать преступления, когда пресмыкаться – значит, быть патриотом; они выступили в Англии, а она, как в начале, так и в конце их деятельности, одинаково оправдывала горькие строки байроновского «Дон Жуана»: «О, если б Англия могла знать, вполне, целиком, как глубоко ненавидят везде ее великое имя, с каким нетерпением все ждут удара, который пронзит мечом ее обнаженную грудь, как все народы считают ее своим худшим врагом, – худшим из худших врагов, – лживым другом, который когда-то обещал человечеству свободу, а теперь стремится сковать его все, – все, даже мысль! Ей ли гордиться или считать себя свободной, когда она лишь первая из рабов? Народы в тюрьме, но кто их тюремщик? Сам – жертва запоров и засовов! Неужели жалкая привилегия скрипеть ключом в замке тюремной двери – есть свобода? («Don Juan», с. X, LXVII, LXVIII). Между узниками всегда вырастает прочная, хотя бы и незримая связь. У Шелли и Байрона, вполне самостоятельно и в то же время параллельно, возникает целый ряд идей и ощущений, вызываемых гнетом удушливой общественной атмосферы. Это – первый момент, обуславливающий

возможность сближения между ними; за первым моментом логически следуют другие. Не чувствуя у себя под ногами твердой почвы, будучи пасынками своей родной страны, Шелли и Байрон фатально стремятся прочь, делаются изгнанниками. Они уезжают куда глаза глядят, лишь бы не дышать воздухом ненавистной им среды, лишь бы побыть в чуждой свободной обстановке. Они стремятся к природе.

Но здесь между ними начинается коренное различие. Шелли стремится к природе потому, что в ней он видит свой родной мир, более родной, чем мир людей; он понимает природу как нечто одухотворенное и живущее своей особой жизнью; ему хочется слиться с ней, потерять свое «я», растворить свою индивидуальность в беспредельном океане гармоничных самодовлеющих элементов. Байрон, напротив, видит в природе нечто подчиненное, декоративное; он не философ – он воинствующий богатырь и, подобно Антею, прикасается к груди земли лишь затем, чтобы после минутной усталости снова сделаться бодрым и сильным; живописуя природу, он схватывает внешние стороны пейзажа, природа является у него лишь отражением его субъективных ощущений, не имея своей собственной души.

Под впечатлением красот швейцарской природы Байрон рисует горный пейзаж во время грозы. Посмотрите на его манеру описывать, она говорит за себя сама.

Идет гроза. На горы тьма легла.
И молния, полна очарованья,
Горит, как темных женских глаз сиянье:
В ней красота и мощь.– Дрожит скала,
И, бурей разыгравшейся объяты,
Другие содрогаются вослед;
И грохота разносятся раскаты,

С веселых Альп звучит грозе привет,
И Юра сквозь туман протяжный шлет ответ.
«Childe Harold's Pilgrimage», с. III, XCII

Поэтический размах широк, стих звучен и красив, но, едва приступив к картине, едва взмахнув своей кистью, художник уже начинает как бы скучать и вырисовывает на полотне свой собственный профиль.

И эта буря – ночью! Не для сна,
Нет, не для грез невозмутимо-ясных,
Ты, царственная полночь, создана!
Пусть буду я твоих восторгов страстных
Участником! О, дай их разделить,
Мои порывы дай с твоими слить!
(Iв., XCIII)

Озера, реки, горы, гром и тучи,
И ветер, льнущий к бешеной волне,
Ваш дальний грохот есть призыв могучий
К тому, что никогда не спит во мне.
(Iв., XCIV)

И затем поэт восклицает, что он хотел бы собрать все свои помыслы, все свои чувства и страсти и выразить их в одном слове, которое бы сверкнуло как ослепительная молния.

Здесь природа подчинена человеческой личности. Здесь звучит «я» могучего индивидуалиста, который создан для борьбы, мечтает о борьбе и везде видит свою походную палатку.

Сравните с этим шеллиевские описания природы. Для полноты параллели я беру отрывок из его стихотворения «Монблан», написанного также под непосредственным впечатлением красот швейцарской природы.

Покрыт лазурью свод небес прекрасный,
Пронзив его, горит вверху Монблан,
Гигант, невозмутимый, снежный, ясный,
Вокруг него толпится сквозь туман
Подвластных гор немая вереница,
Вздымая свой убор – гранит и лед;
И, точно исполинская гробница,
Зияет пропасть, – в ней веков полет
Нагромоздил уступы и стремнины,
Морозные ключи, поля, долины,
Там ни один из смертных не живет,
Ютится только в той пустыне буря,
Да лишь орел с добычей прилетит
И волк за ним крадется и следит,
Оскаля пасть и хищный глаз прищуря.
Все жестко, все мертво, обнажено;
В скале змеится трещины звено,
Неровные пробились ступени;
Средь ужаса безжизненных пространств
Встает толпа каких-то привидений,
В красе полуразорванных убранств.
Быть может, здесь землетрясенья Гений,
В любимицы себе Погибель взяв,
Учил ее безумству упоений,
И все кругом – лишь след его забав?
Иль, может быть, когда-то здесь бессменным
Огнем был опоясан снежный круг?
Кто скажет! Кто поймет! – Теперь вокруг
Все кажется от века неизменным.
Раскинулась пустыня – и молчит...
Какая полнота настроения!

Шелли глубоко понимает все величие внешнего мира, он выносит ощущение внутренней его красоты, и, прочитав эти строки, мы не видим военного лагеря, перед нами – безграничная картина, полная первозданной красы, все контуры грандиозны, фантастическая стихийность бытия полна тайного значения, и только

где-то там, далеко, в глубине пейзажа, затерялся одинокий мыслитель, исполненный тихого восторга, точно халдейский мудрец, созерцающий звездное небо.

По целым часам Шелли мог сидеть где-нибудь на берегу моря или в роще, убранной в осеннюю золотистую листву; по целым часам он мог лежать на дне лодки и смотреть на голубое небо.

В глубокий полуночный час, когда природа живет своей особой таинственной жизнью, Шелли нередко уходил один бродить среди темного леса, исполненного шепота, – и потом с усмешкой объяснял своим друзьям, что он вызывает там дьявола. Но не к дьяволу были направлены его заклинания, а к великому, то кроткому, то грозному, Духу Природы, который, являясь на его зов, не напоминал ему, как Манфреду, о прошлых преступлениях, не пугал его, как Фауста, своим неземным величием, но нежно, как возлюбленного сына, принимал его на свое тихое лоно. С ним ежечасно говорила каждая былинка, к нему роняла в душу отблеск каждая звезда.

Везде в своем творчестве Шелли является пантеистом. Даже единственный недостаток шеллиевской поэзии – расплывчатость – всецело объясняется его постоянным пантеистическим настроением. Поэтическое творчество Шелли можно сравнить с свободным творчеством безыскусственных сил природы, затемняющих самое утонченное искусство. Он писал, потому что не мог не писать, и писал так, как ему писалось. Читая показания биографов относительно быстроты его творчества, можно серьезно поверить, что к нему являлась муза, чтобы нашептать эти гениальные ритмические сказки. Притом нужно принять во внимание, что ни у одного из английских поэтов, по крайней мере ни у одного из английских поэтов XIX века, нет такого разнообразия в стихотворной форме, как у Шелли. Он

выбирает самые прихотливые размеры, играет стихом с невообразимой легкостью, шутя звенит самыми нарядными рифмами, создает умышленные трудности и разрушает их с детской беспечностью. У Байрона, несмотря на всю силу и прелесть его стиха, гораздо меньше таких достоинств, а в «Каине» можно встретить даже строки, сделавшиеся знаменитыми по своей неудобочитаемости.

Итак, мы видели, что в отношении к природе Шелли и Байрон являются антиподами: Шелли сливается с ней, Байрон видит в ней только рамку, в которую он вставляет картину своей душевной жизни. Этот контраст не случайность, он логически проистекает из основного элемента того и другого поэта, логически соединяется с другими душевными разветвлениями, нисходящими и у Шелли, и у Байрона к этому главному корню. Основная черта Шелли, как в жизни, так и в поэзии, – абстрактность; основная черта Байрона – любовь к конкретному. Шелли везде и во всем – философ, теоретик; Байрон с начала до конца – протестант, практик. Бросая общий взгляд на жизнь обоих поэтов, мы видим это вполне ясно. Будучи теоретиком, Шелли отличается алмазной чистотой характера и таким исключительным бескорыстием, которое ставит его рядом с полумифическими руководителями религиозных настроений человечества; он выходит далеко за пределы обычного и остается непонятным для своего времени, с тем чтобы впоследствии блистать все ярче и ярче. Будучи практиком, Байрон отличается большим эгоизмом, постоянно примешивает к общим идеальным чувствам протестанта ощущения личных обид, лучше угадывает настойчивые потребности исторического момента и приобретает громадную популярность, но через каких-нибудь тридцать-сорок лет после смерти не имеет уже десятой доли того влияния, каким он

пользовался при жизни. Первое произведение, в котором сказался талант Байрона, «Английские барды и шотландские обозреватели», написано им в возрасте двадцати лет; оно явилось результатом уязвленного самолюбия и представляет ряд личных нападок. Это юношеский памфлет, предвестник гениального «Дон Жуана», лучшей сатиры девятнадцатого века. Первое произведение, в котором сказался талант Шелли, «Королева Маб», написано им также в двадцатилетнем возрасте и, будучи продиктовано самой чистой любовью к людям, представляет из себя беспощадное нападение на вековые несправедливости в соединении с золотыми снами о людском счастье. Мы узнаем здесь будущего автора «Феи Атласа», «Лаона и Цитны», «Освобожденного Прометея», этих поэтических фантазий и утопий. Нужно еще иметь в виду, что, когда Шелли создавал свою первую поэму, он был очень болен и думал, что ему уже недолго жить: двадцатилетний юноша, чувствуя над собой веяние смерти, ни на минуту не задумывается о собственной участи и грезит о счастье для других. Идеальная теоретичность Шелли особенно резко бросается в глаза, когда он выступает в роли практика. Отдавшись, например, агитаторской деятельности в Ирландии, он пишет воззвания к народу и раздает их, через своего слугу, на улице Дублина, решая по выражению физиономий, что тот или этот из прохожих представляет из себя благодарную почву для пропаганды. Байрон был бы неспособен на такой детски-наивный прием, он увидел бы его смешную сторону, и, с точки зрения практического деятеля, был бы совершенно прав. Но, кроме соображений реальной удобоисполнимости, Байроном руководило бы в данном случае еще и личное самолюбие, хоть слегка, хоть в виде налета. На самом деле, когда Байрон решил отправиться в Грецию, в поход, он прежде всего заказал

для себя и для своих друзей позолоченные шлемы с своим аристократическим девизом. Когда раньше, в Италии, он принимал участие в замыслах карбонариев, его пленяло не только основное, т. е. борьба со Священным Союзом, но и внешнее – конспиративный элемент. Это, конечно, мелочи, но микроскопические детали всегда характерны.

Но нигде контраст между Шелли и Байроном не сказался так рельефно, как в их отношении к женщинам. И действительно, отношение к женщине всегда является пробным камнем индивидуальных свойств мужчины, в особенности поэта, который более чем кто-либо может повторить мысль одного французского писателя: «без женщин начало нашей жизни было бы беспомощным, середина ее была бы лишена восторгов, а конец – утешений» (Jouy). Сколько сердец, сколько различных вариаций отношения к женщине. Лев Толстой ищет в ней чадолюбивую матрону, Бодлер видит в женщине злого духа, Гейне видит в ней гризетку, для Байрона она – источник красивого сладострастия, для Данте и Шелли она – отблеск божества.

Байрон сходился с многими женщинами, но любил более или менее серьезно лишь одну из них – графиню Гвиччьоли. Мисс Джен Изабелла Мильбанк, сделавшаяся леди Байрон, не возбуждала в блестящем красавце-поэте никаких особенно нежных чувств; он женился на ней совершенно опрометчиво, и одним из побудительных к этому браку мотивов – некоторые биографы полагают, главным мотивом – являлось то обстоятельство, что ньюстедтское поместье Байрона было расстроено, а у мисс Мильбанк было очень хорошее приданое. Шелли также женился опрометчиво, но его брак носил совершенно иной характер, он женился почти мальчиком на Гарриэт Вестбрук, дочери какого-то трактирщика, желая спасти девушку от

семейных притеснений и принимая на себя все тяготы бедности. Прославившись своим «Чайльд Гарольдом» и сделавшись первым человеком Лондона, Байрон тотчас же заводит многочисленные связи, ежеминутно меняя одну привязанность на другую. Сегодня он сходится с Каролиной Лемб, завтра с Клэрой Клермонт, потом с Марианной Сегати. В Афинах он вступает в мимолетную связь с героиней стихотворения «Зоя». В Венеции его роскошное палаццо на Большом канале превращается в гарем, где роль любимой одалиски играет Маргарита Коньи, байроновская Fornarina. Словом, в каждой женщине Байрон видит источник физических наслаждений, из каждой возлюбленной он делает любовницу. Только одна из этих многих, Тереза Гвиччьоли, несколько возвышается над общим уровнем, приучая в то же время и Байрона видеть в себе то, что видел в женщине Шелли, – вдохновительницу. Под ее влиянием Байрон бросает беспорядочную жизнь, идеализирует личность Терезы в типе Мирры, пишет «Марино Фальеро», «Двое Фоскари», «Пророчество Данте». Но и эта очаровательная итальянка вскоре надоедает ему, как все другие. Иначе и быть не могло. Кто в женщине видит только источник страсти, для того этот источник быстро иссякает.

Насколько иначе относится к женщине Шелли! Он видит в ней что-то заоблачное, призрачное; он ценит в ней тот вечный женственный элемент, который влечет нас ввысь и соприкосновение с которым заставляет лучших из нас говорить языком богов. Брачные связи Шелли были ошибкой, противоречащей общему характеру его индивидуальности. Безбрачие должно было бы гармонировать гораздо более с идеальными качествами автора поэмы «Эпипсихидион», этой совре-

менной «Vita Nuova»[7]. И действительно, мы видим, что первую свою жену Шелли вовсе не любит и видит в ней только друга; ко второй жене он охладевает, хотя никогда не перестает ценить ее. В то время как Байрон любил женщину только тогда, когда он обладал ею, или по крайней мере, когда стремился к обладанию (первая несчастная любовь), – Шелли любил женщину только тогда, когда он не обладал ею, и не то что любил, – это слово тускло в применении к Шелли, – посмотрите, как сам он говорит об этом.

Слишком часто заветное слово людьми осквернялось,
Я его не хочу повторять;
Слишком часто заветное чувство презреньем
встречалось,
Ты его не должна презирать.
И слова состраданья, что с уст твоих нежных сорвались,
Никому я отдать не хочу,
И за счастье надежд, что с отчаяньем горьким
смешались,
Я всей жизнью своей заплачу.
Нет того в моем сердце, что в мире любовью зовется,
Но молитвы отвергнешь ли ты?
Неудержно вкруг солнца воздушное облачко вьется,
Упадает роса на цветы,
Полночь ждет, чтобы снова зари загорелося око,
И отвергнешь ли ты, о мой друг,
Это чувство святое, что манит куда-то далеко,
Прочь от наших томительных мук?..

Окружая женщину таким благоговейным отношением, Шелли не стремится к обладанию, он видит в женщине музу, он несет ей свои лучшие думы и чувства. С Клэр Клермонт Шелли читает вместе бессмертные классические произведения, он посещает

[7] «Новая жизнь» *(ит.)*.

заключенную в монастырь графиню Эмилию Вивиани, посылает ей свои нежные песни, – она посылает ему в ответ букеты из монастырских цветов; красивую поэтическую мистрис Месн он олицетворяет в той воздушной нимфе, которую мы видим во второй части «Мимозы», но самой излюбленной его вдохновительницей является Джен Уилльемс, жена его друга, погибшего вместе с ним в море; в последние свои дни Шелли вместе с ней бродил в зеленых рощах Италии, и ей посвящена целая серия стихотворений «To Jane», образцы самой трогательной, самой благородной любовной лирики.

Судьба в последний раз оттенила контраст между Шелли и Байроном, когда послала к ним смерть. Байрон умер в борьбе за угнетенных греков. Его смерть окружает его ореолом, но в ней нет ничего таинственного. Смерть Шелли остается до сих пор загадочной и неразъясненной. Неизвестно, утонул ли он во время бури или был убит пиратами.

Я кончаю свою, быть может, слишком беглую характеристику.

Делая параллель между Байроном и Шелли, я не мог не коснуться некоторых отрицательных сторон в личности Байрона. Но, указывая на них, я только старался выяснить различие между двумя поэтами, а никак не набросить тень на одного из них. Гениальный человек не лишен права иметь недостатки. Не нам, блуждающим впотьмах, считать пятна на солнце: солнце светит целому миру – и мы ему благодарны. Отрицательные стороны Байрона совершенно тонули в массе благородства и великодушия; больше того – ими были обусловлены некоторые положительные качества его личности, сделавшие ее цельной и могучей.

Есть легенда. Небесные духи спускались на землю и проникались любовью к дочерям человеческим. Это

было преступно, но легенда гласит, что в то время были на земле исполины. Байрон был из таких.

Шелли вечно оставался среди небесных сфер, он был чистым, незапятнанным серафимом.

Но как бы то ни было, Шелли и Байрон оба мыслили, боролись и страдали. Они несли свои песни людям, они отдавали свои вздохи человечеству. Идя различными путями, оба они оправдывали изречение индийского поэта Калидасы: «Великие души похожи на облака; они собирают только для того, чтобы расточать».

1894

Шорох жути

Жаркое лето в Москве казалось мне всегда одним из самых мучительных несчастий. Всегда пыль, никогда свежесть. А жаркое лето и голодное – уже не только несчастие, но и страшное проклятие. Если же я прибавлю, что это было во второй половине июля в 1919 году и что мы наедались досыта, я, моя девочка одиннадцати лет и моя жена, лишь тогда, когда кто-нибудь из немногочисленных друзей, еще не совсем изголодавшихся, приглашал нас пообедать, пожалуй, слова столь обыкновенные, как «несчастие» и «проклятие», будут совсем лишены своей выразительности и четкой определенности.

Оставаться в Москве долее было нельзя. И от конца июля до осени и зимы совсем ведь недалеко. Была у нас надежда, что в подмосковном местечке, зовущемся Ново-Гиреево, нам будет легче покупать на скудные наши гроши и хлеб, и картофель у окрестных мужиков. Так нам говорил брат моей жены, живший там постоянно, бывший офицер, совершивший на нашем Северном фронте в 1915 или 1916 году, уж не помню, деяния довольно героические, а в 1919 году, как и в два предыдущие, не вступив в ряды Красной армии, все же состоял чем-то вроде военного советчика при каком-то военном учреждении. Он же, этот офицер не офицер, смеясь над нашими колебаниями, прибавлял: «Да плюньте вы на все свои страхи. Перебирайтесь в Ново-Гиреево. Я вам помогу нанять на год недорогую хорошую дачу, где и зимовать будет уютно». Мы решились.

Вторая половина июля. Я ее люблю еще с отроческих дней совсем по-особенному. Пред концом праздника веселье бывает особенно завлекательным. Пред тем как погаснуть, взлетающая ракета, разорвавшись, рассыпает в воздухе целые гроздья мгновенных световых расцветов. Пред тем как повеет прощальным

воздухом августа и сентября, природа в конце июля развивает всю мощь своей способности создавать из лесных, луговых и садовых цветов торжествующий красочный праздник.

– Ну, – сказал, встречая нас на маленькой железнодорожной станции, бывший офицер.– Решились. Не пожалеете. Идемте сейчас к нам кофе пить, и сегодня же я вас устрою.

Прямой, решительный и улыбчивый, он был для меня воплощенным «Добро пожаловать». Он умел не только первым бросаться в боевой огонь, его страстью стало, когда он перестал быть боевым офицером, устраивать кого-нибудь, кто беспомощен, да и так устраивать, что он мог, например, сапоги чужие починить, возделать великолепный огород, исправить лампу – на все руки мастер.

Он привел нас через час после нашего прибытия в некую дачу. Она стояла посреди большого сада, а кругом сада был лес. К нам вышла испуганного вида дама, впрочем, весьма приветливая, и, узнав о цели нашего посещения, сказала:

– Сейчас позову мужа.

Пришел высокий-превысокий, худощавый человек, обладатель дачи. Наш провожатый представил нас друг другу и назвал хозяина дачи «Господин Гвоздев», делая ударение на первом слове. Тот посмотрел на нас пасмурным, неуютным взглядом и произнес негромко, но с каким-то упорством:

– Гвоздёв.

Я в это мгновение смотрел на лицо госпожи Гвоздевой, но, словно повинуясь внутреннему толчку, вскинул свое лицо и посмотрел прямо в глаза этому человеку, внезапно шевельнувшему во мне чувство неизъяснимой глубокой неприязни. «А черт тебя

побери, – подумал я про себя, – Гвоздев или Гвоздёв, не все ли мне равно».

– Дачу мне не хочется сдавать, – сказал он.

– Видите ли, – отвечал за нас наш устроитель, – пожалуй, вам лучше ее все же сдать моим знакомым. Дача ваша, как я знаю, назначена к реквизиции. Значит, просто ее потеряете. А они вот хотят платить вам, и вперед. Подумайте, люди они тихие.

Человек, походивший на жердь, качнул головой, мотнул ею и вправо и влево, как тощая кляча, которую мучают слепни, и, кивнув на свою жену, сказал:

– Переговорите вот с ней. Мне все равно. Честь имею.

И, ни на кого не смотря, он вышел вон.

Госпожа Гвоздева вдруг просияла и заговорила голосом, в котором чувствовалось облегчение:

– Пожалуйста, я очень рада. Вот, посмотрите все. Если вам понравится, почему и не поселиться у нас. Не знаю, понравится ли.

Она провела нас по всем комнатам, их было немного. Кухня, коридорчик, столовая, две жилые комнаты. Это была половина всей дачи – на другой половине жили сами хозяева, она была отделена плотной стеной и никак с будущей нашей половиной не сообщалась. Потом хозяйка провела нас по саду, мы детски порадовались на деревья, и гряды, и кусты. Снова вернулись в дом, и соглашение было быстро достигнуто. Пока шел этот разговор, я, не принимая в нем никакого участия, отсел к сторонке, к окну, и с чувством радостного успокоения глядел на зеленые липы, на узорные кусты малины и смородины; мне казалось, что там, в Москве, осталось все темное и страшное, что так долго нас мучило, – еще захватим кусочек лета, и ясная будет осень, книги, работа, тишина, созерцание, бестревожность, счастье. И липы напоминали мне детство в родной

усадьбе. Но крупные розовые мальвы на высоких стеблях увели мой взгляд дальше. Около них были гряды, картофель, репа, морковь. Серая кошка перебежала через одну гряду и проворно шмыгнула в куст смородины. Оттуда через секунду вылетели с тревожным щебетом две-три пичужки. Мне стало неуютно. Серая кошка была не кошка, а кот, как я вскоре узнал, и кота этого я вряд ли когда забуду. В ту же минуту, когда кот удачно поохотился, к садовой калитке подошел из сада длинноногий Гвоздев и, чуть приоткрыв ее, боком, с неправдоподобным изгибом, словно уж, вылезающий из подполья, выскользнул на улицу и куда-то зашагал длинными шагами игрушечного картонного плясуна. Не понимая, что со мной, я почувствовал, что вся радостная картина июльского сада затянулась для меня легкой, но очень безрадостной тенью. Так бывает, когда сидишь на летнем лугу и молча любуешься на алые и желтые цветы, под Солнцем кажущиеся особенно радостными, но вдруг перед Солнцем пройдет и на минуту замедлится облачко. Те же цветы, но вот нет в них радости. Враждебное чье-то дыхание прошло по саду, и все краски потускнели. Мне припомнился, хоть смутно, но ощутительно, какой-то давнишний тяжелый сон о злом колдуне, который обладал властью молча, глазами, причинять живым существам зло.

– Кончай базар, – с усмешкой громко воскликнул Григорий В., наш офицер не офицер.– Идемте-ка домой да поедим хорошенько. Заживете здесь на славу.

И мы простились с госпожой Гвоздевой.

– Что это за чудище, этот обладатель дачи? – спросил я на улице нашего спутника.

– Да так. Не чудище, а чудак какой-то. Мало ли их всегда бывало у нас на Руси. Только вот теперь, по случаю революции и всеобщей перетасовки, они отовсюду повылезли на свет Божий. Был он раньше

состоятельным огородником, и садоводом, и куроводом, а сейчас более или менее вылетел в трубу. Отобрали у него все. У него тут, на другом конце Ново-Гиреева, была хорошая усадьба. Одних кур у него было свыше тысячи. И все – на одном дворе большом. Представляете, что за музыка там стояла в воздухе целый день. Сумасшедший дом, по-моему. А он это от страсти к курам и петухам организовал такую музыку. Даже и не из-за барышей, хоть барыши, конечно, были. Верблюды у него еще были. Успел вовремя продать в цирк Соломонского. К козочкам тоже у него пристрастие было. Теперь, как разорили, притих. Лицом мрачен, как холодная нечищенная сковорода. Зол не зол, никому дурного ничего не сделал, а всякий, кто о нем заговорит, торопится плюнуть да замолчать. Да вы на него не обращайте внимания. Он как коршун, который куропатку свою заклеванную не доел, прогнали – ну и зол. На вас охотиться ему никак не придется. Дом разделен на две половины, видели, никак они не сообщаются. Ни вы к ним в гости, ни они к вам. Живите себе на доброе здоровье.

И мы стали жить в окруженной садом даче в Ново-Гирееве.

Сперва было совсем хорошо. Упились верхушкою лета и золотисто-голубым сентябрем. Досыта нагулялись в окрестных лесах. По деревням походили. Кое-какую съедобу покупали. Хотели по малоденежью выменивать на хлеб кое-что. Ну, с этим дело не выгорело. Глянет этакая пригородная крестьянка на ботинки, скажем, два-три раза надеванные и почему-либо не пригодившиеся, или на отличную шаль, без которой мы могли обойтись, и скажет с великолепным презрением:

– Ботинки? Надеванные? Не видывали! Да у меня несколько пар ненадеванных есть. А шаль-то эта

вдовья. С шалью такой мне подождать надо. Вон поди-те к соседке. Она наверно ее купит.

И показывает из озорства на самую завалящую из-бенку, где, надо думать, к полночи черт с чертовкой в бесовскую свадьбу вступает. Отучились мы быстро от попыток предаться товарообмену. Покупали, когда деньги случались, хлеб, и картофель, и репу, и молоко. А то иногда и добрейший наш Григорий В. нас под-кармливал. Ничего. Дни проходили легко и светло, и работа моя шла своим порядком.

Хуже стало с наступлением октября. За краткой по-лосой дождей наступили суровые заморозки, и зима пришла, как будто что-то нежданное. С Гвоздевыми у нас неприятностей не было. Разве что жердеобразный хозяин, встретясь с моей девочкой в саду, сделал ей вы-говор, что, мол, по грядам изволите ходить и овощи мои топчете. Это были выдумки. Я раздражался и вступал с ним мимоходом в краткий словесный бой. Случа-лось как-то всегда так, что или моя жена появлялась вблизи, или его супруга показывалась на своем крыль-це. Дипломатический разговор немедленно прекра-щался, и длинные цепкие лапы Гвоздева принимались усердно копать землю или подчищать ветки на деревь-ях. В безмолвной его работе чувствовалась невысказан-ная ярость, и я всегда, отходя от угрюмца после такой беседы, думал, что не хотелось бы мне попасть в эти руки.

Стал нас также забижать серый кот. Он было совсем поселился у нас. Мы ему были рады, а он нам. При-кармливали его. Кот был вежливый. Не воровал, не ду-рил. Да не хватало ему, должно быть, того, что мы ему давали, а хозяева, с тех пор как он к нам повадился хо-дить, отреклись от него совсем и даже раза два сказали:

– Кот? Да он не наш. Владейте, пожалуйста. Толку от него никакого.

И вот мы владели этим котом и любовались его прыжками. Но однажды из кухни, когда наружная дверь была заперта и я сидел один в квартире и мирно переводил на русский язык гениальную драму своего испанского любимца Кальдерона «Волшебный маг», пропал преогромный кусок хлеба, точнее краюха. Случайно увидав это, я стал искать и звать кота. Его нигде не оказалось. Окна все давно были с двойными рамами. Я подивился на прожорливость и невообразимую ловкость кота, сел снова за работу и радостно писал стих за стихом. В кухне что-то стукнуло, упало. Я быстро прошел туда из своей комнаты. Около печки лежал на полу совок. Перед тем я видел его стоящим около печки. Проделки дрянного кота продолжаются. Ну, ничего. Вот без настоящего обеда останемся – это хуже. Раздался стук в дверь. Возвратились с прогулки и моя жена Елена, и моя дочь Мирра, а с ними наш кот. Я обомлел. Как же кот ухитрился пробраться на волю из запертой и всячески замкнутой дачи? Мы погоревали – не очень, впрочем, долго горевали, – о съеденном хлебе и решили, что за котом нужен глаз да глаз.

После этого случая словно злое колдовство приключилось с нашим котом. Еды было тогда в доме как раз много. Кормили его хорошо. А дурить он стал по-настоящему. То стакан в столовой летит со стола на пол. То бутылка с молоком перекувырнется. То исчезнет кусок какой или целый хлеб. Это стало нестерпимым. Поколебались-поколебались мы, решили его прогнать. Подождали еще несколько дней. Все то же. С таким котом насидишься голодным. Скрепя сердце я вынес его в сад и выпустил. Пусть его отправляется опять к своим законным хозяевам. Они его научат скромности. А мы ни людей, ни зверей ничему научить не умеем. Кот весело попрыгал по оснеженным грядам,

насторожил уши, поставил стойком свой длинный, гибкий хвост и весело ринулся через забор на улицу.

Прошли сутки. Мы, уж казалось, и не помнили его. У хозяев, конечно, приютился опять. Нет, вечером появился на подоконнике, снаружи, около моей комнаты и стал жалобно мяукать и проситься к нам. Не пущу. Не пустим. В последний раз его художествами полетела на пол зажженная лампа. Хорошо еще, что не большая лампа с моего письменного стола, а маленькая кухонная, до которой он Бог весть как добрался, когда никого в кухне не было. Услышали стук, прибежали в кухню – лампа лежит бочком на полу, при паденье потухла, и керосин из нее на пол покапывает. А кот стоит неподалечку, смотрит на лампу во все глаза, словно в первый раз увидал, с видом невинным и как ни в чем не бывало.

Помяукал-помяукал наш кот и скрылся. Слава Богу. А то моя сердобольная к зверям девочка Миррочка начала бы приставать и ко мне, и к маме, чтобы мы пустили кота. Верно, ушел к Гвоздевым. Мы спокойно поужинали, девочка улеглась спать, я стал читать Елене вслух переведенные мною за день сцены из «Волшебного мага». Было уже одиннадцать часов ночи. Мы говорили о прочитанном и вспоминали наши путешествия по Испании и в странах, далеких от Европы. Вдруг нам показалось, что в кухне что-то стукнуло. Уж не кот ли непостижимым образом пробрался туда? Елена встала и пошла в кухню, а я остался у своего стола и стал перелистывать старинный том драм Кальдерона.

– Ничего и никого тут нет, – воскликнула в кухне Елена.– Все тут в порядке.

И я услышал, как она стала ставить самовар. Но в ту же минуту я побледнел и застыл. Окно в моей комнате тут и там было покрыто белыми морозными узорами,

но они больше были только легким снеговым налетом, а внизу, у подоконника, их и совсем не было. Свет лампы ярко озарял окно, и я увидел, что на подоконнике, прижимаясь злополучной своей звериной мордочкой к холодному стеклу, выгнанный нами кот стоял на задних лапах, передними лапами как руками царапал по стеклу, пытаясь – так мне показалось – открыть окно, и глазами, мучительно-внимательными, а вместе с тем как бы и слепыми, старался рассмотреть, кто там за холодной стеклянной преградой, в недоступной для него комнате. Прежде чем я успел опомниться от своего ошеломления, – увидал ли он меня или пришел в отчаяние от мороза и одиночества, – но я услышал за окном раздирательный кошачий вопль. Если бы кот умел выть, как малый пес или малый волк, этот кошачий вопль нужно и можно было бы назвать воем. Долгое завывающее непрерывное мяуканье вырывалось из горла кота, прерываясь лишь на секунду, и с новой силой, с новыми переливами бросало в ночной морозный воздух ужаснувшую меня жалобу. Жена моя прибежала из кухни с испуганным лицом. Мы невольно схватили друг друга за руки и так подошли к окну вплоть. Кот продолжал стоять на задних лапах, звал и молил, отчаивался и звал, призывал и молил. В глазах его было что-то, что делало их похожими на глаза человека или духа. Ни тогда, ни сейчас я не смог бы объяснить, почему нам обоим, и мне и Елене, было невыносимо жутко, но, захваченные жутью, мы не пытались стряхнуть ее ни словом, ни движением. Сколько времени, сколько минут или секунд длилась эта пытка, я не могу определить сейчас, потому что не мог бы этого определить и тогда. Внезапно кот замолчал, через мгновение издал короткий вопль, спрыгнул с подоконника наземь и исчез в ночи. Мы не пошли в сад. Мы не стали его звать и отыскивать. Это было злое-злое дело.

Мы сказали друг другу, заминая тягостное смущение души:

– Он, верно, побежал к хозяевам. Он там проберется к ним на крыльцо. Звери умеют устраиваться всегда.

Это было непоправимо злое дело. Но мы тогда еще не знали, что кот ни в чем не виноват. Как могла бы прийти к нам странная мысль, что во всех случаях падения или исчезновения вещей мог быть виноват кто-то другой могло быть виновато что-то совсем иное?

Когда на другой день утром мы пошли гулять, мы увидали на одной из занесенных снегом гряд, неподалеку от калитки, замерзшего кота. Он лежал на спине, со скорченными, но вытянутыми вверх и вниз лапами, и поразительно напоминал всем своим видом вчерашнее свое полночное явление у яркого замерзшего замкнутого окна.

Недели за три перед этим в жизни нашей произошли два события неодинаковой важности, но оба близко нас касавшиеся. Первое – наш близкий друг и родственник, бывший офицер Григорий В. был арестован по обвинению вздорному, но грозному – участие в только что разоблачившемся военном заговоре, некоторые участники которого жили в Ново-Гирееве, – участники не участники – кто об этом что знал? – скажем просто, обвиняемые. Как бы там ни было, но Григорию В. грозил расстрел. Второе событие – наш угрюмый домовладелец, одним своим видом отравлявший нам жизнь, Гвоздев, на неопределенное время отбыл на Урал, и жена его до поры до времени умалчивала о причине его странствия. Казалось, последняя наша связь с внешним миром, как дружеская, так и вражеская, порвалась. Мы были в заколдованной зимней сказке. Ошеломленные, притаившиеся, ждущие несчастия, какие-то в телесной своей жизни как бы невесомые, словно поздние осенние болотные туманы, что ползут не

ползут, стоят не стоят, все же немного сдвигаются и своим передвижением видоизменяют лик окрестных замерзших ракит.

Все тогда было обмершее, и люди, и дома, и природа кругом, и безучастное, бесцветное небо. Мне припоминается сейчас один из дней, каких было много, но я его запомнил особенно. Серые сумерки, оцепенелые, перешедшие мало-помалу в холодную, белесоватую ночь. Я долго шел по мало мне любезным и приятным улицам в некую лавку, я пробирался, чтобы попытаться достать керосину. Со мной была моя девочка Мирра, и только ее детская жизнерадостная говорливость позволила мне не пасть духом, когда в лавке мне отказали и послали к какому-то рабочему, а тот поиздевался надо мной, прежде чем соизволил продать бутылку керосину. Пустяк, но жуткий. Всюду белесоватая мгла, завладевающая и телом и душой.

Через день после гибели кота вернулся Гвоздев. Приехал он грязный и черный, как святочный черт, и столь же довольный. С Урала привез он пять отличных коз. Зачем козы? Известно, для молока. Может быть, и еще зачем-нибудь, не знаю, не вникал. Но господин Гвоздев, поместив своих коз в полуподземную клеть, куда никто не входил, кроме него, был счастлив обществом этих животных чрезвычайно, вползал к ним в подземелье, как уж, и выползал оттуда не скоро. Что он мог там делать, трудно постичь, и мы о том не размышляли за ненадобностью. Но, увидав его случайно в тот миг, когда после звериного своего собеседования с козами он выползал на свет Божий, я всегда поражался на выражение его лица. Грязный, в пыли и в соре, с соломой и сеном в волосах, он хранил на противном своем и злом лице блаженную улыбку идиота. Блаженство его быстро кончалось от соприкосновения с свежим воздухом и посторонними людьми. Каждая встреча с

ним в саду или около дома на улице означала какую-нибудь поганую шпильку с его стороны. Ни я, ни мои ему не уступали, и на одно злое слово находились и два, и три слова в ответ. Но утешительного в этом ничего не было. И так как единственный наш заступник в Ново-Гирееве был схвачен и сидел на Лубянке, проклятая жердь совалась нам под ноги без всякой надобности часто, а в мерзких глазах светилось довольство и злорадство.

На другой день после приезда нашего домохозяина, около четырех часов вечера, когда медленно наползают враждебно-неуютные серые зимние сумерки, мы все – я, Елена и Мирра – были дома. Елена была в кухне и готовила обед. Миррочка, страстная любительница чтения, лежала на своей постели в комнате, которая служила спальней и ей и ее матери. Я, с своей стороны, тоже лежал на своей постели в комнате рядом, что была мне и спальней и рабочим кабинетом, и тоже читал, но не роман Майн Рида, как Миррочка, а впервые Евангелие от Иоанна по-гречески, великолепный том ин-кварто, в пергаментном переплете, данный мне на время из университетской библиотеки. Было мирно и уютно. Мерные, хлопотливые звуки, доходившие через небольшой коридор из кухни, не нарушали тишины, а только делали ее более четкой, уютной и размеренной. Неожиданно в другой комнате, что была с моею рядом, в столовой, с легким стуком упал на пол стул. Как будто кто-то, бесшумно проходя, задел его и уронил не сразу и не с размаху. Я удивленно притаился и стал прислушиваться. Елена в кухне, думая, что это я что-то громко переставил, продолжала свою стряпню. В воцарившейся опять тишине я четко услыхал, как Миррочка в своей комнате перевернула, прошелестев, страницу романа. Я почувствовал, что через голову мою проходит не телесное, духовное, совершенно бестелесное веянье, и в

этом веянье что-то неизъяснимо безумящее. Мои мысли были спокойны и ясны, они были всецело в Божественно-мудрых строках ни с чем несравнимой высокой повести. Но в то же время неопределенное ощущение безымянной жути, безвестно откуда идущей, неведомо куда проходящей, слегка задевало меня, и мне стало трудно дышать. Я приподнял голову от подушки, продолжая лежать. В столовой два раза раздался глухой, короткий стук, как будто кто-то переступал по полу не на ногах, а на культях. И тотчас вслед за этим с обеденного стола упала на пол забытая там Миррочкой непереплетенная хрестоматия, и страницы ее зашелестели, рассыпаясь в разные стороны. Я вскочил, как ударенный ножом, два шага, я был в столовой. Никакого существа. Никого. Ничего. Только одна страница из упавшей на пол книги еще шевельнулась передо мной.

То, что я рассказываю, я рассказываю так, как это было. То, что пришло к нам в нашу убогую замученную жизнь и чему объяснения я не нашел и доселе, повторило свое знобящее жизнью и сковывающее непреодолимым страхом явление, многоликое, многоразное, несосчитанное, несчитанное, упорно повторяющееся, всегда причиняя нам ущерб, делая малопомалу самую жизнь в этом странном доме невозможной, всегда грозя, что в миг тишины будет в той или иной комнате падение предмета, всегда угрожая чем-то еще бóльшим, преследующим и неустранимо-враждебным.

Мы бывали много раз в одной комнате втроем. В запертом доме. Одна входная дверь, она заперта на ключ и на крючок. Заперты все форточки в окнах с двойными рамами. Наша половина отделялась от хозяйской половины дома глухой стеной, настолько плотной, что голоса от них к нам или от нас к ним доходили лишь неясно, если кричать во весь голос. А

кричать в свое время пришлось. И вот в то время, как мы в столовой пьем все трое чай, в кухне с дребезжаньем падает с подставки на пол пустое ведро. Мы все бежим в кухню. Там никого нет. В то же мгновение в столовой, откуда мы только что выбежали, падает со стола и разбивается вдребезги чашка. Мы гонялись как безумные за невидимым врагом. Но он, если это был он, а не какое-то непостижимое нечто, безглазое, безрукое, безногое, но видящее и слышащее малейший шепот, и перебегающее с легкостью ветра куда захочет, – он, незримый несодружественник, издевался над нами с изобретательностью всегда новой, и досягнуть его было нельзя. А после такой безумной охоты за незримым мы, все трое, в особенности я и Елена, впадали в жалкое отчаянье. Мирра странным образом была душевно сильнее и спокойнее, чем мы. Она даже не раз утешала нас. А иногда, когда ее не было дома, то есть она была в доме, где квартировала семья Григория В., или когда она уже крепко спала, я с Еленой после двух часов напряженного выслеживанья и преследованья неуловимой вражьей силы, мы садились как обиженные дети ко мне на кровать, брали друг друга за руки – это была последняя самозащита – и плакали горькими слезами.

Посуда билась, предметы ломались, бутылки с молоком или с керосином падали со стола на пол и разбивались. Все увеличиваясь в злокозненности, эти явления становились все более угрожающими. Кипящий самовар, когда Елена только что повернулась спиной к нему, чтобы что-то взять, упал со всего размаху на пол и обварил ей ногу. Большая декоративная тумба – подставка для цветов, стоявшая в столовой, когда Елена и Мирра проходили мимо нее в коридор, ринулась им вослед и больно ушибла девочку. Но не эти случаи, не такие, были для нас самыми жуткими.

Всего страшнее и невыносимее были немедленные ответы действием на мой сговор о чем-нибудь с Еленой, сговор на ухо, еле слышным шепотом. Больше того – ответ на безглагольную, немую мысль.

Мы ходили к Гвоздевым и расспрашивали, что это может значить. Они смеялись над нами и говорили, что мы выдумываем. Мы указали на количество побитых и поломанных вещей. Хозяин махнул рукой и, ограничившись безмолвной усмешкой, ушел к своим козам. А хозяйка, с некоторого времени ставшая к нам очень неприязненной, хотя мы аккуратно платили ей ежемесячную плату и всегда были с ней вежливы, сказала со злорадством:

– Да вы посмотрите хорошенько за вашей девочкой. Она у вас чудна̀я. Это все она делает.

Негодяйка! Она знала, чем наилучше отравить измученную душу. Я несколько раз невольно следил за Миррой. Дикий вздор. Я помню, раз, когда Елена была в кухне, а я в своей комнате, я, услышав подозрительный шорох в коридоре, тихонько подошел к стене, отделявшей мою комнату от комнаты Мирры, и стал смотреть в тонкую щелку в стене, что она делает. Она лежала на постели, около подушки на стуле стояла свеча. Миррочка с самозабвением читала какую-то книгу. В то время как я смотрел на нее в щелку, в столовой, около самой моей двери, со всего размаху ударился об пол стул.

Когда раз, после напрасных ожиданий нескольких недель, прачка принесла большой запас чистого белья, мы расплатились и по уходе ее заперли выходную дверь. Миррочка сидела в столовой, читала и пила чай. Мы положили всю огромную кипу белья на кушетку в спальне Елены и Мирры. Вышли из нее, и в коридоре я, наклонившись к уху Елены, тихохонько шепнул ей:

– Войдем опять в твою спальню и осмотрим всю комнату.

Мы вошли, посмотрели под кроватями, освидетельствовали все предметы, снова, в сотый раз, посмотрели, нет ли каких-нибудь дыр или щелей в углах на полу. Вышли в коридор. Я опять шепнул Елене:

– Войдем еще раз, я не проверил, заперты ли форточки.

В этой комнате было большое итальянское окно, справа и слева, вверху, по форточке. Я сам проверил их. Они были заперты. Я отпер их и снова запер. Мы вышли в столовую, замкнув комнату на ключ. Мы не успели прикоснуться к нашему чаю, как в только что оставленной нами комнате что-то рухнуло с таким грохотом, как будто упал большой чугунный предмет. Мы бросились все трое в ту комнату, и я поистине замер. Все белье валялось в беспорядке на полу, и это белье-то прогудело чугунным гудом. Обе форточки сверху окна были настежь распахнуты. Узкие форточки, через которые не смог бы ни войти, ни выйти даже наш погибший кот. А я его в ту минуту вспомнил, и вспомнил его предсмертное мучение, и вряд ли часто в жизни я испытывал такую острую душевную боль, как в ту минуту.

И еще один случай. Я привез Елене и Мирре из Москвы, куда ездил к издателю за деньгами, краюшку белого хлеба и случайно мною раздобытое яблоко. Куда спрятать эти вещи? Мы обсуждали это с Еленой. Мы решили спрятать их в висящий на стене в столовой небольшой резной деревянный шкапчик, где хранились заветные – фамильная драгоценность – хрустальные стаканчики. На этот шкапчик еще ни разу никак не покушалась незримая злая сила. Объясняясь друг с другом даже не шепотом, а знаками, мы решили положить хлеб и яблоко в стенной шкапчик. Когда через несколько минут мы вышли в коридор, чтоб одеться и

выйти на воздух, шкапчик сорвался со стены и упал на пол. Когда мы подбежали к нему из коридора, дверца шкапчика была открыта, стаканчики все целы, ни хлеба, ни яблока не оказалось нигде.

Как гаснет тусклая заря, длинная, долгая, невеселая зимняя заря, так день за днем и ночь за ночью вся душевная сила была из нас испита. Так больше жить было нельзя. Да и невозможно уже было оставаться в этом доме. Вся почти посуда была перебита.

Я снова поехал в Москву. Купить еды. Мужики ничего больше нам не давали и за деньги. Нам несколько помогали семья В. и еще знакомая семья Р., о которой скажу сейчас. Когда я возвращался из Москвы, поезд, на котором я ехал, стал на промежуточной станции, и нам, пассажирам, сказали, что, может быть, он пойдет дальше завтра, а может быть, и дня через три либо четыре. Пассажиры пошли пешком кто куда. Я – верст за двенадцать в Ново-Гиреево. Добравшись, измученный, часов в девять или в десять ночи, я добрел до своей злополучной дачи и нашел квартиру нашу запертой снаружи, на двери висел замок. У хозяев в окнах была тьма. Полный тревоги и недоумения, я постучал к Гвоздевыми дважды и трижды. Они не ответили. До знакомых Р. было ближе всего. Я решил пойти туда, не там ли мои. Семья Р. была семья еврейская и состояла из пяти очень милых и добрых сестер, отлично говоривших по-русски и охотно делившихся с нами, когда у них самих что было, и хлебом, и молоком. Кроме этих девушек, была и старуха-мать, вдова раввина, не говорившая по-русски почти ни слова. Я постучался. Мне не сразу отперли. Вышла со свечой старуха и провела меня в комнаты, молча. Все девушки были где-то на вечере. С трудом мы объяснились со старухой.

– Случилось, – сказала она, смотря на меня жутко и мрачно.

– Что случилось? Никакого несчастья с моими?

– Случилось, – повторила она.– Там никто-никого больше – ушли.

Я бросился к В.Меня ждала и радость, и удивительная повесть. Меня встретил Григорий В., счастливый и смеющийся. Его выпустили из тюрьмы. А на рассказы наши о вражьей силе и на рассказ Елены о том, как она ушла из дому, он, не веря ничему, лишь посмеивался.

– Изнервничались вы, господа, – говорил он.

Конечно, изнервничались. Но при чем тут нервы? Или у разбивающихся чашек и бутылок и у проломленного самовара тоже нервное расстройство? Или от расстройства чувств и от умопомрачения произошло в заклятых комнатах, где мы мучились, все то, что случилось за сутки моей поездки в Москву? Елена и Мирра тоже были со мной в Москве, но вернулись в тот же день к вечеру, а я остался ночевать в негостеприимной московской квартире. Как только наступили сумерки, Гвоздев выполз от своих коз и отправился чай пить с своей благоверной. А на нашей половине дома началось падение предметов, то в одной комнате, то в другой. Это продолжалось, с небольшими перерывами, до ночи. Вся остававшаяся посуда была перебита до последней чашки и тарелки. Ничего не оставалось делать, как лечь спать. К тому дело и шло, но со стола полетел на пол и погас ночник. Спичек как на грех не оказалось больше ни одной. Утварь и мебель с грохотом начали летать из комнаты в комнату. Объятая волнением Елена стала барабанить руками в стену к хозяевам и кричать, чтоб они принесли свет. Они хранили подлое молчание. Полет предметов продолжался. Елена снова сильно постучала в стену и крикнула, что, если хозяева тотчас же не придут, она выйдет на улицу, позовет соседей и расскажет обо всем. Тогда чертоликий Гвоздев и его лицемерная супруга пришли и принесли спичек.

Никакого изъяснения совершившемуся они не пытались давать. Впрочем, полет предметов прекратился тотчас же, как хозяева пришли со спичками и зажгли свет.

На другой день ожидали к сумеркам меня, но меня не было. Мой поезд не отходил и не отходил. Публика ждала, и я в том числе. Наконец, с двухчасовым запозданием поезд тронулся, на полдороге остановился, и мне пришлось дойти пешком. А на квартире в мое отсутствие опять началась бешеная пляска предметов. Тяжелая дубовая подставка, о которой я говорил, пролетела через столовую и ударила по спине шедших в мою комнату Елену и Мирру. Силы удар был значительной, боль очень большая, но она прошла через минуту бесследно, и ни ссадин, ни синяков от удара не осталось. Елена решила бежать из дому, захватив только одну драгоценность – мою пишущую машинку. Она сказала Миррочке:

– Держи лампу обеими руками, чтобы у тебя ее не выбили из рук, а я упакую машину.

Едва она принялась за это, стулья начали падать во всех комнатах. Кувшин, наполненный водой, взлетел на полтора аршина в воздух и рухнулся с грохотом.

– Вы хотите, чтоб мы ушли, – воскликнула Елена, обращаясь к незримым. Мы уходим. Я понимаю, я понимаю вас! Перестаньте! Мы уходим!

Лихорадочно, дрожащими пальцами она стала надевать на машинку футляр. Мирра стояла около нее, крепко держа обеими руками лампу. В эту минуту книги на моем столе вместе со скатертью начали сползать, и маленькие карманные словарики начали падать на пол с таким чугунным гулом, как будто это были большие котлы. Схватив машину, Елена побежала вон из дому. Мирра пред ней. Лампу она успела поставить у двери и погасить. Последнее, что два эти убегающие существа

видели, это жуткое зрелище зеркала в спальне. Заветное зеркало, большое, сорвалось с комода, перелетело через всю комнату и с грохотом упало стеклом ниц на умывальное ведро. Беглянки выметнулись из крыльца, заперли дверь на замок, забежали на минутку, чтоб рассказать о случившемся, к Р., и от них отправились к В.Вскоре подоспел к В. и я. Мы переночевали у своих родственников.

Когда мы шли на другой день утром в нашу дачу за вещами, Григорий В. по дороге все время смеялся над нами и шутил. Мало ли каких страхов он на войне перевидал. Да ведь он и не верил нам. Когда дверь была отперта и мы вошли в дом, военный герой Северного фронта сразу перестал смеяться и замолчал. Молчание было длительным и наконец разрешилось малословной формулой В.:

– Ммм... Да... Это...

Но что означало это «это», осталось невыясненным. Наше обиталище являло картину полного погрома. Все, что могло разбиться и сломаться, было разбито и сломано. Самое странное – это была судьба заветного зеркала. Как и я, Елена относится с суеверным страхом к разбитию зеркала. Не раз наше суеверие оправдалось. Думая о чьей-то грозящей смерти, Елена подошла к зеркалу, лежавшему ничком на железном ведре. Она перевернула его. Зеркало было цело, и на нем не было ни единой царапины.

Поезд, на котором я ехал и не доехал из Москвы в Ново-Гиреево, был надолго последним. Эта железная дорога стала до весны. Через два дня после конечного разгрома я, Елена и Миррочка, мы втроем, ушли в Москву, волоча на себе каждый по тяжелому тюку, белье и книги. Под резким ноябрьским ветром мы шли, полуумирая от усталости, до самой ночи. Когда, наконец, около полночи мы проходили по Арбату к Большому

Николопесковскому переулку, к своей квартире, мне казалось, и всем нам казалось, что мы давно умерли и что это в ночном полумраке идут три шаткие привидения.

Елена говорит мне:

– Почему ты считаешь, что все это было действие неведомой вражьей силы? Я думаю, что это была сила благая. Она, как детей, пребывающих там, где им быть не должно, выгнала нас из места гибели. Ведь мы бы за зиму умерли в Ново-Гирееве от голода. А бежав в Москву, мы перетерпели впроголодь зиму и весну и в начале лета смогли выбраться за границу. Это была сила благая.

Мне это изъяснение кажется слишком философическим и добрым. Елена говорит еще, что вот это сползание скатерти с книгами с письменного стола, что превратилось в гул чугуна, это превращение шороха жути в гуд, а также полет зеркала через всю комнату, было самым страшным из пережитого. Для меня самое страшное прикосновение жути заключается в немедленном вещественном ответе на мою тайную, не сказанную словами, не высказанную полностью даже в уме мысль. Распахнутые форточки, которые были прочно закрыты и заперты. Что-то вылетевшее в эти зияющие форточки. А может быть, и снова прилетевшее и вот тут где-то смотрящее на нас незримым, безглазым лицом. Способность видеть без очей.

И много раз ко мне в жизни приближалась Смерть. Ничего в этом нет страшного. А жуть падения стула на пол, когда никого нет в комнате, так остро поразила наши чувства, что уже до самой смерти своей, до последнего часа, я не забуду, как смятенно-беспомощно в душе потеряешься, когда вдруг почувствуешь, что ты не один, когда ты один.

Капбретон. 1928, 27 мая

Элементарные слова о символической поэзии

Если вы, отрешившись от наскучившей вам повседневности, одиноко сядете у большого окна, перед которым, как прилив и отлив, беспрерывно движется толпа проходящих, вы через несколько мгновений будете втянуты в наслаждение созерцания и мысленно сольетесь с этим движущимся разнообразием. Вы будете невольно изучать, с той быстротой, какая дается лишь возбуждением, этих, на мгновение возникающих, чтобы тотчас же скрыться, знакомых незнакомцев. В мимолетных улыбках, в случайных движениях, в мелькнувших профилях, вы угадаете скрытые драмы и романы, и чем больше вы будете смотреть, тем яснее вам будет рисоваться незримая жизнь за очевидной внешностью, и все эти призраки, которым кажется, что они живут, предстанут перед вами лишь как движущиеся ткани, как созданья вашей собственной мечты. Они все наконец сольются в один общий поток, управляемый вашей мыслью, и, восприняв красоту и сложность вашей души, образуют с вами одно неразрывное целое, как радиусы с центром. Мир станет фантасмагорией, созданной вами, потому что вы слишком долго и пристально глядели на неистощимый поток людей, сидя одиноко, у большого окна.

Между тем, если бы вы находились сами в этой толпе, принимая равноправное участие в ее непосредственных движениях, неся ярмо повседневности, вы, пожалуй, не увидели бы в этой толпе ничего, кроме обыкновенного скопления народа, в определенный час, на определенной улице.

Таковы две разные художественные манеры созерцания, два различных строя художественного восприятия – реализм и символизм.

Реалисты всегда являются простыми наблюдателями, символисты – всегда мыслители.

Реалисты схвачены, как прибоем, конкретной жизнью, за которой они не видят ничего, – символисты, отрешенные от реальной действительности, видят в ней только свою мечту, они смотрят на жизнь – из окна. Это потому, что каждый символист, хотя бы самый маленький, старше каждого реалиста, хотя бы самого большого. Один еще в рабстве у материи, другой ушел в сферу идеальности.

Две различные манеры художественного восприятия, о которых я говорю, зависят всегда от индивидуальных свойств того или другого писателя, и лишь иногда внешние обстоятельства исторической обстановки соответствуют тому, что одна или другая манера делается господствующей. В эпоху 16-го и 17-го века, почти одновременно, два различных гения явились живым воплощением обеих литературных манер. Шекспир создал целый ряд гениальных образцов реальной поэзии, Кальдерон явился предшественником наших дней, создателем драм, отмеченных красотою символической поэзии. Конечно, национальные данные того и другого писателя в значительной степени предрешали их манеру творчества, Англия – страна положительных деяний, Испания – страна неправдоподобных предприятий и религиозных безумств. Но историческая атмосфера, в смысле воздействия на личность, была полна как в Англии, так и в Испании, однородных элементов: национального могущества, индивидуального блеска и грез о всемирном господстве. Притом же, если брать совершенно однородную обстановку, можно указать, что в одной и той же Испании одновременно существовал реалист Лопе де Вега и символист Кальдерон, в одной и той же Англии жили одновременно реалист Шекспир и декадент Джон Форд.

Совершенно таким же образом и в течении 19-го века мы видим одновременное существование двух противоположных литературных направлений. Наряду с Диккенсом мы видим Эдгара По, наряду с Бальзаком и Флобером – Бодлера, наряду с Львом Толстым – Генриха Ибсена. Нельзя, однако, не признать, что чем ближе мы к новому столетию, тем настойчивее раздаются голоса поэтов-символистов, тем ощутительнее становится потребность в более утонченных способах выражения чувств и мыслей, что составляет отличительную черту поэзии символической.

Как определить точнее символическую поэзию? Это поэзия, в которой органически, не насильственно, сливаются два содержания: скрытая отвлеченность и очевидная красота, – сливаются так же легко и естественно, как в летнее утро воды реки гармонически слиты с солнечным светом. Однако, несмотря на скрытый смысл того или другого символического произведения, непосредственное конкретное его содержание всегда закончено само по себе, оно имеет в символической поэзии самостоятельное существование, богатое оттенками.

Здесь кроется момент, резко отграничивающий символическую поэзию от поэзии аллегорической, с которой ее иногда смешивают. В аллегории, напротив, конкретный смысл является элементом совершенно подчиненным, он играет служебную роль и сочетается обыкновенно с дидактическими задачами, совершенно чуждыми поэзии символической. В одном случае мы видим родственное слияние двух смыслов, рождающееся самопроизвольно, в другом насильственное их сочетание, вызванное каким-нибудь внешним соображением. Аллегория говорит монотонным голосом пастора, или шутливо-поучительным тоном площадного певца (разумею этот термин в средневековом смысле).

Символика говорит исполненным намеков и недомолвок нежным голосом сирены, или глухим голосом сибиллы, вызывающим предчувствие.

Символическая поэзия неразрывно связана с двумя другими разновидностями современного литературного творчества, известными под названием декадентства и импрессионизма.

Я чувствую себя совершенно бессильным строго разграничить эти оттенки, и думаю, что в действительности это невозможно, и что, строго говоря, символизм, импрессионизм, декадентство суть ничто иное как психологическая лирика, меняющаяся в составных частях, но всегда единая в своей сущности. На самом деле, три эти течения то идут параллельно, то расходятся, то сливаются в один поток, но, во всяком случае, они стремятся в одном направлении, и между ними нет того различия, какое существует между водами реки и водами океана. Однако, если б непременно нужно было давать определение, я сказал бы, что импрессионист – это художник, говорящий намеками субъективно пережитыми и частичными указаниями воссоздающий в других впечатление виденного им целого. Я сказал бы также, что декадент, в истинном смысле этого слова, есть утонченный художник, гибнущий в силу своей утонченности. Как по называет самое слово, декаденты являются представителями эпохи упадка. Это люди, которые мыслят и чувствуют на рубеже двух периодов, одного законченного, другого еще не народившегося. Они видят, что вечерняя заря догорела, но рассвет еще спит где-то за гранью горизонта; оттого песни декадентов – песни сумерек и ночи. Они развенчивают все старое, потому что оно потеряло душу и сделалось безжизненной схемой. Но, предчувствуя новое, они, сами выросшие на старом, не в силах увидеть это новое воочию, – потому в их настроении,

рядом с самыми восторженными вспышками, так много самой больной тоски. Тип таких людей – герой ибсеновской драмы, строитель Сольнес: он падает с той башни, которую выстроил сам. Философ декадентства – Фридрих Ницше, погибший Икар, сумевший сделать себя крылатым, но не сумевший дать своим крыльям силу вынести жгучесть палящего всевидящего солнца.

Глубоко не правы те, которые думают, что декадентство есть явление реакционное. Достаточно прочесть одно маленькое стихотворение Бодлера, «Prière», чтобы увидеть, что здесь мы имеем дело с силой освободительной.

Хвала великому святому Сатане!
Ты в небе царствовал. Теперь ты в глубине
Пучин отверженных поруганного ада.
В безмолвных замыслах теперь твоя услада.
Дух вечно-мыслящий, будь милостив ко мне,
Прими под сень свою, прими под древо знанья
В тот час, когда, как храм, как жертвенное зданье,
Лучи своих ветвей оно распространит
И вновь твое чело сияньем осенит.
Владыка мятежа, свободы и сознанья!

Равным образом глубоко заблуждаются те, которые думают, что символическая поэзия создана главным образом французами.

Это заблуждение было обусловлено несправедливой гегемонией французского языка, благодаря которой все, что пишется по-французски, читается немедленно большой публикой, между тем как талантливые и даже гениальные создания, написанные по-английски, по-русски или на одном из скандинавских языков, до последнего времени ждали десятки лет,

чтобы войти в широкое русло и занять определенное место в числе произведений, читаемых тысячами.

Подчеркиваю этот факт: все, что было создано гениального в области символической поэзии 19-го века, за немногими исключениями, принадлежит англичанам, американцам, скандинавам, немцам, не французам.

Вот имена наиболее выдающихся символистов, декадентов и импрессионистов: – в Англии: Вильям Блэк, Шелли, Де Куинси, Данте Россетти, Теннисон, Суинберн, Оскар Уайльд; в Америке: величайший из символистов, Эдгар По и гениальный певец личности Уолт Уитмен; в Скандинавии: Генрих Ибсен, Кнут Гамсун и Август Стринберг; в Германии: Фридрих Ницше и Гауптман; в Италии: Д'Аннунцио; в России: Тютчев, Фет, Случевский; в Бельгии: Метерлинк, Верхарн; во Франции: Бодлер, Вилье де Лиль-Адам, Гюисманс, Рембо (Надо назвать также Верлена и Малларме, но их слава так преувеличена, что о них даже неприятно упоминать: в литературной перспективе они занимают место им неподобающее.).

Первым символистом 19-го века, первым и в смысле хронологическом и в смысле крупных размеров писательской индивидуальности, был американский поэт Эдгар По, писавший в 30-х и 40-х годах 19-го века, но занявший незыблемое положение маэстро лишь недавно, за последние двадцать пять лет. Имя его тесно соединено в Европе с именем гениального Бодлера, который много содействовал его популярности, переводя на французский язык лучшие его фантазии. Бодлер развил некоторые мысли, которые Эдгар По не успел высказать или не имел возможности договорить, придал символизму особую окраску, которая получила в истории литературы наименование декадентской, и написал целый ряд самостоятельных стихотворений, расширяющих область символической поэзии.

Возьмем по образцу из того и другого поэта и попытаемся оформить вызываемые ими впечатления. Считаю необходимым сказать, что я не хочу предрешать впечатление в других, а укажу только, какое настроение могут вызывать в том или ином читателе произведения, окрашенные символизмом. Беру одно из лучших стихотворений Эдгара По, «Аннабель-Ли».

Это было давно, это было давно,
В королевстве приморской земли.
Там жила и цвела та, что звалась всегда,
Называлася Аннабель-Ли.
Я любил, был любим, мы любили вдвоем,
Только этим мы жить и могли.
И любовью дыша, оба были детьми,
В королевстве приморской земли:
Но любили мы больше, чем любят в любви, –
Я и нежная Аннабель-Ли;
И, взирая на нас, серафимы небес
Той любви нам простить не могли.
Оттого и случилось когда-то давно,
В королевстве приморской земли, –
С неба ветер повеял холодный из туч,
Он повеял на Аннабель-Ли;
И родные толпою печальной сошлись,
И ее от меня унесли,
Чтоб навеки ее положить в саркофаг,
В королевстве приморской земли.
Половины такого блаженства узнать
Серафимы в раю не могли, –
Оттого и случилось /как ведомо всем
В королевстве приморской земли/, –
Ветер ночью повеял холодный из туч
И убил мою Аннабель-Ли.
Но, любя, мы любили сильней и полней
Тех, что старости бремя несли, –
Тех, что мудростью нас превзошли, –
И ни ангелы неба, ни демоны тьмы

Разлучить никогда не могли,
Не могли разлучить мою душу с душой
Обольстительной Аннабель-Ли.
И всегда луч луны навевает мне сны
О пленительной Аннабель-Ли;
И зажжется ль звезда, вижу очи всегда
Обольстительной Аннабель-Ли;
И в мерцанье ночей я все с ней, я все с ней,
С незабвенной – с невестой – с любовью моей,
Рядом с ней распростерт я вдали,
В саркофаге приморской земли.

Какой смысл скрывается за стильной внешностью этой баллады?

Человек может любить нечеловечески яркой и сильной любовью только раз. В те дни, когда душа еще не искажена, когда юность не греза, а действительность, мы живем в сказочном царстве фантазии, омываемом вечношумящими водами вечносвободного моря. Нам кажется, что жизнь вся создана для любви, – но мы перестали бы быть людьми, мы превзошли бы даже ангелов, если бы эта единственная вспышка была не беглым огнем, а беспрерывным светом. Незабываемая первая любовь умирает от первого соприкосновения с действительностью. Чем-то далеким она становится от нас: она кажется нам схороненными останками, сокрытыми где-то на берегу моря, сокрытыми в том уголке нашей души, где еще сохранилась способность непосредственных порывов, не связанных ничем. И, если мы любим в себе лучшие черты человечности, если мы стремимся стать выше будней, никакие волнения жизни, ни светлые, ни темные, не будут в силах погасить эту первую вспышку чувства, безоблачного, как небо, и далекого, как оно; оно будет, правда, только воспоминанием, оно будет замкнуто в саркофаге, но мы с ним будем неразлучны в ночные часы, в

ясновидящие часы созерцательных радостей, и всегда при свете огней, горящих не на земле, до нас будет доноситься смутный гул морских свободных волн, бессмертный рокот Океана, говорящий о том, чего забыть нельзя.

Возьмем образец символической поэзии из Бодлера.

СМЕРТЬ ВЛЮБЛЕННЫХ

Постели, нежные от ласки аромата,
Как жадные гроба, раскроются для нас,
И странные цветы, дышавшие когда-то
При блеске лучших дней, вздохнут в последний раз.
Остаток жизни их, почуяв смертный час,
Два факела зажжет, огромные светила,
Сердца созвучные, заплакав, сблизят нас, –
Два братских зеркала, где прошлое почило.
В вечернем таинстве, воздушно-голубом,
Мы обменяемся единственным лучом,
Прощально-пристальным, и долгим, как рыданье.
И Ангел, дверь поздней полуоткрыв, придет,
И, верный, оживит, и, радостный, зажжет –
Два тусклых зеркала, два мерные сиянья.

Что заставило двоих влюбленных решиться вместе умереть, мы этого не знаем. Смерть влюбленных всегда окутана тайной. Но надо думать, что, если они решились расстаться с такой единственной вещью, как их жизнь, у них были глубокие причины, делающие их смерть вдвойне трагической и красивой. Они устали жить, или им нельзя больше жить. Уединившись от всех, в той комнате, где они столько любили, в вечерней полупрозрачной мгле, мистически-таинственной и воздушно-голубой, они склонились на постель, которая будет им нежным гробом, соединит в одном объятии любовь и смерть. Возле них стоят цветы, жившие

вместе с ними душистой жизнью, в те дни, когда им светило не вечернее небо, а утреннее и дневное. Странными кажутся им эти отцветающие растения в этот последний миг, когда все кажется страшным, необыкновенным, возникающим в первый раз. Вдыхая аромат цветов, умирающих вместе с ними, они начинают дышать прошлым – воспоминание сближает их сердца до полного слияния, заставляет их вспыхнуть, как два гигантских факела – в их душах, как в двух зеркальных сферах, отражаются все картины пережитого, воскрешенные силой любви. Внимая голосам умолкших ощущений, достигая вершины страсти и нежности, влюбленные обмениваются единственным прощальным взглядом – единственным, потому что нужно решиться умереть, чтобы так взглянуть. Проходит мгновение, и телесная жизнь порвана, тускнеют зеркала, отражавшие бурю волнений, гаснут сердца – светоносные факелы. Но любовь сильнее самой смерти. Воплощенье запредельного света, Ангел, радуясь такому могуществу чувства, верный велениям своей сущности, любящий каждую любовь, полуотворяет дверь – бессмертный подходит к душам смертных, и, соединяя их в загробном поцелуе, оживляет снова влюбленные светильники.

Вот как мне представляется скрытая поэма этого удивительного по своей выразительности сонета. Здесь каждая строка – целый образ, законченная глава повести, и другой поэт, например Мюссе, сделал бы из такого сюжета длинное декламационное повествование. Поэт-символист чуждается таких общедоступных приемов; он берет тот же сюжет, но заковывает его в блестящие цепи, сообщает ему такую силу сжатости, такой лаконизм сурового и вместе нежного драматизма, что дальше не могут идти честолюбивые замыслы художника.

Перейдем к трем выдающимся русским поэтам-символистам, из которых каждый своим именем обозначает целое литературное явление. Я говорю о представителе поэтического пантеизма, Тютчеве, о виртуозном импрессионисте, Фете, создавшем полную тонких оттенков символику Природы и чувства любви, и о поэте-философе, Случевском, который, с одной стороны, становится в уровень с Некрасовым, как бытописатель народной жизни, с другой, выступает как истинно современный импрессионист, полный философских настроений и мятежа думающей личности против банальных форм мысли и чувства. Нужно ли прибавлять, что все эти три поэта развились совершенно самостоятельно, независимо от тех или других течений общеевропейской поэзии. Тютчев писал символические стихотворения еще в 30-х годах 19-го века, и удивительное его стихотворение «Mal'aria», которое справедливо могло бы занять место среди лучших стихотворений в «Les fleurs du Mal», было написано в 1830-м году, т.е. гораздо раньше, чем Бодлер выступил с такой яркой определительностью. Фет из всей европейской литературы воспринял только, во вторую половину своей жизни, влияние Шопенгауэра. Гораздо раньше и гораздо ярче, нежели Верлен, он установил в лирике точное соответствие между мимолетными ощущениями и прихотливыми ритмами, являющимися их выразительным внешним истолкователем. Наконец, Случевский, наиболее русский из всех современных русских поэтов, никогда не занимался изучением иностранной поэзии, и, зная Бодлера лишь по имени, тем не менее создал целый ряд стихотворений, которые отмечены печатью современного демонизма и опять-таки могли бы служить истинным украшением гениальной, но крайне неполной книги, имя которой стало лозунгом: «Fleurs du Mal».

В 1854-м году Тургенев написал небольшую статью о Тютчеве, где он указывал на изысканную деликатность его поэзии и на ее сродство с жизнью Природы. Он предсказывал, что, если Тютчев и не приобретет громкой славы, он намного переживет тех поэтов, которые были в то время знаменитостью. Он предсказывал ему также глубокую симпатию всех тех, кому дорога русская поэзия, и его предсказание сбылось буквально. За двумя исключениями /Фофанов и Лохвицкая/, все наиболее талантливые поэты современной России, Брюсов, Сологуб, Зинаида Гиппиус, Мережковский и другие, видят в Тютчеве лучшего своего учителя. Сотни и сотни людей, не пишущих стихов, читают Тютчева с высоким наслаждением и знают теперь, с кем они имеют дело, беря в руки маленький сборник его произведений. Эта небольшая книга стихотворений, всегда сжатых и полных глубокого содержания, как говорил Фет, «томов премногих тяжелей».

То, что сделали Вордсворт и Шелли для Англии, Тютчев сделал для России: поэт-пантеист, он первый из русских поэтов проник в душу Природы.

Первый из русских поэтов, он понял великую философскую сложность жизни Природы, ее художественное единство и полную ее независимость от человеческой жизни, со всеми нашими помыслами, действиями и страстями. В то время, как Пушкин, Лермонтов и современные их подражатели «описывают» Природу, Тютчев, так же, как и Фет, «воссоздает» ее как живую сущность, видит в ней не раму к картине, а саму картину. Владимир Соловьев справедливо отметил одну черту, выделяющую Тютчева не только из числа поэтов русских, но и поэтов общеевропейских: говоря о Природе, поэты в большинстве случаев нисколько не верят в глубине души в то, что они говорят об ее «одухотворенной» жизни; они заставляют цветы улыбаться,

ветер дышать, волны дрожать от нежности или беспокойства, но сами они смотрят на все это только как на поэзию, будучи в то же время глубоко убеждены, что Природа не более, как механизм. У большинства русских и европейских поэтов можно отчетливо проследить такое противоречие между внутренним убеждением и поэтическими приемами.

Никогда этого не может случиться с истинным поэтом-пантеистом. У Гёте, у Шелли, у Тютчева убеждение в том, что Природа есть сущность одухотворенная, гармонически сливается с поэтическим их творчеством, рисующим Природу живой. Тютчев искренне верит, более того, он знает, что Природа не бездушный слепок, а великая живая цельность.

С ним явственно говорят звезды, он чувствует жизнь морских волн, и буря, волнуя реки и леса, ведет с ним тайный разговор. Тех, кто не понимает голосов Природы, он справедливо называет глухонемыми, которых не тронет голос родной матери. К сожалению, число этих глухонемых чрезмерно велико. Лишь немногим эпохам и немногим личностям свойственно это тонкое проникновение в жизнь Природы и религиозное слияние с ней. То, что является совершенно простым, легко достижимым, даже неизбежным, в эпохи создания космогонии и легенд, становится почти невозможным для современного ума, полного религиозных предрассудков или заблуждений позитивной философии. Природа превратилась для людей в бездушную машину, служащую для утилитарных целей, в нечто второстепенное, подчиненное, придаточное. Вы помните, что говорит Базаров: «Природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник». Эта фраза, характерная для человека наших дней, ошибочна по своему содержанию, <...> самой постановке вопроса.

Природа предстает или как храм, или как мастерская – в соответствии с теми отношениями, которые устанавливаются между нею и человеком. Но прежде всего Природе нет ровно никакого дела до того, что мы, существа минут, сегодня рассматриваем как неопровержимую истину, чтобы завтра опрокинуть свой догмат и выдумать новую аксиому сомнительного достоинства. Природа – самодовлеющее царство, она живет своей жизнью. Она преследует лишь свои великие цели; разум их не видит и может только подозревать о их существовании – или видеть их на мгновенье беглым взглядом, в минуты просветленности, которые называются экстазом.

В Природе нет наших задач, в ней нет ни добра, ни зла, ни высокого, ни низкого, Ничего в ней нет, кроме Движения и Красоты, безупречной и неумолимой.

Как тонко угаданы Тютчевым различные состояния в жизни Природы – бури на море, ночь, утро в горах, зарницы и сумерки.

Тени сизые смесгились,
Цвет поблекнул, звук уснул;
Жизнь, движенье разрешились
В сумрак зыбкий, в дальний гул...
Мотылька полет незримый
Слышен в воздухе ночном...
Час тоски невыразимой!
Все во мне – и я во всем!
Сумрак тихий, сумрак сонный,
Лейся в глубь моей души,
Тихий, томный, благовонный,
Все залей и утиши.
Чувства мглой самозабвенья
Переполни через край,
Дай вкусить уничтоженья,
С миром дремлющим смешай.

В этом стихотворении, полном тонкого художественного импрессионизма, и музыкальном, как колыбельная песня, мысли и чувства угасают, как гаснут облака на вечернем небе. И под этот тихий ритм душа проникается той тихой печалью, с которой травы наклоняются к поверхности пруда, где отразилось последнее мерцание сумерек.

После такого нежного стихотворения вдвойне красноречивым кажется полный мажорных настроений «Сон на море».

И море и буря качали наш челн,
Я сонный был предан всей прихоти волн;
И две беспредельности были во мне, –
И мной своевольно играли оне.
Кругом, как кимвалы, звучали скалы,
И ветры свистали, и пели валы.
Я в хаосе звуков летал оглушен;
Над хаосом звуков носился мой сон...
Болезненно-яркий, волшебно-немой,
Он веял легко над гремящею тьмой,
В лучах огневицы развил он свой мир,
Земля зазвенела, светился эфир...
Сады, лабиринты, чертоги, столпы...
И чудится шорох несметной толпы.
Я много узнал мне неведомых лиц,
Зрел тварей волшебных, таинственных птиц, –
По высям творенья я гордо шагал,
И мир подо мною недвижно сиял...
Сквозь грезы, как дикий волшебника вой,
Лишь слышался грохот пучины морской,
И в тихую область видений и снов
Врывалися тени ревущих валов.

Идея Хаоса как первобытной основы, на которой вытканы узоры, созерцаемые нашим сознанием, проходит

через все творчество Тютчева, обособляя его среди поэтов.

Кто умел смотреть на Природу пристальным взглядом, тому она внушает особые сочетания звуков, неведомые другим. Эти звуки сплетаются в лучистую ткань, вы смотрите и видите за переменчивыми красками и за очевидными чертами еще что-то другое, красоту полураскрытую, целый мир намеков, понятных сердцу, но почти всецело убегающих от возможности быть выраженными в словах.

Как дымный столб светлеет в вышине,
Как тень внизу скользит неуловимо!
Вот наша жизнь, промолвила ты мне,
Не светлый дым, блестящий при луне,
А эта тень, бегущая от дыма!

Как истинный поэт-пантеист, Тютчев любит Природу не только в ее ясных спокойных состояниях, но в моменты бури, в минуты разногласия и разложения. Более того: такие состояния Природы, когда основной элемент Вселенной – смерть – просвечивает сквозь все живущее, особенно дороги душе поэта. Он чувствует глубокое художническое волнение перед величественным зрелищем Мировой Красоты, возникающей, чтобы исчезнуть. То, что мы называем злом, исполняет Тютчева ощущением художественной красоты, – необходимое следствие всякого глубокого проникновения в сложную душу Природы. Ярким примером этой черты является стихотворение «Mal'aria», о котором я уже упоминал.

Люблю сей Божий гнев! Люблю сие, незримо
Во всем разлитое, таинственное зло, –
В цветах, в источнике прозрачном, как стекло,
И в радужных лучах, и в самом небе Рима!

Все та ж высокая, безоблачная твердь,
Все так же грудь твоя легко и сладко дышит,
Все тот же ветр верхи дерев колышет,
Все тот же запах роз... и это все есть смерть!
Как ведать? Может быть, и есть в природе звуки,
Благоухания, цвета и голоса –
Предвестники для нас последнего часа,
И усладители последней нашей муки.
И ими-то судеб посланник роковой,
Когда сынов земли из жизни вызывает,
Как тканью легкою, свой образ прикрывает,
Да утаит от них приход ужасный свой!

Для поэта, посвященного в таинства Природы, ясно, даже очевидно, что в смерти столько же красоты, сколько в том, что мы называем жизнью, но только нам эта красота кажется ужасной. Если бы в смерти не было красоты, смерть не существовала бы в Природе, потому что Природа цельная сущность, а в цельности все гармонично.

Та же деликатность и утонченность выражения, какой отмечены стихотворения из жизни Природы, повторяется у Тютчева и в стихотворениях, тема которых – различные состояния человеческой души. Возможность этой утонченной поэтической манеры кроется в богатой внутренней жизни, соединенной с исключительным талантом. Художественная впечатлительность поэта-символиста, полного пантеистических настроений, не может подчиниться видимому; она все преобразовывает в душевной глубине, и внешние факты, переработанные философским сознанием, предстают перед нами как тени, вызванные магом. Тютчев понял необходимость того великого молчания, из глубины которого, как из очарованной пещеры, озаренной внутренним светом, выходят преображенные прекрасные призраки.

Молчи, скрывайся и таи
И чувства, и мечты свои!
Пускай в душевной глубине
И всходят, и зайдут оне,
Как звезды ясные в ночи:
Любуйся ими и молчи!

Как сердцу высказать себя?
Другому как понять тебя?
Поймет ли он, чем ты живешь?
Мысль изреченная есть ложь.
Взрывая возмутишь ключи:
Питайся ими и молчи!

Лишь жить в себе самом умей:
Есть целый мир в душе твоей
Таинственно-волшебных дум;
Их заглушит наружный шум,
Дневные ослепят лучи.
Внимай их пенью и молчи!

Я отметил лишь несколько основных черт поэтического творчества Тютчева. Они частью повторяются в поэзии Фета, частью находят в ней дополнение контраста.

Когда поэт прошел разные фазисы внутреннего своего развития и проникся ясным сознанием единства Природы, его охватывает художественный экстаз. Гармонически соединяя свое «я» с безграничной Всемирностью, он проникается или бесконечно печальным желанием слиться со Вселенной, потеряться в ней, как ручей теряется в Океане, или, наоборот, жгучим желанием вспыхнуть во всем блеске своего единичного существования, ярко возникнуть в узких рамках своего «я», прежде чем навеки исчезнуть в бесконечном море Мировой Красоты. Первое чувство есть художественный пантеизм, символизованный в своей центростремительной силе, второе – художественный пантеизм в

своей силе центробежной. Оба они сливаются воедино, представляя солнечную и теневую сторону одного и того же явления.

Два эти оттенка нашли свое выражение в двух различных, но однородных творчествах, в поэзии Тютчева и Фета. Я сказал бы, что в строгой и суровой поэзии Тютчева нашло свое воплощение мужское начало, тогда как в нежной поэзии Фета, полной глубоких красок, воплотилась красота женственности. Тютчев смотрит на жизнь суровым взглядом. Фет влюблен в жизнь, как в женщину, но в то же время он слишком философ, чтобы не понимать, что он срывает последние цветы. И потому он любил их настолько, что с жадной торопливостью спешил насладиться ими сполна, он опьянял себя их ароматом, он окружил себя такой роскошью разнородных и разноцветных цветов, что во всех его песнях вы чувствуете их светлую душистую пыль. Он любил любовь и женскую нежность с такой силой, что в его поэзии слова смешиваются с поцелуями, и все его творчество озарено чисто женственным изяществом, полным ласки, намеков и недомолвок. Ни у одного из русских поэтов нет таких воздушных мелодических песен о любви. Глубоко поняв это чувство, Фет воссоздает в своей поэзии полную его гамму от самых легких идеальных мечтаний до самой торжествующей страсти.

Возьмите, например, его прозрачное и нежное, как трепетанье крыльев бабочки, стихотворение, где он описывает девушку на другой день, после того как она поняла, что такое любовь.

Из тонких линий идеала,
Из детских очерков чела
Ты ничего не потеряла,
Но все ты вдруг приобрела.
Твой взор – открытый и бесстрашный,

Хотя душа твоя тиха;
Но в нем сияет рай вчерашний
И соучастница греха.

Это идеальное чувство любви приобретает двойную красоту, когда Фет соединяет его с воспроизведением мимолетных состояний из жизни Природы.

Сядем здесь, у этой ивы.
Что за чудные извивы
На коре вокруг дупла!
А под ивой как красивы
Золотые переливы
Струй дрожащего стекла!
Ветви сочные дугою
Перегнулись над водою,
Как зеленый водопад;
Как живые, как иглою,
Будто споря меж собою,
Листья воду бороздят.
В этом зеркале под ивой
Уловил мой глаз ревнивый
Сердцу милые черты...
Мягче взор твой горделивый...
Я дрожу, глядя, счастливый,
Как в воде дрожишь и ты.

Возьмем другой полюс любви, тот момент, когда счастливый влюбленный задыхается от страсти.

Какое счастие: и ночь, и мы одни!
Река – как зеркало, и вся блестит звездами;
А там-то... Голову закинь-ка да взгляни:
Какая глубина и чистота над нами!
О, называй меня безумным! Назови
Чем хочешь! В этот миг я разумом слабею
И в сердце чувствую такой прилив любви,
Что не могу молчать, не стану, не умею!

Я болен, я влюблен; но, мучась и любя, –
О, слушай! о, пойми! – я страсти не скрываю,
И я хочу сказать, что я люблю тебя –
Тебя, одну тебя люблю я и желаю!

«Я болен!» Этот возглас может напомнить мудрые слова одного эллинского философа: «Религия – болезнь, но болезнь священная».

Такой же деликатностью языка и двойственностью очарования отличаются те стихотворения Фета, где он выступает неменьшим маэстро, стихотворения из жизни Природы.

Волны, облака, снежинки и цветы, деревья, полосы света и волны, эти перепевные, слитные, вечно повторные, вечно новые сплетенья отдельных воплощений Красоты без конца опьяняют Фета, он смотрит на мир просветленным взглядом, на губах его возникают мелодические слова, и призрачная невеста, одухотворенная Природа, вступает в бестелесный брак с влюбленной душою поэта.

Это – поэзия нюансов, тонких, еле зримых, но видных и существующих. Есть улыбки: они еще не возникли, но вы их уже видите, вот-вот сейчас они блеснут. Но нет, они исчезли, не возникнув, – и все же вы могли их почувствовать.

Есть такие же моменты в жизни души и в жизни Природы. Это мир недосказанного, царство призрачных теней, того, что чувствуется, но не поддается выражению. Фантазия Фета, как героиня поэмы Теннисона, фея Шалотт, не соприкасается с жизнью, а воспроизводит в чудесных узорах то, что она видит отраженным в зачарованном зеркале.

Я обхожу пока молчанием целый ряд превосходных образцов философской лирики Фета и кончаю цитаты из него стихотворением, написанным более полустолетия тому назад, и тем не менее настолько отмеченным

печатью современного символизма, что как будто это цветок, раскрывшийся сегодня утром.

Каждое чувство бывает понятней мне ночью, и каждый
Образ пугливо-немой дольше трепещет во мгле...
Самые звуки доступней, даже когда, неподвижен,
Книгу держу я в руках, сам пробегая в уме
Все невозможно-возможное, странно-бывалое... Лампа
Томно у ложа горит, месяц смеется в окно,
А в отдалении колокол вдруг запоет, – и тихонько
В комнату звуки плывут: я предаюсь им вполне;
Сердце в них находило всегда какую-то влагу,
Точно как будто росой ночи омыты они...
Звук все тот же поет, но с каждым порывом иначе:
То в нем меди тугой более, то серебра.
Странно, что ухо в ту пору, как будто не слушая,
слышит;
В мыслях иное совсем, думы – волна за волной...
А между тем, еще глубже сокрытая сила объемлет
Лампу, и звуки, и ночь, – их сочетавши в одно:
Так между влажно-махровых цветов снотворного маку
Полночь роняет порой тайные сны наяву.

Третий из названных мною наиболее крупных поэтов-символистов современной России, Случевский, стоит совершенно одиноко. Долгое время его обходили молчанием, но за последние несколько лет он нашел, наконец, в России всеобщее признание со стороны тех лиц, которые могут чувствовать поэзию. Главные достоинства Случевского заключаются в его несравненном умении воссоздавать картины русской природы и душу простолюдина, в чисто национальном колорите его поэзии и в глубине философских настроений, которыми отмечены его символические стихотворения, полные оригинальности и смелости. Поразительно по жизненному и по страшному скрытому значению его стихотворение «После казни».

Тяжелый день... Ты уходил так вяло.
Я видел казнь. Багровый эшафот
Давил, как будто бы, столпившийся народ,
И солнце ярко на топор сияло.
Казнили. Голова отпрянула, как мяч,
Стер полотенцем кровь с обеих рук палач,
А красный эшафот поспешно разобрали,
И увезли, и площадь поливали.
Тяжелый день... Ты уходил так вяло.
Мне снилось – я лежал на страшном колесе,
Меня коробило, меня на части рвало,
И мышцы лопались, ломались кости все.
И я вытягивался в пытке небывалой.
И, став звенящею чувствительной струной,
К какой-то схимнице, больной и исхудалой,
На балалайку вдруг попал, едва живой.
Старуха страшная меня облюбовала,
И пальцем нервным дергала меня,
«Коль славен наш господь» уныло напевала,
И я ей вторил, жалобно звеня.

В этом мучительном и прекрасном стихотворении Случевского мы видим повторение явленья, общего всей символической поэзии. Конкретные факты, помимо непосредственной своей красоты, приобретают здесь какие-то фантастические очертания и говорят о скрытом философском смысле всего, что происходит.

В то время как поэты-реалисты рассматривают мир наивно, как простые наблюдатели, подчиняясь, вещественной его основе, поэты-символисты, пересоздавая вещественность сложной своей впечатлительностью, властвуют над миром и проникают в его мистерии. Создание поэтов-реалистов не идет дальше рамок земной жизни, определенных с точностью и с томящей скукой верстовых столбов. Поэты-символисты никогда не теряют таинственной нити Ариадны, связывающей их с мировым лабиринтом Хаоса, они всегда овеяны

дуновениями, идущими из области запредельного» и потому, как бы против их воли, за словами, которые они произносят, чудится гул еще других, не их голосов, ощущается говор стихий, отрывки из хоров, звучащих в Святая Святых мыслимой нами Вселенной. Поэты-реалисты дают нам нередко драгоценные сокровища – такого рода, что, получив их, мы удовлетворены – и нечто исчерпано. Поэты-символисты дают нам в своих созданьях магическое кольцо, которое радует нас, как драгоценность, и в то же время зовет нас к чему-то еще, мы чувствуем близость неизвестного нам нового и, глядя на талисман, идем, уходим, куда-то дальше, все дальше и дальше.

Итак, вот основные черты символической поэзии: она говорит своим особым языком, и этот язык богат интонациями; подобно музыке и живописи, она возбуждает в душе сложное настроение, – более, чем другой род поэзии, трогает наши слуховые и зрительные впечатления, заставляет читателя пройти обратный путь творчества: поэт, создавая свое символическое произведение, от абстрактного идет к конкретному, от идеи к образу, – тот, кто знакомится с его произведениями, восходит от картины к душе ее, от непосредственных образов, прекрасных в своем самостоятельном существовании, к скрытой в них духовной идеальности, придающей им двойную силу.

Говорят, что символисты непонятны. В каждом направлении есть степени, любую черту можно довести до абсурда, в каждом кипении есть накипь. Но нельзя определять глубину реки, смотря на ее пену. Если мы будем судить о символизме по бездарностям, создающим бессильные пародии, мы решим, что эта манера творчества – извращение здравого смысла. Если мы будем брать истинные таланты, мы увидим, что символизм – могучая сила, стремящаяся угадать новые

сочетания мыслей, красок и звуков и нередко угадывающая их с неотразимой убедительностью.

Если вы любите непосредственное впечатление, наслаждайтесь в символизме свойственной ему новизной и роскошью картин. Если вы любите впечатление сложное, читайте между строк – тайные строки выступят и будут говорить с вами красноречиво.

1900 г.

Оглавление

Без русла 3
Вечная юность 9
Вечно бодрствующие 12
Волга 23
Воля России 28
Воробьеныш 34
Голубое окно 41
Голубой талисман с золотым обрамленьем 43
Дагмар 50
Два слова об Америке 52
Звездный вестник. (Поэзия Фета) 58
Звуковой зазыв 62
Из записной книжки 71
Избранник 75
Или-или 81
Имени С. Т. Аксакова 83
Имени Чехова 88
Кровавые лгуны 93
Крымский вечер 101
Малое приношение 103
Мещанин Пешков, по псевдониму: Горький 106
Москва в Париже 111
Мысли о творчестве 116
I. Эпоха Возрождения и заря новой жизни 116
II. Романтики 125
III. Тургенев 134
На высоте 151
На заре 153
Народная воля 159
Новогодняя страница 163
О книгах для детей 168
О переводах 174

О поэзии Фета ... 183
О рифме верной и рифме неверной ... 190
Орлиные крылья ... 196
Острый час ... 203
Ответ на анкету «Война и творчество» ... 210
Письмо в редакцию газеты «Русь» ... 212
Поэзия как волшебство. (1915 г.) ... 214
Поэт внутренней музыки ... 243
Привет Москве ... 251
Прихоть природы ... 256
Революционер я или нет ... 261
Родная тень ... 276
Русский язык. (Воля как основа творчества) ... 278
Символизм народных поверий ... 286
Сквозь строй. (Памяти Некрасова) ... 293
Слово о музыке ... 300
Солнечная сила ... 305
Старая рукопись ... 312
Страница воспоминаний ... 315
Тени ... 320
1. Прощальный взгляд ... 320
2. Разлука ... 323
3. Сказка ночи ... 324
Три встречи с Блоком ... 326
Три меры ... 330
Трудность ... 333
Цветы ... 341
Чужбина ... 348
Шелли и Байрон ... 351
Шорох жути ... 368
Элементарные слова о символической поэзии ... 389
Издательство «Директ-Медиа» ... 416

Константин Дмитриевич Бальмонт

Очерки и статьи

16+

Ответственный редактор *А. Иванова*
Верстальщик *С. Мартынович*

Сдано в набор 03.08.2016
Подписано к печати 02.08.2016
Формат 60x90/16
Печ. л. 26, 06
Тираж 500
Заказ 16-08-03

Издательство «Директ-Медиа»
117342, Москва, ул. Обручева, 34/63, стр. 1
Тел/факс + 7 (495) 334–72–11
E-mail: manager@directmedia.ru
www.biblioclub.ru
www.directmedia.ru

Отпечатано в ООО «ПАК ХАУС»
142172, г. Москва, г. Щербинка,
ул. Космонавтов, д.16